



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1(13)'2015

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета
в рамках программы «Сохранение и развитие русского языка в Одессе»

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: auroa_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2015

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|----|
| Одесса: Константин Ильницкий. Смотритель времени. <i>Стихи</i> | 4 |
| Одесса: Тина Арсеньева. Фрези Грант. <i>Стихи</i> | 8 |
| Одесса – Ильичёвск: Александр Семькин. Цветок молчания. <i>Стихи</i> | 11 |
| Одесса: Майя Динерли. Маргарита собирает жемчуг. <i>Стихи</i> | 15 |

ПРОЗА

| | |
|--|----|
| Одесса: Алексей Холодов. Мечты Пасифаи. <i>Рассказы</i> | 20 |
|--|----|

ПОЭЗИЯ

| | |
|--|----|
| Питкьяранта: Анна Матасова. Яблоко. <i>Стихи</i> | 46 |
| Москва: Дмитрий Веденягин. Как будто дождь. <i>Стихи</i> | 52 |
| Ташкент: Вячеслав Карижинский. Хаосмос. <i>Стихи</i> | 57 |
| Москва – Киев: Александр Самарцев. Далёкой юности отмычка. <i>Стихи</i> | 61 |

ПРОЗА

| | |
|---|----|
| Одесса: Евгений Деменок. Эгрегор. <i>Детская повесть</i> | 66 |
|---|----|

«МЕГАФОН»

| | |
|---|----|
| «О времени и о себе». (два интервью с Давидом Тихолузом и с Мирославом Кульчицким) | 83 |
|---|----|

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|-----|
| Москва: Инна Заславская. Запах скошенной травы. <i>Стихи</i> | 93 |
| Москва: Марина Шапиро. Мир бездомных фонарей. <i>Стихи</i> | 98 |
| Москва: Надежда Бесфамильная. «Ещё она читает сказки Гофмана...». <i>Стихи</i> | 103 |
| Москва: Лариса Морозова-Цырлина. Когда душа привыкнет к холоду. <i>Стихи</i> | 108 |

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| Одесса: Сергей Шаманов. Портрет молодой девушки. <i>Рассказы</i> | 113 |
|---|-----|

ПОЭЗИЯ

| | |
|--|-----|
| Одесса – Тель-Авив: Пётр Межурицкий. В защиту стрелочника. <i>Стихи</i> | 134 |
| Одесса: Эрлен Бейлис. Советы мужчинам. <i>Стихи</i> | 139 |

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| Одесса: Александр Леонтьев. Переводчик. <i>Фрагмент романа</i> | 143 |
|---|-----|

ПЕРЕВОДЫ

| | |
|--|-----|
| Будапешт: Золтан Соколан. Только изнутри. <i>В авторском переводе</i> | 153 |
|--|-----|

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| Одесса – Нью-Йорк: Эдвиг Арзунян. Мой дядя был шпионом. <i>Очерк</i> | 155 |
|---|-----|

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

| | |
|--|-----|
| Ростов-на-Дону: Виктор Петров. Донская волна у одесского берега. <i>Предисловие</i> | 173 |
| Новокуйбышевск: Диана Кан. Лети сквозь кольцо. <i>Стихи</i> | 174 |
| Москва: Валентина Ерофеева. Джо Дассен. <i>Рассказ</i> | 178 |
| Минск: Анатолий Аврутин. Глубинный ток. <i>Стихи</i> | 183 |
| Короновск: Николай Зиновьев. Только мой островок и останется. <i>Стихи</i> | 188 |
| Москва: Игорь Михайлов. То тьма. <i>Рассказы</i> | 192 |

«ФОНОГРАФ»

| | |
|---|-----|
| Натан Инбер. Просто о Париже. <i>Эссе</i> | 204 |
| Вера Инбер. «Стать смуглей кофейного зерна...». <i>Стихи</i> | 206 |

«ЛИТМУЗЕЙ»

| | |
|---|-----|
| Анна Божко. «Король» и его свита. <i>Эссе</i> | 210 |
| Влас Дорошевич. Одесский язык. <i>Фельетон</i> | 214 |

«ШКАФ»

| | |
|---|-----|
| Евпатория: Елена Коробкина. Формат от «Я». <i>Эссе</i> | 219 |
|---|-----|

КОНСТАНТИН ИЛЬНИЦКИЙ

СМОТРИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

МОЛЕКУЛЫ

Олечке Ильницкой

А мы с тобой увлечены
просторами Евразии.
А также мы уличены
в молекулярной связи.
И собирая свой баул
в Ирландию ли, Мекку ли,
дежурный слышу «караул»:
«Ты брал мои молекулы?».
А я не помню, может, брал
дорогой в Сан-Франциско.
И там же в баре прогулял
и получил по списку:
за то, что регулярно пил
и был подвержен ленности,
и атомов не накопил,
и не гигант с валентностью.

Но, может, это был не я,
а бар был рестораном.
Вся наша странная семья
разбросана по странам.
Друг другу иностранцы,
в Андорре или Йемене
умеем мы пространство
размешивать со временем,
и упиваться дивными
тосканскими пейзажами,
опохмеляться ливнями
и возноситься заживо.
И надо ль помнить, что потом?
Какие катаклизмы?
Склероз приходит с опытом,
как мудрость организма.



СМОТРИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

Время – наперекосьяк.
От проблем – мигрени.
Помогает рифм запой
и порой рассол.
Так подгнивший особняк
в зарослях сирени
манит чудною тропой,
да провален пол.

А романтики с лихвой,
вместо света – свечи.
И в гостиную бы зонт
пережить потоп.
Всё уйдёт в культурный слой,
даже этот вечер.
Дому нужен не ремонт,
а, скорей, раскоп.

У смотрящего времён
с заработком плохо.
А работы – эшелон,
головой вертеть.
Очень надо присмотреть
за больной эпохой,
чтоб главенствовал закон,
ну, хотя бы впредь.

Оболгут без лишних слов,
в теме ты, не в теме...
Если кто-то и правдив,
совесть – напрокат.
У подгнивших городов
расхищают время,
и бессмертье на разлив –
сплошь фальсификат.

SAGRADA FAMILIA¹

Собор из каменного пуха
и вьющихся кирпичных нитей.
Стяжание святого духа
здесь опредмечено в граните.

Времён свидетель скоротечных
стал знаменитым долгостроем.
Путеводитель к жизни вечной,
он будет вечно недостроен.



Явление людского гения –
как шоковая терапия,
когда обрушится сомнением:
не к той нас жизни торопили.

Не те заложены критерии,
увы, в житейские законы.
Не в тех богов не то, чтоб верили,
на всякий случай бьём поклоны.

А может в тех! Мир так устроен –
где добродетель, где злодейство...
И, может, верно недостроен
собор Святейшего Семейства.

¹ Собор в Барселоне, который строил гениальный архитектор Антони Гауди.

САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ МАР¹

Звук колокольного бунта,
только достигнув ушей,
под куполами, как будто,
выгнал пространство взащей.
Прочь из-под сумрачных сводов,
под ноги, словно товар...
Солнечным бликом с восхода –
Санта Мария дель Мар.

Чтобы от Божьего гнева
в дальних морях уцелеть,
мы тебя выбрали, Дева,
наши молитвы терпеть.
Правда ль, терзают нас волны
– это грехи во плоти?
Тут бы словечко замолвить.
А не сумеешь – прости.

¹ Средневековый собор в Барселоне, посвящённый Деве Марии, покровительнице моряков и рыбаков.

СВИДЕТЕЛЬ

Я был свидетель потрясённый
вполне космических явлений:
как в океане полусонном
играли звёздами тюлени.
Как мотобот сорвало с талей,
полярный день ответил эхом,
и ткань созвездий расплескала,
пока мешали мат со смехом.
Я был свидетель изумлённый
таких тропических закатов,
где солнце с карри и лимоном,



муссон с ванилью и мускатом.
Где солнце медлило с уходом
и, исчерпав все аргументы,
из-под воды, под теплоходом
струило золотые ленты.
А море было синим-синим.
Пронзительный волшебный цвет.
С той синью непереносимой,
что ведома одним любимым,
когда нас нет.
В проливе Дрейка брызги соли
принёс с собой туман летучий.
Я видел, как вулкан Стромболи
дымами наполняет тучи.
А море Чёрное явило
с кефалью запахи полыни.
Поверьте, это, правда, было.
О том свидетельствую ныне.

ГРИНВИЧ

Кто бы как бы не был строг,
если только в Гринвич зван,
пропускает между ног
нулевой меридиан.

Впрямь, захватывает дух,
только ноги развели,
пребыванье сразу в двух
полушариях Земли.

Фотокамеры щелчок.
Не один такой дурак.
Вот вам Запад, вот – Восток.
Правда, хорошо-то как!

Эх, закаты да рассветы –
орбитальная краса.
Вся планета разодела
в часовые пояса.

Линх во Вселенной кружит,
восхищая Млечный путь.
А кому-то будет хуже,
если пояс расстегнуть?

ТИНА АРСЕНЬЕВА

ФРЕЗИ ГРАНТ

1.

Так, словно мы ещё не всё сказали,
Таращатся галактики в юдоль:
Казалось мне – есть имя на вокзале
Их притяженью, внятному, как боль.

Ведь всякий поезд ящерицей юркой
Скользил меж пальцев – прямым туда,
Где, может, небоскрёбы, может, юрты,
Но непременно белы – города.

С тех пор, пределов Северной Короны
Не покидая, с вотчиной в горсти,
Обвыкла я столбить собой перроны
И с долгих пирсов медленно брести.

Дана была в предел черта морская,
И всякий город ведом как привал,
И окоём, отъёму потока,
Смеясь в лицо, грозил и зазывал.

Свидетель небо – как перчатку кречет,
Люблю сей мир: отныне, как сперва.
Живу рывком: вослед или навстречу, –
Незрячего, по сути, естества,

С простёртою рукой: она же строже
Воздетой в крестном знаменье руки, –
Ведь что у вас кресты на раздорожье,
То здесь на входе в гавань маяки.

Когда тебя понудит, что не мило,
Я стану приходить к тебе во сне
Тем берегом, что проплывает мимо,
Перроном тем, что стронулся в окне.

Но к памяти твоей не будем строги,
Ведь память – что ныряльщика страда:
В её потьмах объяли воды многи
И перл, и сокрушённые суда...



И будь ко мне судьбы благоволенье
Ликующим, как вешний хор дроздов, –
В нём станет биться давнее томленье
Неровным пульсом дальних поездов.

Где следом кормовым кипеть и таять
Воспоминанью, я взгляну светло
В прозрении, что мировая тайна
Поймалась в сеть вокзального табло.

2.

Средиземноморье? Та же соль
На разлив – процедишь сквозь глаза.
Сотрясать обрыва антресоля
Точно так навывихая гроза.

Ведь, в упорном развороте крыла
Парусинных рея над волной,
Никуда Улисс ваш не доплыл,
Кроме глухоты островной.

Здесь твой двор, в поленицу дрова
Уложи, травую оторочь.
Как прекрасны эти острова:
Здесь бы жить – томиться – рваться прочь!

Скалься ввысь обломками гряды,
Выморщив горячие пески,
Но тебя, мой город у воды,
Обуяли те же сквозняки.

У тебя изгвазданный лиман –
Колдовству Цирцеи сто очков;
Твой в дыму дрейфующий шалман
Разразили громы каблучков:

Вся – недоумение души
Собственной оправой на одре,
Эй, Сильветта, вредина, пляши
С худенькой ладошкой на бедре!

Чей ты рассыпаешь топоток,
Юбку взвевя, словно флотский стяг?
Малагеньи лавовый поток,
Ошпалев, лакает Аю-Даг.

Всё здесь впромес – наполняй стакан
Кровотоком пурпурным, заря!
Слышишь: свист, – вдогон тебе аркан;
Скрежет, – выбирают якоря.

Тех земель багряное вино –
Остров, остров! – руки коротки!..
Нам, таким, от века суждено
Мимо дома плыть на маяки;



Из житейской бури налегке
 Выходить, живя не по уму, –
 Чтоб в тумане, с фонарём в руке,
 Нисходить к заблудшим на корму.

3.

Альбатросы – я слышала, – души моряков,
 Чьи тела – без отпущенья сброшенный балласт.
 Вот и даль отпыхала там, где был таков
 Ралом водоизмещенья вывернутый пласт.

Мне – четырнадцать: не вспомню гуще синевы,
 Чище – дюны, прорвы – глубже, строже – маяка.
 Скоро небо скажет: «Полно!» – морю и, увь,
 На мели осенней лужи бросит облака...

Но пока что, одинока, в части кормовой,
 Внемяю: слаженное пенье глушит толща вод.
 В нём без лота и бинокля ясен корневой
 Смысл безбрежности: терпенье, – соль: слеза и пот.

Но терпенья не приемлет отроческий пыл:
 В плеске волн слышна молитва – смысла её не вем;
 Звёздный зрак над морем въедлив, след, кнпя, простыл,
 Хор – невнятно, скорбно, слитно – длится в токе вен...

И не станут назначеньем эти города,
 В ностальгию тех мелодий ненадежен трап,
 Где всесветным разлученьем зыркает звезда –
 У судьбы моей в колоде выявленный крап.

Грешным делом и чинарик примешь за звезду,
 Где полощется мочало камня-крепыша:
 Глянь, – а вдруг, вперя фонарик в пенную гряду,
 Бродит там, ища причала, некая душа?..

Смыть ли давние чернила, плиты ли сколоть?
 Утолить ли повсеместно алчный жор костров?
 Помолись, – её теснила матричная плоть;
 Помолись, – ей было тесно в табели миров.

Так – врасплох – сторожевая вспышка в круге зорь
 Проставляет метку срока сданному внаём;
 Так – времён не созная, – весь – по кругу – зов
 Грозно блещущего ока, – дышит окоём.

Я лечу – белоголова, – я обречена, –
 Это ложное преданье, – это ведь во сне,
 Рассекаема, два слова спела мне волна:
 Обещанье – ожиданье, – те, что жизни – вне...

АЛЕКСАНДР СЕМЫКИН

ЦВЕТОК МОЛЧАНИЯ

НЕМО

У щербатого зеркала тусклы глаза,
В бороде седина, голос слабый: Я – Немо...
Я пришёл, чтобы дать умирающий залп
Одиноких торпед и отчалить на небо.

Наутилус ржавеет – мой верный ковчег,
Все давно полегли мои братья сипаи.
Жернова революции ласковы, Че?
Че молчит. И на камбузе чайник вскипает...

МОЛЧАНИЕ

Молчание – тень потаённого чувства...
Я птицей безмолвной в ночи прилечу к вам,
И крылья сложив, примощусь в изголовье,
Чтоб в час, когда сны ваши мчатся в галопе,
В них ловко впорхнуть в промежуток малый –
Склевать подчистую печали, кошмары,
И выстроить там же дворец вам из перьев,
В котором бы все веселились и пели,
И где бы гостям были солнечно рады,
И прямо с порога сажали их рядом,
И досыта нежно кормили любовью,
Не крохи кроша, а почти на убой, и...
Пусть видом дворец – не дворец, а лачуга,
В нём спрячу для вас то, о чём промолчу я...

ТРОТИЛ

Шахидка ты, а я – тротил,
Запятанный в нательный пояс.
Ты ждёшь последний в жизни поезд,
И этот шаг необратим.

Мне безразлична чья-то месть...
Мне незнакомо слово «жалость»...
Но сдетонирую, пожалуй,
Пока ещё безлюдно здесь...



УГОЛ

Найти себя не в том углу
 По всем канонам здешним вредно...
 Но зеркала поманят вглубь,
 Секундной стрелкой пустит время
 По отражению круги –
 Как будто эта зыбь меня ест.
 Мне б оставаться тем, другим,
 Но я меняюсь, я меняюсь
 Не в лучшую из всех сторон
 Стаканом налитого света –
 Его губами только тронь,
 Чтоб стать бутоном розы ветра,
 Раскрыть, рассыпать лепестки,
 Отбросить камешки с души на
 Все те зыбучие пески,
 Что загушали и душили,
 И отразиться на себе
 По траектории не круглой:
 Неизменившийся субъект,
 И во главе всё тот же угол...

РЕВУЩИЕ СОРОКОВЫЕ

пошиты паруса из штор
 а мачты кажутся кривыми
 но я бросаюсь в этот шторм
 в ревущие сороковые
 где не виднеется ни зги
 и так легко принять на ощупь
 волны волнующий изгиб
 за лезвие старухи тощей
 ну хоть бы капельку огня
 хоть уголёк что еле тлеет
 но даже свет внутри меня
 не делает мой путь светлее
 а впрочем прочь лети тоска
 тай в небе сумасбродной чайкой
 я в шторме сам себя искал
 и потому здесь не случайно
 ведь нет вкуснее этих брызг
 и пусть штурвал к чертям изломан
 кричу бегущим крысам брысь
 и затыкаю течи словом

МНЕ СНИЛСЯ СНЕГ

Мне снился снег бессонными ночами,
 он в небо шёл поверх людских голов,
 и светлый лик снежинок был печален –
 их будто что-то к страшному вело.



За долгим шлейфом странников летучих
буранный ветер гнал своих коней,
белёсый рой терялся в чёрной туче,
и мне казалось, им пришёл конец...
В костре рассвета брезжило начало
под шёпот «всё тревожное сожги»:
как крохотного, сны меня качали
и в них играли ангелы в снежки.

ВРЕМЯ ОДУВАНЧИКОВ

Свято время одуванчиков
с терпким привкусом во рту
сотни раз внушало мальчикам
разбегаться, словно ртуть.
И грозили указательным
следом полчища мамаш,
но летели по касательной –
мимо цели залпом мажь!
Никаких «уймись, прошу тебя»,
безнадёжно запирают:
вальс пушистых парашютиков –
к небу тянется спираль,
по которой, как по лесенке,
ввысь метнуться и пропасть...
Нет нужней и бесполезнее,
чем влекущая тропа
в то несбыточно-заманчиво
детство сверху разглядеть.
Там вином из одуванчиков
весь пропитан летний день...

ОСКОЛОЧНОЕ

Мне в этот раз опять везло:
Огнём плевали цитадели
Свинцовые осколки слов,
Но ни единым не задела.
Кипящей ругани смола
Лилась с высоких стен и башен,
И ширилась куча-мала
Под этот чёрный дождь попавших.
Они тоской заражены,
В сердцах их ненависть и ярость –
Сегодня праздник у войны,
Я слышал, как она смеялась.
Но я дойду, свой страх скрутив,
И донесу бесценным грузом
Цветок молчания в груди
О скорбном, тягостном и грустном.
И погашу бикфордов шнур
В себе самом, пусть эта малость
Не даст войне плодить войну,
Смеясь в лицо, не унимаясь...



ВРАЩЕНИЕ

Плывать бы на вращение Земли,
Но, в грудь насквозь входящей ржавой осью,
Скрипит во мне предчувствие зимы,
Спонтанно проецируясь на осень.

Фильтрует поворотом белый шум:
Тревожное створжено стихами,
Которых я за год не напишу,
Но чей прозрачный пульс не затухаем.

Казалось бы, вращается и что ж,
Кардиограмму вяжет нервной спицей,
Но эту ось попробуй, уничтожь –
И мой волчок не сможет возвратиться.

СНЫ СОВЁНКА

Не звени сосулькой звонко –
Зимней ночи сон летуч:
Спит созвездие совёнка
На перине снежных туч.

Нелегко на небе совам –
Напорхаетесь за день...
Сны совёнка невесомы,
Только б месяц не задеть.

МАЙЯ ДИМЕРЛИ

МАРГАРИТА СОБИРАЕТ ЖУМЧУГ

КАЛЕЙДОСКОП

Как ни крути, но Мир – Калейдоскоп.
Ссыпаются в любое положение
В нём бусинки и стёклышки скольженьем
Вдоль радужки пугливых антилоп.

Пурпурный шар, как в зеркало, глядит
В ультрамарин живого Океана,
Под сладкий звук свирели бога Пана.
И васильковый день в груди хранит

Лимонный голос жадного птенца,
Сурьюмою бархатной затянутые ночи
С отметинами звёздных червоточин,
Улавливающих, как на живца,

Немые стаи разноцветных рыбок –
Молитв, проклятий и благословений.
Цветные стёклышки рассматривает гений.
Мир очень прочен, потому что зыбок.

Лиловый Кришна, золотой Христос,
Неведомый Аллах с зелёной книгой,
Калейдоскоп вращают миг за мигом.
Мир дивно сложен, потому что прост.

Пускай тебе понравится природа –
Исписанный брусок сырого мела,
Глициний гроздь, строгих лилий стрелы,
Спор тысячи цветов в течение года.

Блаженной ночи бесконечны очи,
Но всё равно обманет их Факир.
Пускай с тобой пребудет вечно Мир!
Гляди в него, крути его, как хочешь!



Между сломанными стрелами,
Между яблоками белыми
Пролегла трава зелёная.

Между зёрнами усталыми
И молочными опалами
Разолью траву зелёную.

Перед лодкой приплывающей,
После лодки уплывающей
Проплывёт трава зелёная.

И над головой склонённую,
И под огневými клёнами
Прорасту травой зелёною.

МЕТАМОРФОЗЫ

Слабые руки,
Бледные лица,
Медные птицы,
Шелест волос.
Чёрные пашни,
Круглые башни,
Снег (настоящий),
Вереск и воск.
Клёны багрятся,
Тени томятся,
Овцы боятся.
В хоре стрекоз
Тонут берёзы.
Метаморфозы –
Люди уходят
На сенокос.

ЧУМНОЕ ХАНСТВО

Меж нами бездна
С эпицентром
В центре ада.
Всё бесполезно –
В вашей церкви
Злеет стадо.
Вас лютиков венцы
Венчают лютью,
Церковные сосцы
Сочатся рутью.
Чумное Ханство,
Вам не страшно
И не душно.



Бездушное пространство –
Безвоздушно,
Пусты глазницы,
В сердце – лёд,
В душе – порожно.
Бессмысленно.
Немыслимо.
Безбожно.

ВТОРОЙ КАРФАГЕН

Страна истекает слезами и кровью.
Венки у подножья,
Цветы – к изголовью...

Над степью мостится
Сиротка-сирокко
Транзитом сквозь выжженную Русь
Из Марокко,
Где бдит в саркофаге
Второй Карфаген
И тянет из вен
Восхитительный мокко...

Какая воровка-
ворона-сорока
Нам кашу варила
И деток до срока
Всё кормит
И кормит,
Как косит
Их острой осокой?..

В руке повилика,
Смириться велит,
А глаза с поволокой...

Слепая Сибилла
Гадает на кофе:
– Что будет – то было,
Поверьте, я – профи!
Второй Карфаген
Вслед за Первым
Дойдёт до могилы.
Клокочет Инферно! –
И чашку от мокко разбила.



ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

*На сцене Война – полуголая и грязная старуха
с младенцем на руках:*

«Я к вам пришла с казанского вокзала
И принесла с собою сироту
С иконой Богоматери во рту.
Икону эту я сама писала.

Теперь я – мать родная сироте.
В его ушах визжат виолончели,
А я кажусь Венерой Боттичелли
В своей неотразимой нагоде».

Самозабвенно жидкий скальп скребя,
Она сказала: «Я не всё сказала.
Пусть слабонервных выведут из зала
И каждый смиренный выйдет из себя.

От слов монах закладывает уши
Ослов. Они закладывают души.
Их душиг и подвешивает туши
Рукою ловкою мой вечный бог.

Его искусство ищет совершенства,
Чтоб ощущать сиротство как блаженство
На том конце замедленного жеста
Вам до скончанья всех земных дорог.

Являя злomu миру красоту,
Я принимаю всех в свои объятья.
И с таинством порочного зачатья
Рожаю вас с иконою во рту».

Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита не выносит линий.
Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита любит круглый иней.

Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита держит спину прямо.
Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита выглядит упрямой.

Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита думает о главном.
Маргарита собирает жемчуг.
И она умеет это славно!



Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита носит ожерелье.
Маргарита собирает жемчуг.
Маргариту пишут акварелью.

Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита знает всё, что нужно.
Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита видит всё жемчужным.

Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита собирает жемчуг.
Маргарита собирает жемчуг...

ИЗ ТЫСЯЧИ БЕССОННИЦ

Из тысячи бессонниц,
Сладких слёз,
Улыбок горьких,
Дуновений ветра,
Что наполняют смыслом паруса,

Из тонких нитей
Солнечных сплетений,
Сетей рыбацких,
Смертных жил Ахилла,
Запутанных, как ткань повествованья,

Из безупречных слов
Порочных старцев,
Томящихся вокруг
Сусанны чистой,
Крадущих счастье жадными руками,

Из милосердной
Музыки дождя,
Полёта краткого
Пчелы с нектаром нежным,
Что бесконечно наполняют лето,

Родится жизнь, наполненная смыслом!

АЛЕКСЕЙ ХОЛОДОВ

МЕЧТЫ ПАСИФАИ

I

Пасифая всегда сама запирала дверь. И даже если усталый Минос перед тем, как подняться на каменную террасу и выпить мартини под нарождавшимися звёздами, поворачивал ключ в их главной двери, позже, когда ночь становилась невыносимой, Пасифая, нисколько не сомневаясь в его прилежании, всё-таки спускалась вниз, чтобы отпереть и снова запереть три замка у входа в дом. Потом были ещё двери между первым и вторым этажами, но это было не так уж важно – их Пасифая могла оставить слегка приоткрытыми. Главное – защёлкнуть три первых замка. Дальше можно было вернуться к Миносу, а можно было и остановиться где-нибудь на полпути в столовой и выхватить обрывок телевизионного репортажа о далёкой стране, где шесть месяцев в году идёт снег, море сурово и нежеланно, а люди живут долго, собирая бледные тонкие лучи редкого солнца в обветренные ладони и храня его краткую теплоту друг для друга. Съёжившись от вида таких земель, Пасифая подходила к недавно купленной картине – пока они с Миносом не знали, что с ней делать и оставили в глубине коридора. Днём они вместе могли часами рассматривать её, но Пасифае важно было взглянуть на неё в полумраке, умирившем ярость красок, взглянуть одной, так, чтобы Минос невольно не смог навязать ей своё понимание. Здесь всё было смятение: бурые, красные, синие, фиолетовые цвета, чёрные росчерки и такие же чёрные растопыренные пальцы, слабый контур опрокинутого разъятого тела и чьи-то навсегда потерявшие себя глаза. Для неё это было запечатленным безумием, неумным сползанием к страданию и смерти, но пропавший виски художник на выставке в салоне их друзей утверждал, что так он чувствует её, Пасифаю, так он видит её будущее.

– А вообще это последняя. Последняя моя работа. Всё кончено. Я возвращаюсь на материк. Меня жадут деревья, – бормотал он, перехватывая у официантов всё новые стаканы с бесплатным «бурбоном».

– Мы должны купить её. Даже если это он говорит просто чтобы получить деньги, – сказал тогда Минос.

Пасифая пока не могла расслышать, как отвечали на этот хаос голоса внутри, и она только зябко пожала плечами. Но, кажется, картина сразу же потянула её к себе, и она не возражала, когда Минос выписывал баснословный чек едва владевшему собой автору.

В тот вечер зюйд-вест всё-таки сумел пробиться под пеплос Пасифаи, скользнуть по её бедрам и овладеть ею, когда они вдвоём с Миносом возбуждённо-гаинственно, словно совершая нечто недозволенное, несли картину к машине.

Но как только дверь дома закрылась за ними, и тревожная, подёрнутая дальним первобытным туманом Луна, казалось, хотя бы на время оставила их, они почувствовали себя растерянными и уязвимыми, как бывает, когда заканчивается многодневный праздник и люди ещё не знают, как быть с подступившими к ним долгими и слишком ровными рядами будней. Несомненно, картина была совсем чужой среди тех умеренно экспрессивных и разумно абстрактных полотен на их стенах, где, в общем-то, всё было предсказуемо и знакомо.

– Это только повторения, копии одного-единственного экстаза и откровения. Оно пришло к одному счастливцу-страдалицу много веков назад, и теперь все только и делают, что подсматривают за ним, исподтишка заглядывают в его тайны. И напившись из его источника, пытаются придумать нечто такое, что кому-то может показаться их собственным прозрением, – прошептала тогда Пасифая, глядя на картины, с которыми они провели последние годы, и Минос впервые ничего не смог ей возразить.

– Оставлять её здесь, с ними, нельзя. Она другая, – добавила она, и покорный Минос отнес её подальше в конец коридора, где стены были чисты и беззвучны.



Теперь несколько минут наедине с сумрачно-эксцентричным холстом превратились для них в обычный ежедневный ритуал. Совсем как утренний кроссворд Миноса за чашкой остывавшего кофе: в городе была только одна газета, безразличная к суете в местном ареопаге, и каждое утро её последняя страница раскрывалась чёрно-белым лабиринтом на кухонном столике. Сделав первый глоток, Минос обычно выводил одну-другую букву в лукавых, никак не желавших уступать ему квадратиках, задумывался, потом поднимал глаза и произносил что-то вроде:

– Воздержание от суждений, невозмутимость. Девять букв.

К тому времени Пасифая успевала позавтракать и, вымывая из чашки остатки кофе, отвечала:

– Атараксия.

Минос удовлетворенно кивал и снова уходил в перекрёстки кроссворда, чтобы через минуту отбросить газету, повязать галстук и отправиться на агору. На следующие шесть часов он должен был стать другим – предприимчивым перекупщиком земель и недостроенных апартаментов.

Их дни были похожи на прозрачные, едва окрашенные солнцем облака, бредущие по небу ранней весной: в каждом из них было что-то своё, особенное, но в целом и через год, и через пять лет это были всё те же невесомые облака, и лёгкое разнообразие их очертаний нисколько не меняло ни их материала, ни их природы. И это нравилось Пасифае. Она любила их дом – когда ещё до свадьбы Минос привел её сюда, она долго бродила среди едва оштукатуренных стен и думала о том, какой будет её жизнь здесь, в комнатах, где было слышно море, где можно было жить тысячу лет, без труда раздвигая границы каждого мгновения, и где, кажется, и вправду можно было поверить в то, что счастье – это не более чем предопределённость, неминуемость нового утра, глотка кофе, сочного яркого дня, когда на губах ощущаешь вкус полуденного солнца, долгого вечера, когда камни города превращаются в цветы, наполняясь фиолетовым, багровым, зелёным светом, и когда так приятно следить за наступлением звенящей цикадами ночи. Ей нравилось расположение комнат, долготы коридоров, неуязвимость их спальни и просторная терраса над молодым садом.

– Когда-то я учился на архитектора, но, сама знаешь, все эти перемены на Острове заставили меня натянуть на себя костюм торговца. Теперь я только продаю дома, а не строю их, – точно оправдываясь и занскивая, говорил он тогда Пасифае.

– Неправда: один дом тебе всё-таки удалось построить, – сказала она, едва не улыбнувшись смущённому и благодарному Миносу.

Два университетских диплома обязывали, и Пасифая решила изобрести для себя маленькое занятие, безобидную привычку, что-то вроде собирания старинных книг и современной живописи, и когда ремонт был закончен, казавшиеся голубыми в сумерках стены запестрели взрывами чужого прагматичного вдохновения, а древние фолнанты небрежно замелькали на редких полках.

По правде говоря, первую картину в их дом принёс Минос. Это случилось через два месяца после переезда, когда на Остров пришла небывалая зима, замёрзли бухты, пляжи обросли ледяными торосами и под инеем побледнели кипарисы на древнем кладбище. Быть может, Миносу просто захотелось согреться: на холсте бушевало лето – художник прилежно выложил на него свой восторг от зелёно-сине-охрового изобилия – и хотя на нём не было ни одной узнаваемой формы, глядя на него, можно было слышать вкус лимона и тяжёлый вздох усталого от жары моря. А быть может, всё это было из-за страха – Пасифая знала это – от него не могла уберечь даже молодая жена. Того же страха, что иногда достигал и её: боязни навсегда расстаться со своими первыми мечтами, навсегда сделаться просто женой или просто умеренно удачливым торговцем. В ту зиму, несмотря на морозы и не отступавший от города северный ветер, на Острове высадилась целая армия хитроумных риэлторов с неиссякаемыми бумажниками и полномочиями. Едва удерживаясь на ногах от несущего лёд и отчаяние ветра, они набросились на ещё непроданные клочки берега, убеждая владельцев, что боги вновь на много веков отдалили от земли солнце и что теперь к Острову очень скоро потеряют интерес столичные инвесторы, а значит нужно спешить продать то, что осталось. Им удалось обмануть многих измученных холодом островитян, одна за другой посыпались сделки, и Минос должен был хотя бы ненадолго спастись от рынка, взорвавшегося вдруг – вот уж поистине кто бы мог предположить! – вопреки всем прогнозам, учебникам и ожиданиям. Чужая картина – Пасифая понимала и это – должна была помочь ему вернуться в те времена, когда каждая мечта была ещё исполнима, и когда не было ничего ощутимей палубы барка под твоими ногами – маленького пространства между фок- и грот-мачтами, где рано или поздно тебе должны были открыться новые берега. Она точно говорила ему: это ничего, что тебе не удалось удержаться на твоём паруснике, видишь, у

кого-то всё получилось и этого успеха хватит на вас двоих. Просто по безмолвным и беспрекословным законам всемирного равновесия кто-то должен был отступить, кто-то должен был сдать, чтобы кто-то другой написал свою картину. Это слабое утешение, но без твоего поражения не было бы чьей-то победы. «Наверное, – думала Пасифая, – обо всём этом могла рассказать ему эта первая картина на стенах их дома – узкое ущелье между воспоминанием и реальностью, между взъерошенным юнцом и услужливым торговцем землёю. Крохотная крепость, а по другую сторону её башни – враждебное войско телефонных звонков, электронных сообщений, многодневных переговоров и подписаний контрактов».

Очень скоро за первой картиной пришла вторая – её уже выбирала Пасифая, не желая оставлять в одиночестве мечту Миноса, да и каждая вещь в их доме неустанно требовала повторений, неизбежных дубликатов, словно так они могли приблизить к совершенству неудачный оригинал. Желание купить третью пришло одновременно к ним обоим, как это бывает, когда и муж, и жена, не стовариваясь, решают в ближайшие выходные вырваться из города, уехать на неделю в горы, а быть может, и, перелетев через экватор, увидеть-таки свет Южного Креста и небо над Ла Платой. Четвертая не оставила им выбора – слишком пронзительным был на ней аквамарин, – а кто предложил привезти домой пятую не имело теперь значения. Так холсты их стен изменились за неполные полгода, едва успев побывать свободными, не отягощёнными выдумками своих хозяев.

На Острове почти не осталось больших художников и картины, которые они собирали, едва ли можно было назвать выгодным капиталовложением: скорее всего, с годами они только бы теряли в цене. Возможно, иногда, не признаваясь друг другу, они думали об этом, но однажды Минос оборвал шорох сомнений:

– Все они живые. Глупо было бы развешивать полумёртвые репродукции известных мастеров. Таких подделок много, а наши – наши одни.

Пасифая кивнула, хотя, конечно же, тогда они понимали: такое может написать каждый и различия между двумя картинами, как правило, не больше, чем между листьями платанов на аллеях осеннего Острова. Об этом они предпочитали не говорить – ведь, в конце концов, даже листья неповторимы и они должны радоваться такой неисчерпаемости фантазии у природы, скромному различию в мелочах. Другие пускай приходят в восторг, обнаружив в новом нечто *хорошо знакомое старое*.

Всё было именно так, пока последняя картина не вошла в их дом. Но это было спустя годы, и у них ещё оставалась впереди, по крайней мере, тысяча дней, когда Минос, вернувшись домой, вместе с костюмом снимал и панцирь, сложенный из нескольких дюжин профессиональных любезностей – *мы рады, что вы обратились к нам, спасибо за интерес к нашей фирме, мы сможем предложить вам наилучшее решение, мы всегда открыты для рассмотрения различных вариантов, цена – договоримся!* – отключал телефон, принимал душ и в лёгком юношеском хитоне выходил к Пасифае. *Я вернулся к себе. Сейчас я настоящий. Такой, каким я был всегда, пока не выкупил первый брошенный дом, часто говорил он ей в такие минуты. Пока ещё я умею вернуться. Спасибо тебе и этим картинам. Кстати, что ты думаешь об этом цветке?* – и дальше начиналась экспедиция в похожие на воронки полотна.

– Хорошо было бы в следующем году добраться до Континента. Там есть настоящие пинакотеки, не чета нашим, – обычно говорил Минос, когда им, наконец, удавалось оторваться от картины и выйти на террасу с неизменным бокалом мартини перед ужином.

– Да, это было бы неплохо, – соглашалась Пасифая.

Всё было так, пока Минос не выписал чек художнику, уставшему от «бурбона» и насмешек своего воображения.

В то лето ночи были взволнованны и скрытны. Пасифае казалось, что они вот-вот готовы были рассказать ей свою самую главную тайну, но кто-то резкой сильной ладонью, хлопнув по их вспухшим сливовым губам, растянувшимся над городом и морем, оборвал первую попытку шёпота, спазмы первого слова. И всё, что она так ждала с самого первого своего вечера на террасе нового дома, оставалось произнесённым. Правда, ночи старались подбросить ей подсказки: надрывы цикад, дыхание тополей, длинные лунные дорожки, рассекавшие море, бледные всполохи за горизонтом. Но Пасифая ничего не умела разгадать по этим замысловатым подмигиваниям ночных просторов. Ей приходилось ждать, и всё чаще она думала о том, что миру нет до неё никакого дела, что ночь бессмысленна и восхитительно безразлична и мечтает только о своём продолжении, как и цикады, вот уже десятки тысяч лет тянувшие свои брачные песни.

А потом открылась дверь. Пасифая точно знала, что она запирает её в тот вечер. Она даже помнила, как щёлкнул каждый из трёх её замков в полумраке коридора, заглушив далёкий звук телевизора и нето-



роплавные движения Миноса на кухне. Если бы только это было возможно, она бы повторила их, эти три ноты, обещающие безопасную ночь, когда управляем даже экстаз и даже порыв ветра, бьющий вдруг в полночь в окно, кажется вполне ручным, подчинённым общим законам сконструированного ими мира. Но утром дверь оказалась открытой, и свет молодого дня протиснулся в дом сквозь необъяснимую щель.

Пасифая долго растерянно смотрела на дверной проём, пробовала замки и даже на минуту вышла во двор, будто ночной гость мог всё ещё быть где-нибудь рядом. Она могла бы обмануть себя, убедив, что она просто забыла её закрыть, что слишком терпким и сомнительным был вчерашний вечер и что, конечно же, виной всему лишний бокал недавно открытого ими удивительного напитка из земель поэтов и гаучо – такой букет заставит забыть и не только о двери. Тогда всё могло бы продолжаться как прежде, и они с Миносом вернулись бы к утреннему кроссворду, недопитому кофе, шестичасовой разлуке, за которой неминуемо пришло бы время ещё одного обсуждения хорошо знакомых художеств, а потом и ещё одни сумерки и первые звёзды над их головами – они бы загорались беспшумно и как будто случайно, словно играя со следившими за ними людьми. А дальше снова вынужденное молчание ночи и, наконец, если сон так и не придёт к ней, дрожащая бледность над морем. Но Пасифая знала, что ничего этого не произойдёт, что теперь всё будет по-другому и что больше она никогда не сумеет закрыть дверь.

В тот день наблюдавшие за ней боги – Пасифая больше не сомневалась в их внимании – расщедрились, наконец, на знамения. В полдень на террасу опустились две чайки. Эти птицы никогда раньше не приближались к их дому, и Пасифае стало страшно от стремительности проникновения неотвратимого в уклад её жизни. Потом подул ветер – ещё одна странность в час летнего оцепенения, – птицы, вскрикнув, взлетели, а на солнце на мгновение надвинулось облако, одно-единственное посреди слишком синего неба. В поисках дождя Пасифая запрокинула назад голову и выронила из рук любимую, такую уютную чашку, полную самого крепкого, самого горького в мире кофе. Всклип умирающего фарфора, крик тени, покрывшей вдруг город, напряжение листьев и окаменелость случайных голубей на крыше – всё совпало в одну звонко-протяжную ноту. Потом откуда-то на неё полетели чужие строчки:

*Вернутся вспять, за первый день творенья,
Камочкам слизи в тёплый мрак болот,
Где жизнь и смерть, зачатие и рожденье –
Всё в дреме соков медленно течёт.
Осоки лист иль дюны холм отлогой –
Навеян ветром и к земле тяжёл...
Уже крыла стрижа нам было б много,
Уже крик чайки болью б изошёл.¹*

– Я приобрёл долю городского кладбища. Говорят, грядёт чума. Мёртвым землю продавать легче, чем живым. Мёртвые стоворчивее. Так очень скоро мы построим целые города мёртвых, о каких даже не мечтали наши предки, – говорил Минос в тот вечер.

«Что ж, это новый горизонт в твоём бизнесе. Несомненно, мы станем богаче. Только оттуда ты уже не сумеешь вернуться. Теперь ты будешь как все», – подумала Пасифая, но ничего не сказала своему царю.

После того дня, когда вместе с её чашкой едва не рассыпалось небо, она больше не замечала картин. Поначалу она испытывала раздражение, когда ей на глаза попадались недавние предметы её восторгов – поглотители их времени и денег. Она даже пыталась пререкаться с ними, говорить об искусственности их красок, надуманности запечатлённого на них хаоса.

– Попробуй-ка, напиши настоящее безумие, тот звук, какой я слышала в день откровения, – хотела крикнуть она самой одинокой из них, притаившейся в сумерках коридора. Но дом покачался, а вместе с ним далеко в сторону ушёл и маятник её настроения, шепнув ей, что сейчас лучше всего просто пройти мимо, и Пасифая к своему удивлению почувствовала, что больше не видит картины, что рассказанная на ней дикая история теперь не больше, чем неумелое смешение цветов и неуместных линий. И она, усмехнувшись, отвернулась от неё. А не найдя однажды среди старых страниц любимой когда-то книги ничего, кроме надуманных претенциозных мыслей, она оставила и антикварные фоллианты в одиночестве мглистых полок, разбросанных по стенам их похолодевшего дома.

Позабыв о рисунках и книгах, ради окончательной победы однообразия Пасифая выбрала вязание. По вечерам она усаживалась напротив телевизора, наугад щёлкала одним из каналов: блок новостей, история очередной светской сплетни, музыкальное шоу или мыльная опера – для неё не имело значения – и погружалась в ажурные пространства, похожие на не зыбкие волны уснувшего моря, пытаясь снова

подчинить свою жизнь испытанным законам монотонности и извечного повторения.

– Зачем на Острове, где почти не бывает зимы, столько шерстяных вещей? – недоумевал Минос, но Пасифая не слышала его, а вязала нескончаемые одноцветные свитера, носки и шарфы. Только однажды вечером, когда блеск её спиц в полумраке гостиной сделался для Миноса нестерпимым, она, не поднимая глаз, сказала:

– Овцы. Мы должны помочь им. Они тоже ищут освобождения.

«Если честно, – подумал тогда Минос, то я мечтал о другом, а ты – ты слишком рано взялась за рукоделие. За вязанием всегда приходит безмолвие, а потом смерть. А ведь нам можно было бы ещё так много успеть, так много увидеть прежде, чем запереться в неподвижности безразличия, в покорном ожидании старости». Но Пасифая, яростно хрустнув пальцами-спицами, набрала новую дожину петель, и его возражение исчезло, раздавленное громадой надвигавшегося вечера.

А когда возле дома Пасифая увидела Тавра, она нисколько не удивилась его приходу. Она знала: он давно, а, возможно, и всегда – ведь мир пребывает неизменным – был рядом и теперь всего лишь исполнил ритуал воплощения из её разрозненных ожиданий и стиснутых волнений, о каких ей совсем не хотелось говорить раньше.

Это случилось поздним утром. Кроссворд неделю лежал неразгаданным, остывший кофе мечтал быть выпитым, а галстук Миноса снова показался Пасифае не таким уж безукоризненным. Но эти бытовые несовершенства она наблюдала отстранённо, без колик досады и раздражения. Теперь тайному негодованию она предпочитала откровенную скуку и, вымывая из чашки чёрную гущу, настороженно разглядывала начинавшийся за кухонным окном долгий, преисполненный изобилия день позднего лета.

Казалось, слышно было, как на террасу горячими каплями падал свет сквозь решето усталых от жары листьев. Но вот всё стихло: мир вокруг словно набрал полные лёгкие воздуха и замер, боясь выдоха и неминуемости нового вдоха. Солнечные лучи сделались как натянутые струны: мгновение – и они должны были разразиться новыми мелодиями. Эта музыка, или пока только её предчувствие, как будто уже была в её теле, и Пасифая испугалась приближения минуты, когда молчание разобьётся под ударами ликующих созвучий. Отставив чашку и зажмурив глаза, Пасифая услышала, как зазвенели струны, но этот звон не смог заглушить другого, самого главного звука, чужого дыхания – радостно впускала его в себя Пасифая. Она знала: на террасе к стене их дома прижался Тавр.

Дальше всё было как обычно. Едва слышное «пока» Миноса – он произносит его, изо всех сил стараясь не встретиться с ней глазами, – хлопок союзницы-двери, тихий шелест отъезжающего автомобиля и обрушившаяся на неё лавина освобождения. Теперь перед ней мягкая податливая плоть дня. Она совсем как клубок шерсти: Пасифая может связать из неё что угодно. Неплохо было бы выйти на террасу к Тавру, а ещё лучше впустить его в дом. Но нет. Сегодня ничего этого не произойдёт. Сегодня все шесть часов до возвращения Миноса они проведут вот так, по разные стороны кухонной стены. Пасифая тоже прижмётся к ней всей беспринотностью своего тела, до последней минуты их свидания втягивая в себя его взволнованное сопение, полное необузданности и обещания. Сначала в нём она услышит недоумение: конечно же, он хочет видеть её, говорить с ней – хотя, что они могут сказать друг другу! – но очень скоро он поймёт, что сегодня они не должны спешить. Сегодня лучше вспомнить, через что им пришлось пройти прежде, чем Тавр смог вот так свободно стоять на террасе её дома. Сейчас они могут насладиться преодолительностью последнего препятствия между ними. Да и, в конце концов, к чему торопиться, если теперь впереди у них вечность. День медленно перетечёт за свою середину, гул города делается тяжелее и тревожней, а поднявшиеся до раскалённого неба испарения асфальта и облака пыли поглотят запах базилика и розмарина в горшках на террасе. Стена расстанется с последним воспоминанием о ночной прохладе и по их лицам побегут капельки пота, но они не отступят, они будут вместе, пока солнечный свет не истратит себя, по саду не разбредутся тени, а на подъезде к дому не послышится шорох автомобиля. Тогда она с лёгкостью отпустит Тавра – ведь теперь это расставание ничего не значит, теперь он никогда не покинет её – и вернётся к вязанию.

Весь вечер Пасифае казалось, что Тавр ещё был рядом, и поэтому часы после заката давались ей легко, и она даже раз-другой улыбнулась неуклюжим шуткам Миноса. Но ночью, когда из всех закоулков, из самых сокровенных углов их дома выступили её привычные сны – они складывались годами и теперь годами чередовались друг с другом, избавляя от разнообразия и эту часть её жизни, – Тавр затерялся в их молчаливом хороводе, смешался с обрывками её прошлого, быть может, всего лишь выдуманного, прошлого, какого ей никогда не довелось пережить. В ту ночь Минос часто стонал во сне, утро никак не могло подступиться к Острову, и когда рассвет, наконец, камнем лёг на их ложе, Пасифая проснулась



разбитой, стиснутой нежеланным серым светом. Перед глазами ещё долго мелькали чёрные листья ночного кашпана, и, стараясь восстановить обычную последовательность их дня, за завтраком она почти не помнила о Тавре.

Справившись с болью в висках, Пасифая вздохнула и сказала застывшему над кроссвордом Миносу:

– Всё-таки плохо, что наш дом так далеко от дороги. У нас никогда не бывает случайных гостей. Чтобы кто-нибудь остановился просто так, по ошибке или подкачать колесо.

Минос ничего не ответил, только задержал в руке на несколько секунд дольше обычного чашку кофе, и Пасифая подумала, что ей лучше было бы промолчать: слова её сегодня ничего не изменят, как ничего не меняли они уже не первый год. Как бы там ни было, Минос с минуты на минуту уйдёт на агору торговать местами в некрополе, утро скоро закончится, на Остров опустится тяжёлый полдень, когда все мечты будут только о ветерке с близкого, но бесшумного в этот час моря – какие уж тут случайные гости!

Проводив Миноса, Пасифая надела купальник, вышла на террасу, раскрыла шезлонг, бросила мяты в первый за много дней мохито и увидела Тавра. Ссутулившись, он выбрался из потоков плюща, струившихся по решетке ограды, из робкой тени, стеснённой густыми полуденными лучами, из её мигрени и неподвижности ожидания.

Погружённая в совершенство минуты, она обернулась к дому. Она вдруг подумала, что всё, абсолютно всё может исчезнуть, что она не выдержит тотальности счастья, этого внезапного прикосновения бесконечности. Ей хотелось задержаться на гребне этого мгновения, снова и снова разыгрывая мистерию его появления. Не оборачиваясь к Тавру, она опустилась в шезлонг и, зажмурившись, прочитала древние стихи одного мудреца: *На этом пути остается Только то, что Есть, На этом пути перед нами. Много примет у него: оно нерожденно, немертно, Цельно, однородно, недвижно, полнопредельно, Не было и не будет, но есть, но ныне, но вкупе, Слитно, едино.* Заучила она их ещё в детстве и повторяла всегда, когда чувствовала, что её подвели к краю и что её жизнь вот-вот должна измениться. Пасифая не успела произнести последние слова, как совсем рядом услышала сопение Тавра. Теперь он смешался с полднем, вместе с ним он медленно обнимал её тело. Горячность его дыхания ударила в затылок, она зажмурилась ещё крепче и прошептала: – Тавр... Она почувствовала, как капельки пота побежали между её лопаток. «Наверное, мой нетерпеливый гость до сумасшествия рад им», – подумала Пасифая.

– Тавр, – повторила она. – А ведь я готова была тебе изменить: не прошло и дня, а я почти убедила себя, что вчера тебя здесь не было. В ответ его дыхание участилось, он переступил с ноги на ногу и протянул руку к её плечу.

Она напрасно боялась: его прикосновение ничего не нарушило, всё продолжало оставаться непогрешимым, и – Пасифая знала это, – чтобы не помешать им, остановились все часы в доме, погрузив их в вечный полдень. Когда-то она думала, что время перестанет существовать для них с Миномом, но испытала это она с другим – с тем, к кому она всё ещё боялась обернуться. Какая, впрочем, разница, если это произошло здесь, в этом месте – в него-то она поверила сразу. Точка, где открывается вечность. Немногим удаётся отыскать её в этом мире. Теперь она могла перевернуться на спину и увидеть его дерзкие глаза.

А он не так уж красив, мой Тавр. Раньше меня бы оттолкнул этот безудерж губ, упрямый стиснутый лоб, слишком широкая и загорелая грудь, тяжёлые золотые амулеты с изображением никому не известного бога.

– Мохито? Лучшее средство от такой жары.

– Не смогу отказать, – едва выдавил из себя Тавр.

Накинув прозрачный пеплос, она прошла на кухню – Тавр, не дожидаясь приглашения, не отступал от неё – и приготовила коктейль, едва не задохнувшись от целой пригоршни мяты.

Пасифае хотелось рассказать Тавру о столетиях её ожидания этого дня, но она давно научилась не доверять словам и поэтому, протянув ему стакан, просто подвела его к картинам в гостиной. Показала она ему и ту, последнего, пророчествовавшую, как теперь она понимала, об её освобождении.

– Когда-то для меня они так много значили. Поверить не могу, сколько времени я на них потратила. Кажется, полжизни провела перед ними, – не удержавшись, сказала Пасифая.

Но Тавр ничего не ответил, а только сморщил лоб и принялся яростно вращать глазами. Дитя, он, наверное, думает, что именно так следует выражать восторг от чего-то непостижимого и далекого, решила Пасифая и, отыскав старинный томик одного позабытого поэта, снова увлекла его на террасу.

– Эти стихи я хотела бы прочитать тебе под звёздами, но думаю, что и такое, блеклое от зноя небо будет лучше серого потолка: не хочу, чтобы сейчас они звучали в этом доме. Удивительный поэт. Когда-то он казался мне пророком, опередившим своё время. Вот послушай, – сказала она и, впервые не испугавшись того, что говорит банальности, перевернув несколько страниц, начала читать:



Аилась нить скорбящей Пенелопы
 Лентой бледной безутешных дней,
 Но, врагов рассяв толпы,
 К ней спешил усталый Одиссей,
 И они друг друга повстречали
 И в смятенье нежно-сильных рук
 Вновь хитоны трепетно упали
 После лет скитаний и разлук
 И слеза счастливо задрожала.
 Колдовством наполнился прибор
 И сама Афина задержала
 Лунный свет над праздною землёй.
 Но от ласк домашнего порога
 Вдаль мечтой немислимой гоним
 Он опять на трудную дорогу
 Выступал, как первый из мужчин...
 Отыскав таинственные тропы,
 Воспарив иль устремившись вниз,
 Мы бежим от верной Пенелопы
 К островам обманчивых Калипс.

На этот раз, нахмурившись, Тавр сказал:

– Слишком много слов, чтоб рассказать о том, что ему надоела жена, и он убежал от неё к любовнице. Для этого предлогов можно найти сколько угодно: плавание, война, торговля. Мужу просто не сиделось дома.

Пасифая улыбнулась. Эти слова гениальней всех разглагольствований о поэзии риторов и любомудров! Как ёмко и как правдиво! Он беспощаден, он не оставляет никаких иллюзий, мой разрушитель. Он прав. Ведь что такое всё искусство, как не вычурная поэтизация адюльтера? Длинная песнь-оправдание перед запретным соитием.

Она хотела показать и папирус с сочинением того самого мудреца, чьи стихи она шептала совсем недавно, чтобы разделить с ним свою веру в постоянство Космоса, но Тавр засопел ещё громче, надвинулся на неё сзади и, наконец, впервые властно сжал её бедра. «И вправду, зачем слова, к чему эти узоры? Наш путь должен быть прям, как напрягшийся фаллос», – подумала Пасифая и, не сбрасывая пеплоса, встала перед ним на колени. Измученные желанием они так и остались на террасе, в окаменелости полудня, в весёлом страхе перед случайным соглядатаем, не дойдя двух шагов до тёмного прямоугольника дверного проема...

На следующий день они всё-таки переступили порог, и в спальне бешенство его экстаза показалось Пасифае чем-то излишним, неуместным. На веранде в саду всё было по-другому. Тавр создан для того, чтобы любить меня под открытым небом подумала она, сжимая улыбку, пока он нашептывал ей: – Ну как? Я лучше, чем твой царёк-землепродавец? Я лучше? Ответь мне! – О, Тавр, с ним всё было так давно. Я больше ничего не помню. – А если подумать? – А если подумать и если честно, то всё с ним тоже было неплохо. – С ним просто неплохо, а со мной отлично? Правда? Ты это хотела сказать, любимая? Значит, я прелесть. Ведь так? – не унимался Тавр. – А ещё, ещё любовники у тебя были? – Никогда. – И он этого не ценит? Да за это он должен был тебя рвать на куски каждую ночь! – Порою всё так и происходило, – хотела добавить Пасифая, но Тавр оборвал её и продолжал: значит я прелесть, а с ним просто неплохо, так? «Как же надоедливы бывают эти неудержимые мальчишки! Иной раз соскучишься по какому-нибудь устало-размеренному мужу», – подумала Пасифая, но тотчас подавила в себе эту мысль – она была не более, чем отзвук, последний всхлип её старых привычек, прошлой покорности и утомительной бессобытийности. Теперь весь смысл только в этом волнении, в непредсказуемости его порыва, в его детском упорстве, в исступлении их наслаждений.

Теперь каждый день, дождавшись прощального скрипа автомобиля Миноса, Пасифая выходила на террасу, усаживалась в шезлонг и начинала ждать Тавра. Ей было нетрудно представить его путь к ней по медленно освобождавшимся от первого напора машин улицам города. Он жил на самой окраине, не-



подалёку от фиолетовых предгорий и, наверное, по утрам ему нелегко было оставлять такой загадочный трамонтан, будивший его ещё до рассвета сквозь распахнутую балконную дверь. Дитя полей, вскормленный запахом свежескошенной травы и навоза да песнями цикад, поделившихся с ним своим сладострастием, он злится оттого, что ему приходится въезжать в город и спешит к ней сквозь облака пыли и выхлопных газов, в аромат базилика и розмарина.

– Чего ты хочешь больше всего на свете? – спросила она его в один из их полдней, когда они лежали в тени, насладившись друг другом.

– Мне это трудно объяснить. Ты не поймёшь, – Тавр даже не обернулся к ней.

– И всё же? Я постараюсь.

– Бежать. Просто бежать. Носиться по лугам с утра до вечера и брать тебя посреди самой высокой на Острове травы.

Пасифая тотчас пожалела о сказанном: в пустыне молчания всё было как-то надежней.

Следующим утром, не вышив кофе и невнятно бросив Миносу, что отправляется по магазинам, она понеслась в банк, сняла все деньги со своего счёта и успела вернуться домой к полудню, прежде чем Тавр засопел за дверью террасы.

– Вот, возьми, – сказала она, протягивая ему пачку банкнот.

– Что это?

– Это твой луг.

– Не понимаю.

Пасифая улыбнулась:

– Всё очень просто: купи луг, о каком ты говорил вчера. Он твой. Здесь должно хватить. Ты сможешь бегать по нему один. Никто никогда не помешает тебе и не отнимет его. Может быть, иногда я буду приезжать к тебе.

Тавр не упорствовал.

– Обязательно приезжай. Я знаю место, в которое вложу эти деньги. Спасибо, – промывчал он и обнял её.

В тот полдень ей вдруг сделалось немного стыдно своих усталых, слегка вытянувшихся грудей. Пасифая поспешно набросила на них пеплос и, съёжившись, пожалела о своей открытости, о том, что сейчас день, а не ночь и что они здесь, а не в спальне – месте, привыкшем к всевозможным несовершенствам. Но неистовство, с каким Тавр вскоре подарил ей новое наслаждение, убедили её, что он восхищён даже маленькими изысками её тела, первыми нотками старости на её коже. «Кажется, он примет и моё увядание, – подумала тогда Пасифая. – Он никогда не оставит меня». И от этой мысли в неё словно скатилось солнце, ей показалось, что она, счастливая, бежит по жёлтому песку вдоль иссиня-чёрного моря, что бежать так она сможет целую вечность, далеко вперёд выбрасывая ноги, и она так переполнилась радостью, что вечером не могла удержаться и не заговорить с мужем.

– Я не помню ни одной буквы, Минос. Кажется, ещё вчера я могла часами декламировать древних поэтов. Теперь я не назову даже их имён. Всё оборвалось. Но самое страшное, что это меня несколько не тревожит. Мне хорошо. Ничего из того, что я знала, больше не нужно мне. Сколько же лишнего мы несём с собой, когда всё может быть так просто!

– Это не лишнее, Пасифая. Без этого груза ты перестанешь быть собой.

– Нет, я буду. Я буду, Минос. Я была, есть и буду всегда. Просто я буду другой, какой я ещё никогда не была.

Она хотела ещё крикнуть о том, что теперь она бесконечно счастливей, чем когда бы то ни было, но дом снова покачнулся и в него вступил Тавр. Она увидела его у северной стены гостиной, где в это время собирались остатки ночного тумана: иногда на рассвете им удавалось проскользнуть в дом и тогда они до вечера кочевали из одной комнаты в другую, прячась от солнца, надеясь дожидаться новой темноты. Тавр стоял, слегка наклонив вперёд голову, и улыбался Пасифае своей обычной, дерзкой улыбкой. Туман скрыл его колени, коснулся плеч и груди, и от этого сила его тела сделалась ещё сокровенней, он был словно новорождённый, ещё только просыпавшийся к жизни. И от близости этой нарождающейся силы, от воспоминания об их недавнем свидании Пасифае сделалось тепло и спокойно, и она умиротворенно улыбнулась ему.

– Не помню, когда последний раз ты так улыбалась, – сказал Минос.

– Увы, но это всё он, – не меняя улыбки, сказала Пасифая.

– Кто он?

Пасифая с наслаждением расслышала испуг в голосе Миноса.



– Он, – и она кивнула в сторону Тавра.

Минос вздохнул:

– Ты устала, Пасифая. Выйдем на террасу. Сегодня я приготовлю мохито.

Всё тотчас кончилось, и Пасифая почувствовала возмущение, даже ярость, словно плавное, успокоительное течение флейты оборвали вдруг взорвавшиеся литавры. Все её сны, все её молчание последних лет она должна была собрать вместе, стянуть в один кулак. Она должна была пройти их ещё раз всего за несколько секунд, чтобы потом, наконец, крикнуть Миносу:

– Я никуда, слышишь, никуда не уйду отсюда! Неужели ты ничего не чувствуешь? Он ведь здесь, вот он, совсем рядом, мой Тавр.

Минос пожал плечами:

– Но там никого нет, Пасифая.

Как только он может быть таким глухим, слепым и безразличным! Его слепота – лучшее оправдание моим встречам, моему ожиданию Тавра. Вот же он, рядом. Ведь ты же мужчина, ты мой муж, Минос. Но нет, только молчание... Пасифая усмехнулась. Тысячелетиями ничего не меняется в этом мире. Мужчины ни за что не хотят видеть своих соперников. По крайней мере, тех, кто их лучше. Им удобнее ревновать к неудачникам, оттеняя свое превосходство. Что ж, буду молчать и я. И, пожалуй, выйду с ним на террасу и выпью его безвкусный мохито. Всё равно мой Тавр рядом, он будет ждать, он дожждётся меня.

Ночью, услышав размеренное похрапывание Миноса, Пасифая вышла в гостиную. Тавр всё так же терпеливо стоял у стены, совсем как в их первую встречу. Сейчас главное ничего не говорить, подумала она, стиснув в губах едва не сорвавшиеся слова восторга. Теперь скорее, скорее прижаться к нему, укрыться в монументальности его фидиевских мускулов и там, не отрываясь от этого разгула молодости, силы и преданности, встретить ночь. Тавр почувствовал её желание и молча обнял её. Пасифая зажмурилась и увидела, как мимо пролетали кометы – те годы, которые ей только предстояло пройти. Их можно было рассмотреть до каждого дня, до каждой секунды. Впрочем, обычное деление времени в них не имело никакого значения: все их мгновения Пасифая увидела сразу, в одной вспышке, в одной-единственной искре. Они обещали быть полными безмятежного наслаждения, вечного лета и долгих прогулок вместе с Тавром по переполненным свежестью лугам, и Пасифая ощутила приступ нестерпимой будоражащей радости, едва не разорвавшей её вены. Испуганно она отстранилась от Тавра и открыла глаза. Он был здесь, над ней, по-прежнему немного в тумане и она, взяв его за руку, дрожа, вывела на террасу. Там, на плитах, лежала Луна, бежали тени и слезами счастья с неба катились падающие звёзды. Сад ликовал, не сдерживая больше движения скрывавшихся в нём тысяч жизней. Пели цикады и, казалось, кто-то ещё подпевал им. И там Пасифая и Тавр, наконец, отдались торжествующей ночи.

Утром Пасифая спрятала за шкаф их главную картину-загадку, собрала все книги с полок в картонные ящики и спустила их в подвал. В подвале ещё раньше исчезли её спицы и пряжа. Минос ничего не сказал ей. Наверное, он предпочитал не замечать того, что с ней происходило, решив дать время её причудам – самодовольный глупец, он всё ещё думал, что когда-нибудь всё станет как прежде. Но если бы он всё-таки спросил её об этом, Пасифая бы ответила, что теперь она ищет только простоты, длинного светлого коридора, в конце которого есть только спальня и только ночь. Ещё бы она сказала, что пустая полка лучше полки отягощённой чужими мыслями, а белая чистая стена смотрится намного изысканней, чем завешанная хроматическими надрывами.

Позже в тот день она сказала себе: «Я никого не должна терпеть. Я ни с чем не обязана мириться. И никто, никто и никогда не посмеет отобрать у меня моё счастье, моего Тавра». Эти три простых максимы укрепили её сердце. Они сделались занавесой между ней и миром вокруг. Теперь на всё, что могло произойти на дорогах обычного летнего дня, Пасифая смотрела как будто издалека, с лёгкой, почти незаметной усмешкой превосходства. Но как только ей передавались тайные конвульсии позднего утра, когда день словно боялся, не хотел переходить за свою середину, внутри неё поднимался спазм предчувствия угрозы, какой-нибудь мелочи, способной помешать её встрече с Тавром, – Минос отменял свои поездки и оставался дома, или над Островом сходились тучи, похожие на напозаввшие друг на друга глыбы грозовой сюиты, и, вконец отяжелев, били градом по крыше их дома и по излюбленным лугам Тавра, причиняя ему боль, – как только прикосновение Тавра оказывалось в сфере невозможного, все обычные вещи вокруг на мгновение становились невыносимо яркими, близкими, почти выпуклыми, наступавшими на неё. А потом, едва ли через секунду, всё темнело, каждый предмет забывал о своём месте и своих границах, растекался у неё перед глазами, всё вокруг становилось вязким, доисторическим потоком, где больше не было ни знакомых форм, ни жизни, ни смерти, а была только чужая страшная воля, направленная против неё и её



Тавра. И тогда её череп сжимался в кулаке бешенства. Лёгкий пеплос казался тяжелее всех саванов мира, ей многих сил стоило, чтобы не разорвать свои одежды и остаться обнажённой перед дикой правдой безумия. Её глазницы словно раздвигались под напором готовых разорваться от ярости глаз, все её мысли, все чувства и желания собирались в одну точку чтобы, объединившись в какую-то новую не имеющую ни имени, ни объяснения силу, противостоять попыткам различить её с Тавром. Поначалу в такие минуты она ещё умела притвориться и под каким-нибудь приемлемым для супругов предлогом выпроводить Миноса из дома – ему всё ещё ничего не хотелось замечать и, быть может, он по-прежнему верил, что всё ещё может закончиться для него совсем безболезненно. И не успевал смолкнуть мотор его машины, как они с Тавром набрасывались друг на друга, разгоряченные этой короткой преградой, напоминавшей им о том дне, когда они наслаждались последней стеной между ними. Но вскоре Пасифая поняла, сколь унижительны для неё эти хитрости, этот поиск уловок, отнимавший у неё многие минуты, какие она могла бы провести с Тавром. Всякий обман, решила она, это лазейка назад, маленькая возможность вернуться. А мне всё нужно делать быстрее и бесповоротнее, иначе, чем мои старания лучше лицемерия моего мужа? И тогда Пасифая перестала тратить время на условности.

Теперь, если к полудню Минос не сменял домашний хитон на профессиональные одежды преуспевающего несмотря ни на что торговца, она порывисто подходила к нему и, стараясь смотреть прямо в глаза, говорила: мне нужно, чтобы ты ушёл. Минос поднимал брови и, изобразив задумчивость или удивление, повторял один и тот же вопрос, оставляя ей место для компромисса: надеюсь, ненадолго? Но Пасифая не намерена была притуплять лезвия, какими всё больше обрастали их семейные будни, и отвечала: мне нужно побыть одной. До вечера. Первое время после этих слов Минос покорно собирался и уезжал, возвращаясь иногда даже позже обычного, и Тавр, запивая мохито своё недавнее буйство, усмехаясь, говорил ей: спасибо твоему муженьку, он у тебя незлобивый и не ревнивый. Но потом Минос всё чаще начинал упрямиться, за его обычным вопросом следовали смехотворные надуманные возражения – *сегодня мне нужно поработать дома, мне нечего делать в городе, завтра я должен отогнать машину на сервис и я не могу наматывать лишние километры, их и так уже слишком много, можно потерять гарантию* – о, тогда глаза Пасифаи расширялись, словно они уже видели поджидавший её ужас разлученности, и она тотчас отсекала его сопротивление: *Нет! Только не сегодня! Всё это бред, сейчас же оставь меня! Неужели тебе мало этих комнат, я могу уйти в сад, на террасу. Ты ничего не понимаешь!* – кричала Пасифая, – *ничего! Мне нужен весь дом, весь!* Сегодня я не могу быть здесь и всё время думать о том, что здесь есть кто-то ещё. А зачем же тебе вдруг понадобился целый дом? Я ведь знаю, что будет дальше. (Пасифая вздрагивала, но тут же вспоминала, что теперь она стоит по другую сторону страха). Я знаю: ты целый день только и будешь смотреть на стену напротив, как будто там кто-то есть! Уж лучше твоё дурацкое рукоделие! Хохот, только яростный смех мог быть ответом на эти слова. Идиот! Он всё ещё не хочет видеть моего Тавра! И Пасифая хохотала, подступая к нему всё ближе, хохотала громко, отталкивая его ненавистные теперь руки, вяло пытавшиеся её остановить. *Вон! Убирайся! Я буду, буду одна!* И Минос почти всегда отступал, хлопая дверью, резко рванувшись прочь на поджидавшем его автомобиле. Её хохот сменялся рыданиями – ими она осыпала уже подросшего Тавра – а дальше был снова смех и истошный глубинный крик наслаждения, когда он, наконец, обрушивался на неё.

Если угроза исходила не от Миноса, а от надвигавшейся на Остров бури, Пасифая молила Гекату раздвинуть тучи, дать граду просыпаться в море так, чтобы не пострадала ни одна травинка на лугах Тавра, чтобы он примчался к ней, как всегда, беспечальный и полный молодой ликующей силы. И часто ей удавалось добиться помощи от таинственной богини: тучи отступали, и Тавр приходил к ней под завывания бездомных собак.

Вероятно, не без вмешательства благосклонной к ним Гекаты, лето в том году перешло за установленные однажды границы и, обдавая Остров широкими волнами зноя, награждало Пасифаю и Тавра всё новыми солнечными полуднями, когда так приятно было скрыться в прохладе сада или же окончательно изнурить себя на раскалённых плитах, чтобы потом ещё желанней показался длинный мохито с целым пучком перемешанной со льдом мяты. Дни не становились короче, краски не набирали осенней яркости, оставаясь слегка неясными, подёрнутыми поднимавшейся с моря и камней города жаркой дымкой. Пасифая и Тавр не следили за календарём и верили, что август никуда не уйдёт от них, что за ним снова наступит июнь.

Быть может, всё это могло продолжаться ещё долго, если бы однажды на рассвете Пасифая не проснулась от журавлиного крика. Тысячелетиями Остров был приютом для многих птиц, короткой остановкой на пути из одного времени года в другое, и они все знали о неизбежности новой дороги. В этом крике была и обречённость, и страх перед тайной развёрсткого предрассветного неба, перед пространствами, которые им предстояло победить, и минорность прощания с Островом, и предостережение тем, кто

оставался внизу. Утренний, едва освободившийся от темноты воздух передал Пасифае их тревогу, как доносил до неё раньше песни звёзда и туманов. В их крике, столь невозможном в разгар лета, в дрожании их перьев она расслышала не простую угрозу, какая могла бы сорвать одну-другую встречу с Тавром. Она вдруг поняла, что её с таким трудом вылепленный новый мир, её новая жизнь могут разбиться. Просто упасть, как падает по чьей-то неловкости чёрная, полная хюссского вина амфора. Она бросилась было с молитвой к Гекате – *О змеволаяся, умудрённая сумерками владычица! Сделай так, чтобы в этом году и осень, и зима обошли стороной наш Остров, чтобы* – но очень скоро губы её сомкнулись, неспособные дать рождение ни одному слову: она почувствовала, что здесь богиня бессильна. А, быть может, этот крик на границе ночи и дня был её последним предупреждением. Так или иначе, но Пасифая поняла, что ничего не знает о том, как преодолеть эту опасность конца, как стать сильнее самой неизбежности. Ярость, с какой она набрасывалась последние дни на всякую преграду, любой ценой вырывая встречи с Тавром, отвоёвывая у завистливого мира часы освобождения, какой прок от неё теперь?

Пасифая выбежала на террасу и долго всматривалась в посветлевшее небо: зачем-то ей хотелось увидеть их безжалостный клин. Она знала, что край солнца уже выглянул из-за горизонта, и больше всего ей хотелось, чтобы оно остановилось, чтобы оно никогда не поднялось над морем, чтобы навсегда остаться между сумраком и светом и чтобы птицы никогда больше не возвращались на Остров. А когда солнце всё-таки взошло, все цвета вдруг стали холоднее и ярче, дымка зноя исчезла, и мир вокруг обозначился как-то твёрже, его формы сделались как будто ломкими, словно в них уже было что-то от природы льдинок, какими ненадолго зимой покрывались молчаливые озера в самой глубине Острова. Разбитая Пасифая опустилась на кровать в спальне: ей казалось, что она рассыпалась и теперь на простыню по очереди падают её колени, руки, груди, голова. Она не заметила проснувшегося и невыносимо бодрого Миноса, не услышала его глупое «доброе утро». Больше всего теперь ей хотелось спать, спать как можно дольше, так, чтобы открыв глаза, она бы снова почувствовала неопределенность белесого полуденного солнца.

Сны были колкими и прерывистыми: кольнув один раз, они откатывались, исчезали в зыбком круговращении, где пребывают все сны до своего рождения, чтобы через какое-то время вновь вырваться на поверхность, вновь ужалить Пасифаю. Почему-то ей снились её давние знакомые – люди, каких она не видела уже много лет и о которых она совсем не думала, но теперь они приходили к ней, похожие на демонов, словно это сама Геката посылала к ней своих слуг.

Когда Пасифая проснулась, было далеко за полдень, Минос, вероятно, усердствовал на пыльной агоре, а на веранде её уже давно поджидал Тавр. По дороге в гостиную она мельком взглянул в зеркало и впервые испугалась себя: тёмные пятна под глазами, всклокоченные волосы, заострившийся нос. Но она решила ничего не менять: «Зачем? Ведь даже такая, это всё равно я, и если Тавр прощает мне лёгкие морщины, то, несомненно, сможет не заметить и не расчёсанных волос», – подумала она. Чтобы, всё-таки как-то приукрасить себя, вместо дорогого белого пеплоса Пасифая набросила леопардовый, позабытый когда-то её темнокожей служанкой, и Тавр восторженно встретил её: «Почему ты никогда не надевала его раньше? Никогда бы не подумал, что мне доведется овладеть хищной кошкой», – шептал он, переворачивая её на живот, вжимаясь в её спину, пробивая новую дорогу к безграничности её тела, к неизвестному раньше наслаждению... Но даже сквозь эту последнюю радость, сквозь обрушившуюся на неё темноту, Пасифая поняла, что над Островом теперь дуют совсем другие ветры.

– Что это за наряд? – спросил вечером Минос. – Какая-то пестреющая несуразность. Он к лицу ну-мидийке. А ты в нём похожа на гетеру.

– А разве тебе не нравятся шляхи? – Пасифая ещё была полна семени Тавра и ей было все равно, она могла сказать и не такое. Она не боялась даже северного ветра, ударившего, наконец, в их стены. – Разве ты никогда не покупал себе рабынь на пару часов?

Несмотря на усталость, она искала с ним схватки – идеального дополнения к последней близости с Тавром. Это бы до конца натянуло её нервы, приблизив к стратосферному взрыву в её вселенной, за которым бы их всех поджидало очищение, но Минос снова отступил в спокойствие спальни, добавив только:

– Не забудь плащ, если будешь выходить завтра из дома. На Остров дуют холода. Поговаривают даже о первом снеге на следующей неделе.

«Пожалуй, он не мог придумать лучше способа, чем это напоминание, чтобы раздавить меня, чтобы отнять у меня то, что было всего несколько часов назад. Но нет, у тебя ничего не выйдет. Всё, теперь всё останется со мной», – решила Пасифая.

Вскоре, словно в изгнание, она отправилась вслед за ним в спальню, упала ничком на кровать. Ожидание сна в тот вечер не было долгим: Пасифая едва успела подумать о Тавре, о гениальности звуков,



сложивших его имя, как на неё навалилась ночь, похожая на спрятанную за шкаф картину. А ведь с неё всё началось – эта мысль на мгновение застыла где-то на границе между сознанием и непредсказуемостью неизрекаемого, на берегу сна, чтобы тотчас раствориться в беспмятстве.

Снежные тучи опередили все прогнозы и предсказания: ещё ночью они сдавили Остров. Утра не было – вместо него сразу наступили сумерки. Ветер не утих, но казалось, что бушевал он только на земле: на небе наступило полное опепенение. Границы между тучами не были различимы, всё было одной тёмной могильной плитой. Ни снег, ни дождь не просыпались тогда на Остров, и от этого ещё тягостнее, ещё неразрешимей был сумрак так и не родившегося дня.

Пасифая прижалась к стене, точно она могла укрыться от ненастья, от умершего лета, от своего поражения.

«Тавр, – прошептала она без веры в его возвращение. – Тавр», повторила она.

Подниматься с постели, исполнять обычные ежедневные ритуалы теперь не имело никакого смысла, и она не знала, сколько дней прошло вот так, лицом к стене. Мирлобивый Минос не мешал ей и в этом, пока однажды, вероятно, устав от её преобразования, не сказал:

– Тебе нужно встать, умыться и выйти на улицу. Хотя бы на террасу.

Собравшись с силами, она ответила:

– Не думаю, что сегодня мне так необходимо проходить всё это снова. Я просто хочу быть здесь.

– Почему?

Пасифая отвернулась к стене и, подавив рыдания, сказала:

– Зыбь тополей. Здесь ничто не мешает чувствовать её. Мне ничего не надо видеть. Я и так всё о ней знаю. Здесь я слышу испуг каждого листка и их дрожь созвучна пульсации моих вен.

– Листья давно облетели и теперь тополя только скрипят под ударами Борея.

«Облетели они для тебя. Для меня они по-прежнему там, они живы, и мне их увидеть легче, чем докучливые, изъеденные язвами бесполезных слов твои губы», – подумала Пасифая и молча закрыла глаза.

Слова. Не имеет никакого смысла соединять их друг с другом в цепочки предложений, чтобы потом связать и эти последовательности предопределённостей, где всякая новизна иллюзорна. Что-что, но слова уж точно не вернут мне свободы. Все они сейчас будут подсказаны только новым предрассудком. Абсолютно бесполезное занятие. Нужно говорить так, чтобы одно-единственное слово стало целым романом, длинной повестью о моём прозрении, моей радости и моей потери. Пожалуй, и слова будет слишком много. Нужно отыскать только один звук – вздох или выкрик, который всё сумеет рассказать. Нужно вернуться в упоительную эпоху междометий. Ведь нам хватало их в детстве, зачем теперь эти вербальные лабиринты, парадоксы рифм и пируэты афоризмов? Одного звука, одного тона, одной ноты достаточно, чтобы описать весь этот мир, все его обманы и надежды. Только один прыжок в сферу дословесного. Моему старому знакомому, поглотителю наших денег, этому художнику ведь не нужны были фигуры. Вся его картина – это одно сплошное междометие.

Пасифае казалось, что она успела передумать обо всем этом прежде, чем зажмуриться и закричать, оглохнуть от своего крика. Но это был всего лишь крик крепко спавшего человека, и Минос услышал только мычание, впрочем, немного громче её прежних полусонных всхлипываний и стенаний.

Больше Пасифая ничего не говорила и только по вечерам, когда день заканчивался новым разочарованием, повторяла своё сдавленное долгое «мооом-мооом».

Поначалу Минос приводил к ней знаменитых на Острове врачей, но прислушавшись к одному из них, оставил попытки излечить её. По крайней мере, эти дни она счастлива. И какая разница из-за чего. То, что счастье ей принесли её галлюцинации, её сны, ничего не меняет, сказал ему мудрец-эскулап.

Заговорить в доме Миноса ей довелось лишь ещё раз, когда однажды у изножья кровати в предутреннем тумане она увидела продавшего им картину художника. Теперь он был лыс, улыбочив, и стакан «бурбона» сменил на изрядный скифос вина.

– Это ты? Ты? – вскрикнула она.

Художник улыбнулся.

– Как хорошо, что ты здесь. Когда-то хотела навсегда избавиться от тебя и от твоего детища. А потом поняла: всё произошло только благодаря ей.

– Да, тебе было хорошо с ней. Но это был только камень перед входом в пещеру.

– Теперь я это знаю.

Художник кивнул:

– Может быть, ещё одну?

– Конечно, – сказала Пасифая. – Какой только теперь она будет?

Чтобы скрыть свою задумчивость, гость слегка отклонился назад, вытянул ноги, и его колени на мгновение выступили из тумана. Потом он сказал:

– Всё, чему научило меня моё искусство, это молчание. Поэтому новая картина, которую я напишу для тебя, будет совсем простая. Она поможет тебе. Просто всмотришься в неё.

Пасифая кивнула и через несколько минут перед ней на стене появилась терракотовая спираль.

– Загляни, а если осмелишься, войди в неё. Поверь мне: там ты снова станешь другой. Там ты не будешь одна.

Она встрепенулась:

– Там я встречу Тавра?

Художник лукаво покачал головой и отпил из скифоса.

– Это уж как ты пожелаешь. Я знать об этом ничего не могу.

С этими словами он вдруг как-то сжался, затуманился ещё больше и отступил от Пасифаи. Впрочем, теперь он был ей не нужен.

Пасифае понадобилось совсем немного, чтобы сначала её глаза, а потом и руки соединились с рисунком, на неё повеяло тяжёлым воздухом подземелья, а босые ступни почувствовали порог лабиринта.

Вернувшись утром с затянувшихся переговоров, среди смятения постели Минос не смог отыскать Пасифаю. Она исчезла. Все окна были закрыты, двери заперты изнутри, а на стене в спальне вокруг древнего, похожего на кроссворд узора солнце раскрыло целый букет пионов – тучи, наконец, отступили от Острова.

II

– Ты принесла деньги? – Тавр говорил взволнованным шёпотом, заговорщически склонившись над ней, озираясь по сторонам. «Даже испуг твой мужественен и прекрасен, как изгиб молодого тополя в летнюю бурю», – подумала Пасифая и поспешила ответить:

– Все, какие у него были. Свои я отдала тебе ещё раньше. Представляю, как он удивится, когда увидит завтра пустыми сейф и свои счета. Наверное, у него есть ещё деньги, но отыскать их я не успела. Зато вот моё ожерелье.

Тавр кивнул и отвернулся к сырой стене тоннеля.

– Мои луга мертвы. Холода убили их. Нам нужно найти новые места.

– Конечно, милый. Мы найдём их. У тебя всё получится. Нужно только поскорее выбраться отсюда. Никогда бы не подумала, что встретимся мы в этой клоаке. Скорее к нашей Луне.

Тавр сжался, едва слышно промычал, что жить можно и в таком месте, по крайней мере, здесь не видно туч, захвативших Остров, не слышно ледяного ветра, нагнавшего смерть на его луга, и побрёл к выходу.

«Сейчас ему трудно. Трудно по-настоящему. Возможно, впервые в жизни. Сейчас всё ложится на меня. Никаких капризов и никакого страха», – сказала себе Пасифая. А ведь он прав: какое-то время пожить можно и здесь, под землёй, среди этих загадочных начертаний на стенах. Переждать пока не успокоятся наши враги... Кстати, я и не заметила, как ко мне вернулись слова...

Тоннель был долгим, едва освещённым редкими светильниками и кострами – его обитатели не любили огня и, если бы не холод и не сырость, они, выбравшие подземелье вместо волнения неба, исчезли бы здесь без света, навсегда отдавшись бестрепетности темноты и изгнания.

– Не бойся. Пока я не собираюсь здесь задерживаться, – сказал Тавр, махнув рукой вперёд, где в полусотне шагов обрывалось мерцание стен и темнело крохотное пятно: ночное небо было совсем близко.

Из лабиринта они вышли на берег и сразу же опустились на холодный песок. После стольких дней разлуки Пасифае хотелось любви, но Тавр протянул ей из холщевой сумки глиняный ритон – он был как капля смолы на едва бледневшем песке.

– Вот, выпей.

– Что это?

– Это древний отвар. Такой пили мои предки, когда им бывало трудно.

Пасифая никогда не видела Тавра таким сосредоточенным. Позабыв о ней, о близости её лона, в ночи над морем он изо всех сил старался рассмотреть горизонт, не освещённый огнями ни одной триеры, словно там, в желанной твёрдости его линии скрывалось спасение. Что ж, сейчас я должна быть с ним.



Отпив из ритона, она почувствовала что-то терпкое и тягучее. Глоток её был длинным, быть может, слишком длинным для первого раза. Но ни земля, ни море не покачнулись перед её широко раскрытыми глазами, а мириады пронесившихся мимо миров, казалось, замерли, достигнув, наконец, цели. Её желание скоро прошло. Ей стало тепло и теперь единственное, что ей хотелось – это вот так, сидя на песке вместе с Тавром, смотреть на море и ждать рассвета.

– Ещё не всё пропало, – сказал Тавр. – Я встречался с другом детства. Он рассказал мне о земле по ту сторону гор. За перевалом есть низина. Там мало кому известные луга. Почти нетронутые. Ими владеет горстка крестьян. Они только и мечтают, как убраться оттуда. Немного денег – и все горные травы наши. Зима не доходит до тех мест: она не умеет перебраться через вершины. Там всё живет по своим законам, законам весны и лета. Никаких ветров, туч, иногда только туманы. За ними опять начинаются горы. Поэтому с побережья туда не доходит ни одной бури. А дождей там бывает столько, что луга зеленеют даже зимой. Твой царёк до них пока не добрался. Нам нужно его опередить.

Наконец, ночь треснула и небо, едва побледнев, отделилось от моря. Пасифая сделала ещё один долгий глоток, и к ней вернулось позабытое успокоение, а за ним пришла и уверенность в том, что у них всё ещё получится, и что настоящая жизнь начинается только теперь, когда ей удалось уйти от Миноса. Может быть, поэтому она нисколько не опечалилась, когда перед восходом солнца Тавр сказал, что им нужно вернуться в подземелье.

Вечером он показал ей луга в глубине Острова. Они вышли к ним из тоннеля, потягивая загадочный отвар, отвоевывая у бесприютности ушедшее от них ощущение совершенства каждой секунды их близости. Земли, о которых говорил Тавр, показались ей прекрасными, и на следующее утро Пасифая, выпив отвара и набросив плащ поверх леопардового пеплоса – единственной прихваченной из дому одежды, – поспешила к давней подруге.

Она много дней не бывала в городе и теперь заново знакомилась с его улицами и улыбалась жёлтым листьям акаций под ногами – ветер гнал их по тёмно-сизым булыжникам, похожим на осеннее море.

Пасифая едва не взлетела на один из холмов, где стоял дом её подруги. Однажды они приезжали сюда вместе с Миносом. Тогда за тонированными окнами его автомобиля дорога к нему показалась тягостной и безвкусной – теперь же она радостно обнимала ступнями её камни. Но у двери дома на неё налетел страх, сделалось зябко, захотелось отвара и ей пришлось искать силы где-то в самых недоступных пещерах своей памяти, в воспоминаниях о своём счастье, чтобы просто нажать на кнопку звонка.

Подруга расцеловала её, помогла снять плащ, взяв за руку, провела в гостиную, и Пасифая вновь почувствовала уверенность, не заметив её неловкую улыбку и скрытое недоумение.

– Я слышала, что Минос ищет тебя и много страдает, – сказала она, протягивая только что сваренный кофе.

– Думаю, это преувеличение. У него есть талант проходить всё слишком быстро. Скорее всего, он уже успел пробежать и это и теперь гоняется за новыми сделками.

Подруга сдержанно улыбнулась:

– Счастье – это отсутствие боли, не так ли? В этом его нельзя винить.

– Я не виню. Просто без него я научилась видеть и чувствовать каждый клочок этого мира. С ним всё проходило мимо.

«Сейчас ты отвернёшься к кофейнику, чтобы скрыть своё несогласие. Только не спорить, мне нельзя с тобой спорить. Да я и не хочу этого», – подумала Пасифая.

– Сегодня у тебя такой забавный наряд, – сказала подруга, разглядывая её пеплос.

– Он нравится моему Тавру.

– А кто он, твой Тавр?

«Кто он? Как же рассказать тебе об этом? А ведь действительно, кто он? Откуда? Кто, кто он?» – ударило вдруг ей в голову, но новая чашка кофе отбросила эти вопросы и помогла собраться.

– Когда-нибудь я вас познакомлю, – ответила Пасифая. – Пока скажу только, что он мужественен и прекрасен.

– Этого вполне достаточно, правда? – улыбнулась подруга.

«Я могу опять растеряться, поэтому надо спешить. Не нужно восторгов, я должна быть такой же, как она».

– Во всяком случае, живём мы хорошо. Нам интересно вдвоём.

– А где ваш дом? – не отступала подруга.

«Какая же ты тварь! Или, может быть, она всё знает о подземелье и смеётся надо мной?».

– Скоро я непременно приглашу тебя к нам. Пока мы ещё не успели обжиться.



Отпив кофе, Пасифая продолжала:

– Дом невелик, но очень уютен. Но на доме мы не думаем останавливаться. У меня есть идея. Бизнес-проект. Мне нужен один талант, чтобы купить землю. Я просто решила начать своё дело. Я хочу быть независимой. Я много наслушалась, пока жила с Миносом. И я знаю, как проворачивать сделки. Я нашла земли, о которых пока в городе никто не знает. Это удивительные места. Ты представить не можешь, какое там небо. Такое небо, наверное, бывает только над Океаном. Нужно совсем немного, чтобы записать их за собой, построить какую-нибудь лачугу, а дальше ждать. Главное – дожидаться лета. Цена вырастет в семь, в двенадцать раз. Я всё подсчитала: её не нужно будет продавать, а просто сдать в аренду девелоперам. За какой-нибудь год с их платы я соберу деньги на новый проект. Если ты не хочешь просто ссудить мне эти деньги, я готова взять тебя в партнеры. Оформим всё официально, ты будешь совладельцем новых земель. Через год мы будем свободны и богаты. И наши мужья будут завидовать нам.

Даже поднявшись из-за моря, тучи всегда сначала уходили к предгорьям, а только потом спускались к берегу, и холм, на котором стоял дом её подруги, первым в городе встречался с ними. Вот и сейчас, внизу, из-за слегка похолодевшего, но по-прежнему сильного солнца стены набережной до боли полнятся охрой над сверкающей синевой. Для них же здесь уже наступила эпоха пасмурности и сдавленной тревоги. А ведь утро начиналось так ярко.

– Ещё кофе?

Пасифая кивнула.

– Всё, что я могу, это десять драхм. И, разумеется, от них я не жду никакой прибыли.

Пасифая хотела сказать, что она просила не милостыни, а предлагала выгодное размещение капиталов, но вспомнила, что в её положении такие слова были бы совсем неуместны, и приняла деньги.

Эти драхмы были единственными, какие удалось ей собрать – больше ей никто ничего не дал, нервно прикрывшись заборами из объяснений и извинений. Она думала, что Тавр выпадёт в бешенство, но вечером на берегу смеявшегося с тучами моря он выхватил у неё деньги.

– Ну, хорошо, есть с чего начать, – пробормотал он и исчез в подземелье. Она сделала было несколько шагов за ним, но тотчас усталая опустилась у порога, прижалась к стене. В глубине тоннеля мелькал огонь, и, наверное, там было теплее и там ничего не знали о надвигавшемся ливне, но Пасифая успела слишком соскучиться по Острову, по его ночному смятению, и поэтому ночь она решила провести здесь, так, чтобы ей была слышна каждая нота непогоды, чтобы и до её лица долетели дождевики – ведь они были из совсем другого мира и чего только им не довелось повидать, пока они добрались до этой земли.

Тавр вернулся перед рассветом.

– Не замёрзла? Идём. Деньги я нашёл здесь, под землей. Оказывается, их здесь много. Нужно только уметь взять.

Пасифая хотела узнать подробности, но предпочла добрый глоток отвара всяким расспросам.

Они долго пробирались по тоннелю, переступая через ворчливых полусонных бродяг, через догоревшие костры и объедки бедности, и эти остатки ночи и чужой неискоренимой нищеты больше не пугали её: она знала, что очень скоро они с Тавром навсегда уйдут и отсюда.

Тоннель проходил через весь Остров, от берега до берега. Пасифая ничего не знала о нём раньше и даже не представляла, что где-то рядом, под их с Миносом домом может дотлевать чья-то жизнь.

– Здесь есть бедняги, у которых твой муженёк вытянул дома и земли. Теперь они ушли под землю, – в первую ночь сказал ей Тавр, и от этих слов начавшие было обретать для неё реальность жители подземелья, вновь превратились в бестелесные чужие сны, какие иногда случайно касаются нашего воображения. Наверное, Пасифая до конца так и не смогла поверить в их существование.

Из тоннеля было много выходов, но его обитатели почти не выбирались наверх: под землёй было всё необходимое для того, чтобы избыть не одну тысячу ночей и дней. Тавр же, это дитя зелёных просторов, научился безошибочно ориентироваться в нём, и Пасифая только крепче сжала его запястье и подумала, что вскоре их жизнь снова должна была измениться. После нескольких часов пути он кивнул вправо в сторону узкого ответвления, переполненного серым светом.

Они вышли на край широкого, не тронутого осенью луга, как тысячи лет назад из-под земли выходили их предки, чтобы принять подарок богов – мир под небом.

«Как всё-таки хорошо, когда не нужно бороться за каждый глоток воздуха, как это было внизу», – подумала Пасифая. Наверное, об этом подумал и Тавр: несколько минут они ничего не говорили друг другу, а только вдыхали обрушившиеся вдруг на них десятки почти позабытых запахов. Потом, всё так же молча, Тавр повернул к прогнувшемуся дому, словно триера, рассекавшего океан луга.



Старик ждал их в тени его стен. У него не хватило терпения досчитать принесённые деньги, и он безразлично бросил их в мешок за плечами, как будто эта земля не была единственным, чем он владел в своей жизни. К лугу он так ни разу не обернулся.

– Я простился с ним уже давно, – сказал он ради объяснения своей отстранённости. Потом добавил:

– Здесь мне было хорошо. С детства я пас овец, смотрел на небо и писал песни – потом они разошлись по всему Острову. Так прошло шестьдесят лет. Я бы не продавал эту землю. Это только ради детей. Я хочу, чтобы они уехали с Острова. Если бы всё оставалось, как раньше, они могли бы здесь жить. ... А вы? Вы ещё молоды. Вы бы тоже могли уехать отсюда.

«Он одного цвета с выжженным бурьяном. Наверное, из года в год он принимал на себя весь жар летнего солнца, не позволяя ему коснуться луга. Поэтому трава здесь такая же сочная и зелёная, как в первый месяц своей жизни. Да он просто герой, наш маленький поэт», – пронеслось в голове у Пасифая, и она тут же о нём позабыла.

Когда старик ушёл, вслед за ним поспешило и солнце, словно оно не хотело отпускать его холмистую спину, худые плечи, сплетения жил на открытых руках. Пасифая и Тавр остановились перед доставшейся им землёй. Ветер сумерек нагонял на луг тени и катил на восток быстрые зелёные волны, и там, у другого края, их цвет медленно исчезал, становился неопределённым, таким же, как и цвет принявших ночь гор.

– А теперь просто беги, – сказал Тавр и, скинув хитон, бросился в траву.

«Он прав: ведь это как море. В него нужно просто войти, – сказала себе Пасифая. Её вдруг обжёг леопардовый пепелос. – Скорее, скорее, прочь. Правда впереди, за ним, за моим Тавром», – застучало у неё в висках и, обнажённая, смеясь, она врзалась в бушующий луг.

Травы ответили ей радостным звоном, и она побежала за Тавром. К ней вернулось то чувство, какое однажды давным-давно она испытала на берегу на рассвете. Только теперь оно было намного сильнее. Тогда, в последние минуты безмолвия, когда мир замер перед новым восходом, она решила нарушить его тотальную неподвижность. Она вошла в море, поплыла к знакомой отмели и там, стоя по горло в воде, она увидела тонкий край солнца – пока ещё совсем бледное и словно живое, оно выбиралось из-за горизонта, упорно пробивая дорогу к своему скорому триумфу. И Пасифая вдруг почувствовала, как её имя и её ближайшее прошлое оставляют её и как подступают к ней её предки. Сквозь перехлест мелкой торопливой зыби она услышала их сдержанное дыхание. Они были повсюду, они ждали её. И тогда Пасифая поняла: она одна из них, она с ними, а совсем не с теми, кто окружал её в обычные дни.

Теперь всё повторилось. Не помня себя, они носились по луку, отпугивая надвигающуюся темноту визгом, бляением и мычанием. Время понеслось вспять, и когда пришла ночь, они отступили на тысячи лет назад, вернувшись в эпоху весёлых безгрешных идолов. Взошла Луна и всё вокруг сделалось похожим на фосфоресцирующие, полные водорослей волны. Обессиленная, Пасифая упала где-то в самой глубине их нового моря, и Тавр долго искал её, пока голос травы, свет Луны и дружественный крик ночной птицы не привели его к её лону. «В эту ночь сама природа хочет нашего соединения. Теперь всё по-настоящему. И всё самое главное должно произойти здесь, так, как он мечтал», – думала Пасифая, с радостью принимая его жаркое семя.

Прошла неделя, а быть может, и много меньше или много больше: Пасифая никогда не смогла бы сказать наверняка. Целыми днями они играли в траве, ели брынзу и хлеб, запивая вином, – всё это щедро оставил прежний хозяин – и нисколько не следили за сменой дня и ночи. Чередование времени протекало для них где-то в стороне, точно рядом кто-то за их спинами на огромном экране показывал кино о том, как день перетекает в ночь, а ночь в день, а они лишь изредка и случайно могли обернуться и равнодушно взглянуть на какой-нибудь обрывок этой истории. Для них ничто не менялось вокруг. И только Луна – в первую ночь она была как медный дихалк – превратилась в залитый вином клочок белого холста.

Но потом, однажды перед рассветом Пасифая вновь испытала тревогу, как это было, когда, много жизней назад, её разбудили журавли. На этот раз опасность пришла вместе с упругим морским бризом, всё-таки пробившимся к горным пастбищам. С собой он не принёс напоминания о море: ему пришлось долго плутать по застывшим в ожидании зимы улицам города, и в его настойчивых потоках Пасифая расслышала запах облетевшей листвы и ранний хруст крохотных льдинок – они так и норовили обжечь её лицо, выпросить у неё одну-другую слезинку. Ветер притих с восходом солнца, но Пасифая весь день была беспокойна и внимательна к каждому волнению в воздухе, к каждому движению луга, к каждой, даже самой незначительной перемене цвета окружавших их гор – повсюду она предчувствовала измену. И она не ошиблась: ночью с гор, откуда ещё совсем недавно приходили тёплые туманы, на них наполнили

заморозки. Она узнала об этом по особому блеску звёзд, по тому, как вздрагивал во сне Тавр и как вдруг замер их луг. Но Пасифая успела привыкнуть к страху, к ожиданию конца их счастья, и ледяная чернота ночного неба не испугала её.

Морозы не отступили, и едва ли за два дня трава пожелтела, сжалась и, надломившись, потянулась к земле. Её умирание было слишком быстрым, так, что Тавр долго не мог опомниться, а только стоял перед уходящим от него лугом и что-то мычал, переминаясь с ноги на ногу. Когда же, вслед за морозами, небо сделалось болезненно серым, словно лицо, измученное чахоткой, и покрылось сизыми пятнами, Тавр на чердаке отыскал старый овчинный полушубок и впервые взглянул в сторону чёрного входа в тоннель, затаившегося там, где кончался их мир и начинались низкорослые горы.

– Весна придёт, – поймав его взгляд, сказала Пасифая. – В доме хватит зерна, вина и сыра, чтобы дожидаться нового тепла. Времени, когда наш луг поднимется снова.

Тавр покачал головой.

– Там, под землёй, мне говорили, что есть ещё одно место, – сказал он. – Место, куда уж точно не доберется зима. А здесь...

«А здесь с минуты на минуту с этого лживого неба посыплется колючая крупа», – хотела добавить Пасифая. Она знала, что его теперь не остановить.

– Место это рядом.

Пасифая кивнула:

– Домой вернуться я не могу. Теперь там тоже всё по-другому. Те же силы, что отобрали у нас луга, сделали невозможным и моё возвращение. Что ж, я буду ждать тебя. Мне не привыкать.

– Я вернусь скоро, – сказал Тавр. – Место это я найду быстро.

Наверное, шелест мёрзлой травы, провожавшей Тавра, был похож на чечётку скелетов, исполнявших свою злополучную пляску: когда-то давно Пасифае было так просто её представить. Но раньше это было только воображение – теперь же извечный танец мёртвых вошёл и в её дни.

Она была слишком счастлива на этом затерянном луге. Счастлива так, что когда всё кончилось и Тавр исчез в темноте подземелья, она не почувствовала грусти и не подумала о сопротивлении. В конце концов, от него нельзя требовать больше: вероятно, это всё, на что он способен. Он вырос среди зелёных равнин, но почему-то слишком быстро полюбил темноту тоннеля. Может быть, сейчас лучше всего ему быть там. А поиск нового луга – это только предлог, в который, впрочем, пока он сам верит. Для меня же остаётся только покорность. Покорность – теперь наступает её время, решила она и зажгла свечу в первый вечер своего одиночества.

Утро пришло новыми холодами и новыми тучами, до времени хранившими в себе снег и, как грифы, застывшими над умершим лугом.

Днём она случайно увидела пепел, в котором ушла из дома, и не поверила, что всего несколько дней назад могла носить его. Сжавшийся, жалкий комочек, словно исхудавший котёнок, лежал на старом кресле.

Пасифая готовилась к пустынному вечеру, где будут только она и очередная свеча из запасов пастуха-поэта, но как только она зажгла её, по грубо окрашенной стене напротив её кровати снизу вверх, точно титры, побежали строчки. Первые из них были совсем мелкими – или только казались ей такими – и ей было трудно читать их. После долгого отступничества она даже не узнавала многие буквы, но вскоре Пасифая привыкла и, разобрав несколько фраз, поняла: к ней возвращались её книги. Все они, любимые ею когда-то, были снова с ней, медленно передвигаясь по стене её нового дома. И теперь чтобы остаться с ней навсегда, им не нужны были ни пергаменты, ни тяжёлые переплёты, ни умышленные колоннады полок – маленьких тюремных камер для рвавшихся на свободу стихов и древних откровений. *То, что было, – не есть; не есть и то, что в грядущем. Вот и погасло Рожденье, и стала неслышима Гибель,* – читала она полуслёпотом дрожащими губами.

В ту ночь Пасифая поняла, что она беременна и что больше никогда не будет одна.

А над плато всё собирались тучи. После каждой ночи их становилось на одну больше, словно кто-то из богов ненароком ронял смоченный в чернилах клочок ваты и этот обрывок ночи навсегда оставался над лугом. Жизнь солнца давно проходила где-то за кулисами, так, что от него Пасифае доставались только тусклые блики, но она с радостью принимала и эту сдержанность света и ждала вечера, когда цвета сделаются ещё неразделимее, а по стене в крохотной спальне побегут её книги. И тогда среди их бесконечности она отыщет стихи одного далёкого страдальца. *Как спешат,* повторит она за ним и, остановившись на мгновение, бережно пойдёт дальше, по выплывающим из небытия строчкам:



Как спешат волной стигийской годы,
 как смертельны эти небеса,
 и из царства, где сольются воды,
 к сердцу протянулась полоса.
 Падают леса с померкших склонов
 расколовшихся холмов,
 пористого мрамора колонны
 рушатся, как львы, без слез и слов,
 и утёс любовно принимает
 их на древнюю седую грудь,
 мох забвенья укрывает
 их к распаду путь, —
 всё преклонно, встоду отречение,
 потайной метаморфозы лик,
 и к истоку смутного свеченья
 взор приник...
 В каждом знаке — бренности печать.
 Поцелуй иль взгляд один желанный
 нас погонит в ночь, в чужие страны,
 под чужие звёзды — чтоб догнать! —
 но за ними — чёрные сполохи,
 и грозней маячит полоса,
 бездны мрака, солнца диадохи,
 как смертельны эти небеса...²

Как и в первый раз, художник появился перед рассветом. Когда однажды под утро снег наконец полетел над бурой, обледеневшей и по-прежнему шумной травой, Пасифая вышла в кухню согреть себе молока и за столом увидела сочинителя своей судьбы, присевшего на край табурета. Перед ним стоял кувшин с вином и лежал хлеб, похожий на осколок лавы. Она улыбнулась ему.

— Честно говоря, я думал, что больше не приду к тебе. Это наша третья встреча, а я терпеть не люблю банальность троекратного повтора. Я навсегда оставил Остров, и теперь я далеко. Больше я ничего не пишу и ничего не изобретаю. Я только хочу сберечь то, что уже есть. Сохранение старого мира — пожалуй, задача более благородная и даже более божественная, чем сотворение нового. Пока ещё не всё так плохо вокруг и нет необходимости в преумножении мирозданий.

— Ты знаешь, я теперь не одна. У меня скоро будет ребёнок.

Художник едва прикоснулся к кувшину. Со времени их последней встречи он сделался совсем прозрачным, и теперь ему нужно было совсем немного вина и всего несколько крошек хлеба, чтобы поддерживать силы.

— Тебе я уже ничем помочь не смогу. Но твой сын... Он будет слишком другим. Непонятый, неприятный никем царевич. И ему не вынести этого мира. Для него я построю дом. Настоящий дом принца. Не то, что те подвалы, в которых вы прятались.

— Зачем?

— Затем, что для многих, слишком многих на этом Острове он будет казаться чудовищем.

— Вот как? А я-то думала, что чудовищ порождают наши воспоминания.

Художник покачал головой.

— Нет, все уродства мира — это плоды воображения наших ближних, — сказал он. — Помни об этом и не предавай им своего сына.

Он отвернулся к первому проблеску рассвета за окном и, помолчав, добавил:

— А теперь прощай. До следующих снов, Пасифая.

¹ Бенн Г. Гимны (пер. А. Карельского)

² Бенн Г. Как спешат... (пер. А. Карельского)

FIDELITAS

Дождь в декабре она всегда воспринимала как оскорбление, как вызов, брошенный вдруг впавшими в депрессию облаками. Порождение высшей небесной тоски, он не мог принести ничего, кроме отчаяния. Дождь, впрочем, как и солнце, как и посланный морем ветер, как и напоздавший на берег туман, подсказывал только один путь, подталкивал только к одной двери. Дождь, дождь, ледяной декабрьский дождь не оставлял ей выбора.

Она налила мартини, но тотчас выплеснула его на пол. На пол она стряхнула и пепел догоревшей сигареты. Теперь ей было всё равно: убирать эту комнату в следующий раз будет кто-то другой.

Своё решение она не выстраивала одинокими ночами, когда он был где-то в одной из своих бесчисленных поездок, не прятала в углах своей памяти, когда он возвращался, и в их доме наступали дни праздников, не подбиралась к нему ни в смерче опьянения, в ночи, переполненные калейдоскопом напитков, ссор и разбитых бокалов, ни по утрам, впивавшихся в неё клешнями похмелья. Просто однажды она решила, что здесь ей больше нечего делать и что она должна избавиться от бесконечности повторений, от тягостного постоянства её дней, от неизменности их уклада. Обычные обряды утреннего туалета, приготовления кофе, незамысловатого обмена с ним фразами сделались для неё невыносимыми. Смерть показала ей единственной возможностью выйти к чему-то новому, открыть для себя иные места. Переход мог быть болезненным и страшным, но он должен был длиться не более нескольких мгновений, а дальше её ждала свобода. Всё равно что молниеносный укол и раскинувшийся за ним океан избавления. Необходимая короткая боль как плата за целую бездну блаженства.

Шёлковый шнурок достался ей из бабушкиного гардероба. Загадочный аксессуар давно упешших модниц – она ни за что не смогла бы догадаться о его назначении в нарядах прошлого века. Но он был крепок и приятен на ощупь и, несомненно, должен был ей помочь. Разобрав на кухне гипсокартон, под самым потолком она отыскала трубу: это было надёжнее, чем хрестоматийные крюки и гигантские до- исторические люстры неудачливых самоубийц. Петля быстро и мягко обхватила её шею, словно где-то глубоко в шнурке сидел инстинкт убийцы и все годы своей жизни в пропахших нафталином шкафах он только и мечтал об этом мгновенье. Она сразу же почувствовала свою связь с ним и поняла: ему она могла довериться. Она не стала ждать, пытаться ощутить значимость последней минуты. Ожидание всегда оставляло шанс, возможность сомнения, но она ничего этого не хотела для себя, и поэтому тотчас, убедившись в том, что шнурок к трубе привязан крепко, оттолкнула стул. Мягкость петли вдруг куда-то исчезла, в её шею врезалась боль, она попыталась закричать и только захрипела, в нос ударил густой добротный запах мочи, но подоспевшее удушье было нежным, пьянящим, а невозможность вдоха даже развеселила её. Она словно играла с кем-то и, чтобы победить, ей нужно было ещё совсем немного про- держаться без воздуха...

Ожидание... Они знали, когда отходит автобус, но из-за врождённой мнительности, страха перед возможными неудобствами и детского, неукротимого нетерпения снова и снова проверяли время отправления на своих билетах. Часы тянулись, казалось, стрелка и вовсе не доберётся до вершины циферблата, они ничем не могли занять себя и в который раз пересматривали чемоданы и утренние газеты. Потом вдруг одно-другое нечаянное прикосновение, и тотчас налетевшее, совсем как в прошлые годы, неудобное и неуместное желание. Неубранная гостиничная кровать снова оказалась единственным спасением от жмивавшихся всё крепче тисков однообразия, и они снова, как и десятки раз прежде, едва не опоздали на рейс.

Через два часа они были в их городе. Им нужно было ехать дальше: в обед следующего дня он должен был встретиться с новым клиентом. Он забрал из сервиса машину и, не заезжая домой, они опять вышли на трассу.

В тот день всё было, как бывало раньше, когда они только встретили друг друга, и он ничего не знал о её болезни.

Солнце садилось. Степь недавно впитала в себя последний снег, и теперь дыхание её было глубоким и влажным. На западе переполненное солнцем небо стремилось к земле, и, несмотря на чистоту и резкость красок, горизонта не было видно. В машине играл магнитофон, и монгольско-перуанские напевы стелились над багровыми равнинами.

К вечеру они остановились в гостинице на въезде в небольшой город. Это была новая гостиница, с жёлтыми стенами и синей крышей. Вокруг неё продолжалось строительство – счастливый владелец участка спешил застроить его до того, как петля инфляции затянется ещё туже и местные власти обложат его новой мздой. Повсюду громоздились горки кирпичей, было пыльно, и только подъезд был расчищен. Очень скоро и этот клочок степи грозил оцетиниться ещё двумя-тремя корпусами с сауной и двухэтажным ночным клубом. Наверное, работая над проектом, архитектор сначала вдохновлялся мотелями, которые видел где-нибудь в Баварии или на берегах Дуная. Но потом вдруг вмешался степной



ветер, её формы поглубели, и она стала похожей на дома, которые издавна выстраивали здесь простор и бесприютность. Ветер снёс выгуклые, обнесённые фигурными решетками балконы, аккуратные и пёстрые маркизы над окнами первого этажа, сцепления арок и безмятежность пилостров. Так и выросла у дороги гостиница-метис, незаконченное подражание европейским сестрам. Об этом он думал, когда они оставили машину у входа и, не забывая вещей и не заказывая номер, вошли в пустой зал ресторана.

Он знал, что сегодня она не выдержит. Он очень быстро научился угадывать в ней приближение запоя. Сначала всё казалось безобидным: лёгкое раздражение и совсем слабое желание выпить, всего чуть-чуть, милый. Мне просто очень нравится это место. Давай останемся здесь. Стаканчик чего-нибудь лёгкого, какой-нибудь аперитив. Поедем потом. К тому же, я хочу есть. Чем это не место для ужина? Бессмысленный вопрос, на который ему нечего ответить. Ужин теперь неотвратим, а за ним — истерика, разбитые бокалы и полное беспамятство.

На втором джин-тонике ему всё труднее становилось понимать её:

— Милый, сегодня просто маленький праздник. Небольшое изменение в нашем расписании. Всё чуть-чуть пойдёт не по плану.

— Ты знаешь, как важна для меня завтрашняя встреча.

Ему сделалось неловко от заурядности этих слов.

— Завтра у тебя всё пройдет отлично, поверь мамочке.

— Я просто хочу быть в форме.

— Ты будешь, дорогой. Ты непременно будешь в отличной форме. Я помогу тебе. Такое буйство, как сегодня утром. Мы снова в строю! Ох, милый, я хочу повторить. Может быть, прямо здесь, на барной стойке. Это прекрасная идея, милый. Я хочу...

После третьего коктейля он говорит, что сейчас самое время подняться в номер и заказать ужин. Завтра рано вставать, и придётся проехать сотни три километров.

— Почему, почему ты всегда думаешь только о себе? — кричит она. — Мне рано вставать! У меня переговоры! Какая же ты зануда! А каково мне? Ты когда-нибудь думал об этом? Выслушивать всё это дерьмо от тебя, каждый день. Моя работа, мне тяжело, я хочу спать! А на мою работу тебе наплевать! И так было всегда. А ведь я могла бы остаться на столичном телевидении, а не сидеть в этой чёртовой дыре и не таскаться с тобой по вонючим гостиницам, как шлюха. Ведь так и есть! Я шлюха! — как за очередной бокал она хватается за это слово. — Я твоя шлюха, и больше никто! Ты всегда, всегда обращался со мной, как с проституткой.

— Это неправда. Ты сама знаешь, что это не так.

Он вздрагивает оттого, что, не удержавшись, опять ответил ей плоским клише. Теперь её не остановить — она только этого и ждёт. Почему-то она всегда рада его словесным провалам.

— Правда, правда! Это правда, дорогой, — перегнувшись через стол, шепчет она ему на ухо. — Молодой человек, повторите, пожалуйста! — кричит она вдруг, высоко поднимая пустой бокал, откинувшись назад, в глубину чёрного кресла.

— Нет, хватит. Не слушайте её, — говорит он официанту.

— Если ты мне будешь мешать, я уйду от тебя. Я переверну этот стол, к чёрту, слышишь? Прямо сейчас, а потом убою себя. Понимаешь? — Она говорит горячечным, сумасшедшим шёпотом. — Ещё один джин-тоник, сто джинна и пятьдесят тоника. И кока-колу моему мальчику!

Он знает, что если сейчас спорить с ней, то будет только хуже.

— Выбери себе ужин. Тебе нужно поесть, — говорит он, подбирая меню на соседнем столике.

— Я сама знаю, что мне нужно, — отвечает она, но всё-таки открывает меню. Несколько минут проходит в тишине, руки у неё дрожат. Когда подносят четвёртый джин-тоник, она успокаивается, её прежняя говорливость сменяется мрачным молчанием, и когда перед ней ставят овощной суп, она берёт ложку, начинает поспешно есть, но вдруг слёзы бегут по её щекам, она всхлипывает, сначала едва слышно, потом всё громче, роняет ложку, разбрызгивая суп по столу, и рыдает, уже никого не стесняясь, так, что к ним оборачивается бармен, втайне жаждущий зрелищ, какие редко увидишь за стойкой в самом дальнем углу зала. Официант меняет ложку, изо всех сил подавляя любопытство.

— Почему? За что? — рыдая, повторяет она.

— Поешь, пожалуйста, девочка моя, доешь суп. Я тебя очень прошу.

Но суп остаётся нетронутым. Постепенно она успокаивается, отыскивает сигареты, несколько раз неудачно щёлкает зажигалкой, и курит, сгорбившись в кресле, сосредоточенно разглядывая остывающую тарелку. Он пытается представить, о чём думает она теперь, и ему кажется, что её мысли похожи на выпавшие из блокнота, едва знакомые с пером листки. На каждом из них успели записать только несколько первых букв первого слова первого стиха, и поэтому все они для неё равнозначны и ни на одном из них она не может остановиться. Наверное, так же думает приговорённый к смерти за несколько минут до казни. Равноправие каждой его мысли — это последняя защита от неминуемости конца. Впрочем, иногда ему кажется, что это он ожидает смерти, а она — его палач. О, если бы только можно было заново

выдумать этот день! Он бы ехал тогда, не останавливаясь, до полуночи, он бы измотал её дорогой так, что, наконец, она бы заснула ещё в машине. Почему, почему без джина солнечный свет ей кажется недостаточно ярким? И почему рассвет нужно непременно окрасить хорошей порцией спиртного? Впрочем, на неё бессмысленно обижаться. В конце концов, это просто болезнь. Мы же прощаем диабетикам то, что они не могут есть шоколад, больным бронхитом — их кашель.

Как всегда это бывает в такие минуты, у него перед глазами пробегают их последние несколько лет: первый вечер, когда она довела себя до беспамьяства — лифт в их доме тогда не работал, и он на руках нёс её на седьмой этаж. Он видит первое утро её похмелья, когда небо было чёрным, а ей едва хватило сил, чтобы дожить без выпивки до обеда. Тогда, чтобы успокоиться, ей понадобилось совсем немного: одна-две рюмки — и на несколько часов она затихла перед телевизором. Но в сумерки её начала бить дрожь, и он понял, что женщина, которую он любил, навсегда стала другой. И дальше был вечер перевернутых пепельниц и бокалов, разбросанных по ковру объедков, вечер её пьяных шуток и заигрывания с его друзьями. А потом, далеко за полночь, он увидел свою тетрадь — записки поэта-коммивояжера — это маленькое спасение от её запоев и от предсказуемости его жизни.

Теперь нужно немного подождать. Теперь осталось недолго. Всё-таки ему удалось влить в неё холодный суп, втиснуть половину хорошо прожаренного стейка. Последний джин-тоник она уже не сможет допить. Теперь минут десять она будет курить, забывая затянуться, не стращивая пепел. Первая сигарета погаснет, она зажжёт другую. Сейчас голова её как оборвавшийся парус, который держится всего на одном шкоте и его нещадно треплет ветер. Кажется, она совсем затихла. Теперь можно попробовать её поднять. Пойдём, пойдём спать. Нам пора. Она молча приподнимается в кресле. Она забывает потушить сигарету, и он поспешно вдавливая её в пепельницу. И вдруг новый взрыв: «Я не уйду! Я никуда не уйду отсюда! Слышишь меня ты, подонок! Я буду спать здесь! Оставь меня!» И она снова падает в кресло. Он не может понять, что он сделал не так. Может быть, слишком поторопился, неловко потушил недокурную сигарету. Испуганно он ищет причину в себе, забыв, что никто не виноват в том, что она такая. Его тетрадь теперь от него опять далеко. Теперь его ждут долгие коридоры упрёков и оскорблений, переговоры с портъё, неудачные попытки остановить её, и, наконец, после бесконечных увещеваний и угроз, длинный путь к их номеру, когда она будет размахивать руками, цапать и вырываться, садиться в вестибюле на пол, бросаться на запоздалых горничных, а он, то притворяясь любящим и нежным, то заламывая ей за спину руки, сквозь её смех, её слезы, её страх и безумие, будет вести её к двери, за которой она постепенно начнет затихать, успокаиваться, наконец, совсем как раньше, свернётся, как набегавшая за день девчонка, на широкой кровати, так и не отбросив покрывало, а потом и он, обессилив, устроится подле неё, опустится туда, где уже не будет раздоров, начинающих терять терпение охранников гостиницы, незнакомых людей, жадных до чужого горя, и где им опять приснится их не родившийся ребёнок.

Доктор был молод: шёл второй год его ординатуры. Когда ему исполнилось десять, он понял, что будет врачом, и ещё перед поступлением в медицинский институт знал, что когда придёт время, он попросится в реанимационное отделение. Работа терапевта или стоматолога казалась ему чем-то совершенно бесполезным, спокойным и неинтересным. Он смотрел на них, как, наверное, офицер морской пехоты смотрит на интендантов. Весь смысл своей профессии он видел в том, чтобы быть там, где счёт идёт на секунды.

За свою недолгую жизнь он много думал о самоубийстве. Он успел собрать сотни часов размышлений о том миге, когда человек всё-таки окончательно выбирает бездну. Он никогда не думал о том, чтобы сделать это самому. О, нет, он знал наверняка: путь саморазрушения не для него. Испытание остановить всё разом не касалось его никогда. Быть может, потому, что ему, удачливому, полному перспектив, окружённому любовью юноше ничего не хотелось останавливать. Наоборот, ему до удушья хотелось жить, хотелось каждую минуту ощущать силу и ладность своего тела. Но мысли о том, как это делают другие, не отпускали его. Со временем это переросло в какое-то слишком причудливое увлечение: он стал коллекционировать изображения самоубийц, собирать о них газетные заметки, научные работы по этой проблеме и едва ли не наизусть выучил описание последних минут жизни Кириллова, самого искусственного и самого правдивого из всех знакомых ему литературных героев. Может быть, близость этой коллекции обостряла его чувство жизни, может быть, здесь было что-то совсем другое. Увлекаясь одно время психоанализом, он несколько не хотел препарировать эту свою страсть.

Деньги пришли вдруг, как-то незаметно, словно желая подчеркнуть случайность всякого богатства в этом мире. Просто однажды, когда прошло уже немало времени после блистательных сделок, о каких он, впрочем, едва ли помнил, запятая в числе на банковской выписке передвинулась на один знак вправо: безукоризненный работодатель не забыл о его подвигах. В день, когда он узнал о своём обогащении, она была спокойна и даже мила: со времени её последнего опьянения прошло несколько недель, и пока ничто не предвещало в ней пробуждения новой жажды.

Он боялся, что узнав о деньгах, она решит отпраздновать их маленькую победу над умышленным, тягостным



враждебностью миром. Но в её радости, с какой она приняла эту новость, было что-то от их первых лет вместе, когда они верили в счастье, в удивительность каждого нового дня на земле, когда у них кружились головы от утреннего, только что наподившегося солнца, от лунной дорожки, протянувшейся июльской ночью к берегу от горизонта, когда ей совсем не нужно было заострять свои чувства частыми порциями спиртного, раздвигать стены своего воображения изодранными коктейлями. Смеясь, она захлопала в ладоши и, как молодая задорная кобылица, пронеслась по комнатам.

— Город! Город! Скорее в город! — кричала она. — Он наш, ты слышишь, теперь он наш! Я знаю, что я хочу получить от него сегодня!

Через четыре часа их автомобиль был завален пакетами из всех сколь-нибудь известных в их городе бутиков, а через неделю они вылетели в Рим: теперь вместе с бонусами он мог получить и давно откладываемый отпуск.

На этот раз Рим поразил их своим цветом. Август отступил, и в воздухе была разлита истинная драматическая щедрость. Выбеленное долгим зноем небо снова возвращало себе свою сокрушительную чистоту. Каждое утро к ним на площадь Испании по ступеням волной скатывалось солнце, а вечера были синими, как море на закате.

Вернувшись домой, он тотчас должен был уехать чтобы добиться нового контракта с новым клиентом за триста миль от моря в страну степей и гранитных карьеров. Наступил октябрь, и сразу же за городом над трассой неподвижно нависли неуклюжие тучи. Они стояли непоколебимо, так же, как и тёмные курганы, разбросанные до самого горизонта, и, казалось, что всё здесь замерло на тысячелетия. И чем глубже он уходил в степь, тем сумрачней становилось вокруг, и тем неустойчивей он мечтал о Риме и о своём городе на берегу моря.

Быстро договориться с клиентом не удалось, и ему пришлось остаться в огромной единственной в округе гостинице, где в прежние времена останавливались вожди африканских племён и грустные бедуины, приезжавшие сюда договариваться о закупках оружия. Теперь здесь изредка собирались те, кто стремился поучаствовать в разделе местного песка и гранита или предложить свои товары сумрачным, косматым владельцам подземных богатств.

Даже в этом городке улицы могли быть полны коварства: короткие, двухэтажные, часто прерываемые высокими, разбухшими от дождей и туманов заборами всё-таки и они могли закружить, завести неизвестно куда.

Все три недели шёл мелкий незлобивый дождь. Казалось, даже ему лень было падать на крыши, и делал он это лишь оттого, что уйти куда-нибудь дальше, в пожелтевшие степи, было бы для него ещё труднее.

Город он обошёл в первый же день, до неузнаваемости перепачкав туфли от Lloyd и чёрные брюки, и теперь каждое утро после завтрака он покорно поднимался в номер, запирает дверь и опускался в кресло напротив огромного белого окна. Ему оставалось только ждать звонка от капризного клиента и смотреть на фрохотные, едва уловимые капли дождя. К концу первой недели он научился по нотам разбирать его дробь о покосившийся карниз и любил белёсо-чёрнильное небо. Небо начиналось сразу, в правом верхнем углу, и здесь оно было совсем родным и благосклонным. Дальше, над крышами низкорослых домишек в нём угадывалась тайная враждебность, сдавленная угроза, готовая каждую минуту обрушиться на город. И после нескольких дней созерцания, он вдруг понял, что теперь ему было бы страшно выйти из гостиницы, перейти на другую сторону улицы: вверху над ней — он был уверен в этом — замышлялся маленький водевильный апокалипсис, вполне подходящий для провинциального городишки. Он спускался в ресторан, обедал, любезно-равнодушно принимая услужливость официанток, возвращался в номер и снова усаживался напротив окна. Вскоре он перестал ждать звонков от своего несговорчивого заказчика: он уже не хотел их, они бы отвлекли его от кресла перед окном, от обрывка, такого непохожего на римское небо. Звонок от клиента неминуемо вытолкнул бы на улицу, где — как знать? — его могла встретить бездна и печальный поверженный демон с тёмными крыльями — ведь из всех городов мира он вполне мог выбрать и эту, замершую в оцепенении ожидания окраину.

За ужином он исправно выпивал бутылку вина. Дальше спешить было некуда: он уже ничего не смог бы рассмотреть из своего номера и на четверть часа выходил из гостиницы и стоял у подъезда, глядя ваясь в противоположную сторону улицы. Иногда, просыпаясь затемно, он, словно старательный монах спешивший к заутрене, пробирался в своё кресло — единственное место в этом городе, где он чувствовал себя в безопасности, — и снова смотрел в верхний правый угол, стараясь побороть своё одиночество и тревогу, избавиться от саднящих, похожих на нарывы предчувствий. Грязный свет фонарей мешал темноте достигнуть совершенства, и в часы перед рассветом за окном он видел только что-то жалкое и вязкое, не принимавшее ни один из знакомых ему цветов, и это пугало его больше, чем самая тёмная глубина ночи. Вжимаясь в кресло, он знал, что в такие минуты необъяснимое, трудное волнение приходило и к ней, заставляя проснуться и широко раскрытыми глазами искать в темноте их спальни обещание скорого рассвета. Ей нужно было продержаться совсем недолго, но это были самые страшные минуты, и он знал, что она может не выдержать, отдаться панике, и тогда уже ничего нельзя будет остановить. В такие минуты он понимал, что должен был немедленно рассчитаться с гостиницей и уехать домой, не дожидаясь утра. Тогда к полудню степь была бы уже позади и, подвезая к их городу, справа он бы увидел длинную серую полосу пляжа и тёмный изгиб моря за ним. Но потом он вспоминал о своём клиенте и щедрых бонусах — они бы неминуемо ускользнули от него, если бы сейчас он всё оборвал. Все, все его труды последних месяцев, утомительные подготовки предложений и многочасовые телефонные переговоры остались бы без награды и очень скоро



позабылись бы, растаяли бы в сфере бесполезности и бессмыслия, где исчезает абсолютное большинство наших стараний. И он оставался в кресле до рассвета, завтракал и снова возвращался к окну своего номера. Он ждал мельчайшей перемены в небе. Даже едва заметный новый оттенок мог всё изменить, мог бы сказать так много о возможности преодоления самых твёрдых, непреложных законов. Но небо оставалось верным однажды избранным цветам.

А потом в конце четвёртой недели позвонил клиент и контракт за несколько часов был подписан.

На следующий день он простился со своим креслом и по-прежнему молочно-серым клочком неба за окном, отмахнувшись плечом от дождя, обречённого на бесконечность.

Шли годы, и вот доктор уже не мог не признаться себе: он испытывал перед этими людьми какое-то жуткое, сумрачное восхищение. Его совершенно не интересовали те, кто бросался в море небытия, предварительно доведя себя до беспамятства алкоголем, наркотиками или всевозможными видами психических расстройств. Такие самоубийцы казались ему фальшивыми, случайными узурпаторами этого титула. Изучал он тех, кто шёл на встречу со смертью совершенно трезвым, не одурманенный ничем, не прибегая к тем средствам, что делают таинство этого перехода лёгким и заурядным: из одного забвения они просто соскальзывают в другое, ничего не поняв, не ощутив величественность своего выбора. Что было сил он старался представить, что чувствовали они тогда. Он верил: их плоть до последнего должна была сопротивляться решению их разума, и тень этой борьбы, борьбы, как правило, длинной, продолжавшейся годами, могла быть найдена в их лицах. В них он искал какую-то подсказку, что-то вроде возвышенного содрогания губ, а дальше – озарение, настоящий шквал мудрости и познания – он непременно должен был обрушиться на них в самую последнюю секунду, в той точке, после которой повернуть назад уже нельзя, там, где, как он верил, ждала не тьма, а новый рассвет, едва только начинающий пробиваться сквозь чёрно-сиреневое небо. Он был уверен: следы предчувствия такого рассвета можно было отыскать в их лицах задолго до смерти, но пока короткая медицинская практика не сводила его с ними.

А потом однажды утром, в девять тридцать, когда ещё не был закончен обход, двери их отделения распахнулись и в коридор с грохотом вкатились носилки. У нас ЧП. Девушка повесилась – скороговорка врача «скорой помощи» едва доносится до него, но он знает и без его полупанических объяснений: сегодня в их отделение привезли самоубийцу. Что было сил отрекаясь от вспыхнувшей вдруг внутри него радости, он побежал к носилкам. Над ней уже стояли старший ординатор, заведующий отделением, и до самых дверей тянулся шлейф из её родственников: беззвучно рыдающего мужа, остолбеневшей сестры и кого-то ещё из страдающих, а, быть может, и несколько возбуждённых горем их близких. Хлопали двери, входили заведующие других отделений. Кома, шейные позвонки остались целы, кровообращение нарушено – все эти слова и скорые диагнозы он почти не слышал. Главным для него стало её тело, безразлично оголившийся живот, рванувшийся вверх из-под него пучок жёстких чёрных волос, начавшая чахнуть грудь. Лицо её он не смог разглядеть: она как будто отвернулась, словно хотела сказать, что ей все равно, что меньше всего её интересует то, что происходит вокруг, и что просит оставить её в покое. Он видел набрякшую фиолетовую полосу вокруг её шеи, видел обессиленные, слегка согнутые в коленях ноги, далеко в сторону отброшенную кисть левой руки. Оглядываясь, он видел за своей спиной безумие её мужа, недоумение близких – они всё ещё толпились за носилками, и их не сразу удалось вытеснить за дверь. Но всё это он видел лишь мельком, снова и снова обращаясь к ней, всматриваясь в каждый изгиб её тела, в её матово-розовый замерший живот, в излом непослушной руки, в беспорядочные складки её одежды. Он пытался угадать и её запах, и то, как раньше проходила по ней судорога наслаждения.

– Шансы есть. Мы сделаем всё возможное. Через десять минут вам дадут список лекарств, вы подойдёте в аптеку напротив. Пока подождите, пожалуйста, за дверью, – говорил заведующий отделением её мужу.

– Девочка хорошо ударила по семейному бюджету, – усмехнувшись, прошептал старый врач из приёмного отделения. – Этот список будет большим, вот увидишь.

Он не удивился его злорадству: за три месяца работы в больнице он привык к этому мизантропу. Он только поморщился оттого, что эти слова оторвали его от мыслей, в которых он уже едва ли не слился с ней в последнем, надтелесном союзе.

Он едва помнил дорогу назад. Мокрое шоссе было пустынно, степь пряталась от него за дымкой дождя, в городе мокрый снег ложился на ещё не успевшие облететь листья тополей и платанов, на зелёные, недавно подстриженные лужайки перед их домом. И здесь, впервые за четыре недели, от вида их незамысловатого дворового уюта, от воспоминаний о законченной-таки, вырванной у конкурентов сделки, от мысли о скором пополнении его банковского счёта к нему медленно приходило успокоение.



Она встретила его как-то устало и почти равнодушно, и по хорошо знакомой ему апатии, по безвольной повисшей руке на спинке стула, по припухшим векам и убегающим от него глазам он догадался, что она не содржалась.

Из спальни выбежал щенок колли.

– Не хотела тебе говорить по телефону, но твой Джек исчез. Почувствовал где-то рядом сучку и обо всём забыл. Звать его было бесполезно. Это было недели две назад. Может быть, ещё вернется. А этот красавец прибил к нашему подъезду. День поскулил, и я решила его взять к нам. Чтобы тебе не было так грустно.

Два года назад они случайно забрели на рынок животных и не смогли уйти оттуда без мокрого, скулющего щенка ирландского сеттера. Сначала она любила его, но потом Джек для неё отошёл в область несокрушимого безразличия, куда рано или поздно уходили все её увлечения и порывы. Он же по-настоящему привязался к ярко-рыжему поджарому псу. Джек был беспокоен, казалось, он постоянно ждал чего-то, что-то часто волновало его. И он пытался угадать причину его тревоги, когда Джек, выбегая во двор, подолгу внюхивался в заурядный городской воздух, невольно замирая в стойке.

– Ему открыты какие-то тайны, – говорил он, но она спешила отмахнуться от его предположений:

– Всё это чушь. Он обычный пёс. Ты просто не можешь без него, как зимой не умеет обходиться без туманов море.

Значит, теперь ей нельзя доверять даже собаку. Он видел, что она ждёт его упреков и что подготовила добрую дюжину ответов.

– Ты знаешь, меня всегда умиляла книга Пова. Бог забрал у него жён, но потом, после испытаний, дал ему новых, лучше прежних. Наверное, по ветхозаветной логике Пов должен был быть счастлив. Но только я в такие замены и компенсации не верю. Как-то уж слишком по-первобытному.

– Не нужно всё это так расписывать, прошу тебя. Израть мускулатурой своих знаний будешь в другой раз. Я же сказала тебе, я пыталась его вернуть.

– Ну, тогда ты, конечно же, невинна. Что ж, можно попытаться любить и его, этого нашего нового зверя.

Через два дня в квартале от их дома Джек бросился к нему, прихрамывая, отчаянно виляя хвостом. Он обнял его, прижал ладони к его ушам. В его глазах он увидел бесконечность тротуаров, бесприютность чужих подъездов, страх, какой испытывает изгнанник на незнакомых перекрёстках. Он увидел, как Джек пытался часами перейти широкие, оглушавшие его улицы, то и дело невольно приподнимая переднюю лапу и становясь в стойку. Джек не понимал, зачем ему нужно было перебираться на орущую сторону, ведь он знал, что там он не найдёт хозяина, что хозяин пока ещё далеко. Но он настойчиво дождался, пока потоки машины не ослабевали, и тогда, собравшись, бросался вперёд, иногда осторожно, поминутно оглядываясь на несущиеся на него автомобили, иногда почти наугад, доверяясь случаю, стремительными прыжками перебежал дорогу. Два дня назад у самого тротуара какой-то шутник, изловчившись, больно ударил его в бок балпером и Джек, заскулив, рванулся вперёд ещё быстрее. Он не успел: что-то хрустнуло и что-то тёплое разлилось внутри. Но это едва ли испугало его: ведь Джек знал, что теперь до дома оставалось совсем немного. И теперь в его глазах он увидел радость, которая вспыхнула тогда в сердце собаки. Дальше были знакомые улицы, снег, падавший на неуместную зелень вокруг никак не желавших встречаться с зимой подъездов. Дальше всё могло бы быть хорошо.

Но здесь, кроме историй его голода и скитаний, кроме длинной уличной эпопеи потерявшей дом собаки, он видит и что-то ещё, его глаза что-то шепчут ему. Что же это? О чём ты, Джек? Он всматривается в них с каким-то диким упорством, с безжалостным усилием. Ну же, Джек, ещё немного – и вот, снова вернувшись назад, он видит, как в их дом входит его старый друг, а к его ногам жмётся полугодовалый щенок колли, он слышит шелест пакетов, полных шампанского, красной икры, ананасов и ещё каких-то пошлостей. Шампанское быстро уходит, но его друг на этот раз услужлив и крайне расторопен – раньше такого он за ним не замечал – и он бежит за новой порцией шампанского, мартины, а потом и джина. Ведь так просто почувствовать её слабость, так просто обмануть её, как ребенка, поманив любимой игрушкой. А дальше он слышит безумие Джека, запертого в гардеробной, его вой и ненависть, с которой они встречают его на следующее утро, тёмный багажник и городскую окраину, куда Джек никогда бы не забрёл сам – он даже не сумел ничем ответить его другу, хотя бы рычание или короткий быстрый укус как-то сгладили бы его изгнание, но этот чужой человек уже снова в машине, а лай Джека беспомощен и жалок. Он бежит за ним, но быстро отстаёт, сбившись у первого же поворота. А дальше – беспросветность улиц, о которой он уже успел рассказать хозяину, поиски объедков, контейнеры с мусором и короткий глухой удар в бок перед самым тротуаром, где уже так близко спасение.

– У него обширное внутреннее кровоизлияние. Слишком поздно. Придётся усыпить, – говорит знакомый ветеринар.

Ему нужно четверть часа, чтобы смириться с этим.

– Хорошо. Только я приведу его завтра. Я хочу, чтобы он провёл ещё одну ночь дома.

Потом, когда её состояние из критического перешло в разряд стабильно тяжёлого, и она стала обычной пациенткой их отделения, во время дежурств он смог подолгу наблюдать за ней. Украдкой он научился находить её лицо, следить за тем, как её переворачивали и омывали, спасая от пролежней её тело. В мыслях десятки раз он успел разделить с ней постель, десятки раз взглядом он входил в её



бесстрастное, не отвечавшее на чужие прикосновения лоно. И он чувствовал, как внутри него зарождалось какое-то открытие, как неподвижность её совершенных колен, глубина её пупка, её сосцы, никак не хотевшие наполняться желанием, вели его к чему-то, подталкивали к какой-то разгадке. Но он всё ещё никак не мог до неё дотянуться, что-то пока ещё мешало ему.

А потом вдруг посреди ночного дежурства, под монотонные постанывания самых тяжёлых, безвозвратно больных, он снова увидел клочок её живота – если бы всё прошло так, как она задумала, его бы уже никто и никогда не поцеловал бы – и его поразило прозрение. Он понял: она была ничтожна. Никакого великолепия монументальности, о каком он мечтал, изучая истории самоубийц, здесь не было и в помине. Она была жалкой, бессмысленной и пошлой. Всё, всё, что происходило с ней в жизни, никак не могло заставить её лежать здесь вот так, беспомощно и глупо, доступной глазам чужих мужчин. Ничто не могло оправдать её теперешнее положение. Все его теории, все мнения, сконструированные за годы раздумий, теперь утрачивали всякий смысл. Как всегда, правда оказалась намного проще и прозаичней его умствований и предположений. Он словно ощутил на себе одиночество её живота, его тоску, его мечту о новых ласках. В его сумраке, в опустившихся на её бедра тенях, в очертаниях её ступни, казалось, читался приговор её поступку. Она предала своё тело, надругалась над ним так, как не смогли бы надругаться и десяток изголодавшихся солдат, и теперь то, что сделала она и миллионы других, тех, кем он тайно восторгался, показалось ему непростительно глупым и подлым. Такая смерть – это всего лишь банальный каприз, подумал он. И даже бросившийся на меч Антоний, и вскрывший вены Сенека, и навечно погружавшийся в ванну Петроний в последнюю минуту едва ли сумели избежать пошлости. Он не мог этого объяснить, но теперь его открытие веселило его, и он едва умел подавлять в себе странную, настойчивую щекотку смеха: словно мотылёк бился в его гортани.

Когда она, спустя несколько часов, очнулась и открыла глаза, доктор был рядом, доктор стоял над ней. Но он смог продержаться всего несколько минут: смех душил его. Конечно же, был и вздох облегчения – его с ним разделила дородная санитарка Катя, – и дрожь, какую он чувствовал, когда занимался любовью, – она разбегалась от позвоночника к самым кончикам его пальцев. Но главным был смех. Смех был сильнее его, сильнее того хохота, какой сотрясал его, когда он три года назад, исключительно ради научных целей, испытывал на себе действие гашиша. Тогда его тоже охватил судорожный приступ веселья, мышцы сокращались, в животе кололо, и они с другом полчаса катались по полу его комнаты, корчась и задыхаясь, пока, наконец, неизвестный им демон не отступил от них. Теперь это чувство было ещё сильнее. Бросив несколько неразборчивых указаний медсестре, он выбежал во двор и, точно переломившись надвое, упал на колени. Было раннее утро, рассвет только начинался, никто из коллег не мог его видеть, и он хохотал, припадая к земле, и полы его халата путались в опавших и омытых декабрьским дождём листьях платанов.

Вечером фотографии самоубийц и вырезки с их историями показали ему ничего не значащими бумажками. С улыбкой освобождения он перелистывал их, готовясь надолго отбросить в нижний ящик стола, подумывая, впрочем, когда-нибудь к ним вернуться и написать небольшую статью.

Вдвоём они возвращаются в их квартиру. Теперь Джек на крыльце едва поспекает за ним. Что ж, возвращение домой – это всего лишь ещё один ритуал, каким мы пытаемся убедить себя: кое-что всё-таки подчиняется нам в этом мире. И неважно, будет оно радостным или же сразу, в коридоре, нас встретит её недоумение и раздражённый вопрос:

– Тебе не кажется, что два пса – это уж слишком для нашей квартиры?

– Не волнуйся. По-моему, я кое-что придумал.

Обед проходит в молчании. Джек жмётся к его ногам, молодой колли заигрывает с ним, но, кажется, Джек всё знает о том, что это его последний вечер.

И небо вдруг покрылось мглой, И над театром, сквозь туман, Промчался низко над землёю Пернатых грозный караван, – шепчет он, но как же ей услышать его!

– Спасибо, – говорит он, сбрасывая с колен салфетку.

– Не за что, – она отвечает, даже не глядя на него, полностью отдавшись размешиванию давно растаявшей щепотки сахара в её бездонной кружке вспенившегося кофе.

– И всё-таки – спасибо, – повторяет он, стараясь увидеть её глаза, и она, наконец, отвечает на его взгляд, резко и с особой профессиональной гордостью, свойственной, как ему кажется, всем кокоткам. Улыбнувшись, он тотчас поднимается из-за стола.

Подозвав колли и прихватив помятую полупустую пачку контрабандных Camel, он выходит на балкон. Несколько быстрых коротких затяжек – они идут одна за другой, щекоча горло, вталкивая дым в лёгкие. Табак горит быстро и



вот окурок замирает в уголке рта, куда он изящно отсылает его, совсем как герой французского кинематографа первой половины пятидесятых. Здесь можно было бы остановиться, немного подумать, изобрести следующий шаг, но седьмой этаж делает всё таким неизбежным. Собрав в охапку слишком доверчивого колли, он перебрасывает его через перила. Она визжит и бьётся о стекло, но дверь заперта с его стороны и теперь у него есть время, чтобы спокойно, не торопясь, закурить новую сигарету. Зачем-то он долго смотрит на разорвавшееся внизу тело несчастного свидетеля её измены, пока надвинувшийся туман – этот великий примиритель, – словно саваном, не покрывает его, приглушив испуганный плач детей во дворе и возмущённые крики соседей. К городу подступает декабрь.

Через два дня её перевели из реанимации в неврологическое отделение, а ещё через неделю она едва помнила о том, как нежно подступала к ней смерть. Больше они никогда не говорили об этом.

За день до выписки в последнюю неделю декабря, он приходит к ней.

– Вчера мне снился ад, – говорит она. – Наверное, это был ад. Тот его крут – не помню, какой по счёту, – куда уходят те, кому всё-таки удалось сделать то, что хотела сделать я. В моем сне после смерти мы попадаем в больницу – я видела её во всех деталях: и белые коридоры, и светлые палаты, и любезнейших санитаров, и многомудрых врачей, и такой же кричащий осенний парк во дворе. Мы видим всё, до каждой мелочи, но мы ещё не знаем, что умерли. Там за нами ухаживают, успокаивают, пытаются убедить в том, что мы поступили плохо, и мы, удачливые самоубийцы, постепенно начинаем в это верить. Но желание убить себя всё равно остается в нас, и вот проходит несколько дней, и мы начинаем искать возможности всё повторить. Это мучительнейший поиск – во сне я видела, как страдали эти люди, как изобретали всевозможные приёмы, чтобы добраться до снотворного в грозно мерцавших стеклянных шкафах в ординаторской, и как, наконец, им удавалось это сделать. Да-да, они убивали себя снова, снова проходили через всё это, а потом опять возвращались в больницу, где их убеждали, что они не умерли и что так больше делать нельзя. И всё повторялось сначала. Убивать себя бесконечное количество раз, при этом веря, что осталась жива, – вот наказание для таких, как я.

Немного помолчав, она продолжает:

– Помнишь, когда-то давно мы были в круизе, и с нами тогда путешествовала одна старая кинозвезда. Гениальная старушка, но речь сейчас не об этом. Она никогда не снимала с шеи шарфа или косынки. Она перенесла, наверное, дюжину пластических операций, лицо у неё было словно отшлифованное. Но шеею, шеею-то не обманешь. Могу представить, какой морщинистой она была у нее. Контраст с лицом был бы ужасным, убийственным. Не помог бы даже застёгнутый под самое горло воротник. Так вот, теперь до конца жизни придётся и мне таскать всякие подобные аксессуары.

Проводив взглядом падающий лист чинары – он такой большой, что трудно поверить в то, что какая-то сила смогла победить и оторвать его от ветки, – он осторожно наливает в пластиковый стакан немного San Benedetto.

– Что ж, я их буду покупать тебе дюжинами от Шанель, Маккуина, Диора или от кого-нибудь ещё. Можешь на меня рассчитывать.

Стакан прячется в её ладони и, как ни в чём не бывало, она отворачивается к окну и долго смотрит, как во дворе больницы двенадцатилетняя девочка вместе с отцом собирает подсохшие жёлтые листья, спасая их от скорых снегов и обледенений.

– Извини, – вдруг говорит она. – Я серьёзно: прости меня.

– Ничего. Всё нормально. У нас всё ещё впереди.

Жена улыбается сквозь слёзы и кладет ладонь на его колено.

– Шарф от Маккуина? Надо же! Спасибо. Вот видишь: когда хочешь, ты прекрасно умеешь меня утешить.

АННА МАТАСОВА

ЯБЛОКО

ЛЁШЕ КОРОЛЁВУ

Окаменели лужи во дворе,
На звёзды загляделся даже Ленин –
Полцарствия в молоках и в икре,
А ты уткнулся Ладоге в колени.

Какие бесконечные мостки!
В одной рубашке поджимаешь ноги...
И шамкает волна – возьми носки,
Укройся в человеческой берлоге.

Горбятся медвежки острова
Подсвеченные первыми снегами,
И стайкой любопытная плотва
Чирикает по горлу плавниками.

Кончается небесное кино,
А ты – дурак, ты повторяешь: «Боже...»
И смерти нет – и страшно всё равно,
Когда любовь с ободранною кожей.

Потом бежишь, срываясь, босиком,
В змеиный сад, который весь – засада...
Там яблоко на ветке. С червячком.
Сорви его.
Не бойся.
Так и надо.

ПЕРЕВОДЧИК

рядом со смертью всегда можно встретить бога.
– ну, пошли, – говорит он.
или поползли. или полетели.
у кого какой бог.
теперь уже поздно учить море плавать, а небо – прыгать.
снимаешь скафандр из мяса,
бежишь по небу без ног,
выходишь в открытую тьму,



держишь кого-то за руку,
за руку или за лапу.
переведи меня через майдан, переводчик
переведи меня на золотую карточку света
переведи меня на высунутые языки,
переведи меня под рёбрам клетки
переведи меня сквозь дырку собора
переведи меня через мостик
через красную ниточку на запястье...

В счастье блочно-барачном, в загоне
Нефтяном, отче на,
За колючкой в шестом лохотроне
Спи, родная страна.

Тьма из белого моря сочится,
А из чёрного – свет.
Спи, империя, пусть тебе снится
Безымянный поэт.

Он стоит и молчит очумело
Возле трупного рва...
Спи, любимая, после расстрела
Он отыщет слова.

Господь насылает любовь, как чуму,
Ты говоришь – темно у тебя в дому,
Спасу тебя, сохраню тебя, обниму...

Тащишь доски. Строишь чумной барак.
Известью засыпаешь гнилой овраг.
Сидишь на нарах, долго глядишь во мрак...

Там, во мраке, бродят чёрные клобуки,
Красные яблоки, в яблоках – червяки,
Крысы приходят есть у меня с руки.

Треснули губы – яблочная кожура.
Температура спала. Шепчешь – ура, ура,
Может быть, теперь доживём до утра...

Но лопнул барак, не вмещающая моей чумы,
Расползлись овраги, мертвецами полны,
Любовь вгрызается в брюхо крысиной страны.

Видишь – во мраке красный горит зрачок,
Видишь сердце – в нём сидит червячок...
Откуси мне голову, яблочный дурачок.



Помнишь песенку в кафе?
Входит ведьма в галифе,
У ноги – волчара,
Вот зимы начало.

Сколько тесто ни меси –
Хлеб чернеет на Руси,
Подгорает с краю,
Я с тобой играю.

Волк прищурит янтари:
Плачь, неназванный, гори –
Кровью ли, брусникой –
Плачь по жизни дикой.

Смотрит рыжая в упор –
В сердце бухает топор,
Протыкают птицы
Красные страницы.

Тронешь книгу – а внутри
Только дыры, пустыри,
Чёрная телега
Снега, снега, снега.

Чума всей бабки на дворе,
Засада всей страны.
В окошко крикнешь детворе:
– Покурим, пацаны?

С картошкой рядом по ларькам
Банановая сладость,
Щебечет ящик старикам:
Авось и нихерась!

Но одуванчик всё белей,
Зажмуристой пчела –
Корми мороженым детей,
Танцуй вокруг стола.

И спички вынь из кулака,
В карманы сунь драже...
Простите, дети, дурака!
Вся жизнь на букву Жэ.



хорошо уснуть в феврале, а проснуться летом
а не в этом колком воюющем наступающем
то ли в самом деле концом и светом
то ли просто ангелом тихо пьющим

хорошо проснуться летом, нащупать тапки
заглянуть в поэзию, как в аптечку
я тебе прощаю стихи, царапки
револьвер, петлю и чёрную речку

подойду к окну в золотых ромашках
в тонкой майке с первыми сквозняками
расплескаю кофе в твоих бумажках
хорошо, что выжили с мертвяками

сколько их расстрелянных изумлённых
молодых потерянных настоящих
до сих пор на целую смерть влюблённых
до сих пор в моей голове горящих

тополиный пух прогоню с предплечья
если хочешь – встретимся на балконе
и да будет август, нечеловечья
и да будет тьма на моей ладони...

Туман отдышит город –
Вернутся фонари,
Рога железных горок
С малявками внутри.

Будильники собачьи,
Мальчишьи голоса,
И череп старой дачи
Проросший сквозь леса.

Ледышка под ногами,
И кофе на ходу,
И смерть напишет маме:
– Я больше не приду.

Лучше всего рифмуются свет и тьма,
Чёрное море – белая колыма.

Белого снега полная по края
В чёрной телеге едет страна моя.



Ангел рогатый или крылатый бес –
Цезарю слава, слава кэпэ-эс-эс.

И примеряет время шкурку песка,
Красную кожу, содранную с лица.

Что от империй осталось – кости, слова,
Бодрая клюква, жёлтых газет ботва.

Ржавые зубы кладбища, книжный ком,
Музыка с отороженным языком.

Отче нашшш... боже, боже! – заел станок,
Боже нажимает на позвонок.

Где мясорубка крутится-ца-ца-ца,
Стерпится, сбудется родина без отца.

ЛАСТОЧКА

Низко ласточки летают –
К серебру и чоканью,
Видишь – бабушка седая,
Девочка под окнами.

Видишь – смерть под капюшоном
Бродит с мокрым фотиком,
Щёлк! – на небе обнажённом
Бог в обнимку с котиком.

Бродит рыжая по парку
С волком на верёвочке,
Дарит дождевым кухаркам
Родину без корочки.

У неё не заржавеет
Лезвие точёное,
Скоро девочку согреет
Наше солнце чёрное.

Кровь хоронится по трубам,
Свет течёт глазницами...
Любо, любо, братцы, любо –
Стали пули птицами.

ЯБЛОКО

Вечно хочешь сорвать яблоко, срываешь сердце поэта,
Пугаешь красное с красным, но язык отмечает:
Яблоко солёное,
Сердце сладкое.



Яблочный сок смешивается с кровью, капает с подбородка.
– Как же поэт без сердца?
– Ну, положи туда яблоко.

Сначала оно сморщится и почернеет, но семена прорастут,
Ветки выползут изо рта, а корни высосут печень,
Из глазниц будет сыпаться пух.
Осенью яблоня улетит.
Вон она, машет тебе на прощанье,
Держит поэта в когтях –
Дырки в груди больше нет.

– А что он теперь пишет?
– Пишет, что всё забыл...
Шелестит и полощет в реке свои корни,
Златоглазки на лбу,
Божьи коровки на пальцах,
Пчелы путаются у него в волосах.
Зачем ему буквы?

ДМИТРИЙ ВЕДЕНЯПИН

КАК БУДТО ДОЖДЬ...

Над пустой дорожкой в осеннем парке,
В qui pro quo измученной ноосферы
Тот же столб из воздуха, тот же серый
Тон, как там на Горького, где «Подарки»

И, как в песне Зыкиной, в смысле, долго
Под балконом (ох, держись за перила!)
Тявкал грузовик, текла «волга»
И «победа» фыркала и пылила.

Николай Бердяев любил свободу,
Пушкин тоже, хотя иначе,
А Подгорный так говорил: «Задачи
Поставлены, цели определены – за работу, товарищи».

Вот и мы говорим: задачи, цели...
Брежнев с факелом, воздух свободы...
«Где охрана?» – как выкрикнул Квиллер... Смотрели
Лучший фильм всех времён и народов?

Почему никто ничего не помнит?
Ладно б только какие-то даты
Или химшио или сумрак тех комнат,
Где мы жили когда-то...

Чтобы не остаться наедине
С тишиной внутри себя и вовне,
Потому что слишком большие волны,
А кораблик углый и лоцман – полный
Идиот, и скучно лежать на дне,
Капитан по имени Чан Суй Фай,
Чуть займётся утро, включал hi-fi.



«Звук подобен морю: прилив, отлив;
 Тишина коварна, как мель, как риф», –
 Поучал Чан Суй, и простые души,
 Моряки, внимали ему, забыв
 Обо всём на свете. Один Ван Чи,
 Вежливо кивая, вставлял беруши,
 Глядя, как на брызгах стоят лучи.

Как свет под соснами, где ты и тут и там,
 Как Фигаро, а то и Мандельштам,
 Порхающий над эс-эс-эр, как слово
 Над вещью... Там и тут, два мотылька,
 Один – оттенка светлого желтка,
 Второй – как небо: нежно-голубого.

«Вас к телефону», – говорит зола
 Золе, и та встаёт из-за стола,
 Под окнами сосед кричит: «Пошёл ты...»
 Другому пьянице... Над клаумбой у грибка
 С песочницей кружат два мотылька:
 Небесно-голубой и бледно-жёлтый.

И получается зелёный день, где там
 И тут, и сразу весь Адам,
 И даже то – вот сели, вот вспорхнули –
 О чём сейчас вот здесь и только здесь
 Туда-сюда пьют солнечную взвесь
 Два мотылька под соснами в июле.

ТЁТЯ ДОСЯ

Не хочется банальностей и бредней.
 Я помню полноту и доброту,
 И как она несёт пакет со снедью
 На пляж... *Бульвар Французский весь в цвету.*

Из слов её я помню только лишь
 Вот эти вот потом по телефону
 Мне ахнутые: «Что ты говоришь?!»
 И что-то вроде стона.

Но это было позже, а тогда
 Утёсов пел про *тоже патефончик*,
 Мы пили чай, к которому всегда
 Мне полагались сахар и «лимончик».

Был сахар сладок, а «лимончик» кисл.
 Позавтракав, мы шли на пляж с пакетом.
 И если в чём-то сохранился смысл,
 То в этом.

В прозрачной дымке на краю земли,
Как, может быть, сказала бы графиня
Ростопчина, взглянув в окно на синий
Еловый бор, мрачнющий вдали...

День угасает. У крыльца цветёт
Сирень какой-то чрезвычайно редкой
Нездешней разновидности; в беседке
Темно. *Уже написан «Идиот».*

Сирень мерцает; соловьи гремят,
Захлёбываясь в собственных руладах...
Графиня медленно идёт по саду
Меж старых лиц, любуясь на закат.

ПАМЯТИ И.М. СМОКТУНОВСКОГО

(Царь 1)

Всё дело в том, что дела нет ни в чём.
Есть человек и голос, говорящий:
«А ты, Аринушка, Миней б разогнула,
Да житие святого Иоанна Ветхопещерника прочла бы мне».

Бояре, стольники, сокольничьи, собаки,
Конечно, тоже были, но не зря
Театр (*весь мир – театр*) тонул во мраке,
Свет был направлен только на царя.

И было всё понятно: Гамлет, князь
Мышкин, Юра Деточкин, – вот доблесть
И честь... *Так образ входит в образ...*
Я весь спектакль сидел не шевелясь.

Тогда в Москве ещё существовал
Ряд крайне однозвучных представлений
О том, что нужен Бог и важен гений...
Потом зачем-то дали свет на зал.

Наверное (как выражались встарь)
Рискуя показаться попугаем,
Я всё же проскриплю: у нас был царь-
Юродивый – и жизнь была другая.

Как будто дождь, как будто дождь, как будто –
Всю ночь – шуршат страницы, льются слёзы.
Нет ничего реальнее «как будто»,
Не улыбайтесь, господин философ



Не ночь, а Мунк: безумье, мрак и страсти.
 С рассветом настает пора «как будто».
 Тебя как будто нет и тут же – здарсьте-
 Пожалуйста – тыходишь. С добрым утром!

Нет, здесь уже не обойдёшься светской
 Улыбочкой, как в тускловатом зале
 «Недорогой» гостиницы со шведским –
 Buffet – столом и розой на рояле,

Которая ни очно, ни заочно
 Не заблагоухает – это точно.

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

*Я хочу на «тот свет» прийти
 с носовым платком. Ни чуточки меньше.
 В.В. Розанов*

Всё-таки очень трудно
 представить себе рай.
 Хотя,
 если постараться,
 то можно.

Для начала
 надо вообразить
 абсолютно прекрасное самочувствие,
 какое
 последний раз
 было у тебя, наверное, лет в шесть.
 Нет! Ещё лучше.
 Потом – родные.
 Все живы-здоровы.
 Сказано, что в Царствии Небесном
 не женятся и не выходят замуж –
 слава Богу! –
 но про еду ничего не сказано.
 Поэтому вполне можно представить,
 что бабушка
 стоит у райской плиты
 (кстати, не так уж сильно отличающейся
 от двухкомфорочной электроплитки,
 которая была у нас в Александровке),
 помешивая что-то райское
 в райской кастрюльке.
 Баба Нюра ушла в райский магазин.
 Папа собирается на райскую работу.
 Мама шьёт бабушке райское платье...
 После обеда мама с бабушкой
 читают,
 устроившись под соснами
 на широкой райской раскладушке.
 День полон множества других райских чудес.



Вопреки расхожему мнению,
 основанному
 на неверно понятом библейском стихе,
 время в раю
 есть.
 Естественно, не такое, как здесь.
 То же касается и пространства.
 Принцип трёх единств,
 насильственный
 и для земной драматургии,
 в драматургии небесной
 просто отменен.
 Наши самые смелые представления о свободе
 посрамлены.

Говорю это на тот случай,
 если кто-то уже собрался
 обвинить меня
 в чересчур жёсткой режиссуре.
 Мол, бабушке,
 может быть,
 совсем не хочется стоять у плиты,
 а то и, вообще, быть бабушкой,
 а папе – ходить на работу,
 даже райскую.
 Конечно, в раю
 каждому дарована способность
 находиться где угодно, когда угодно.
 В том числе,
 в разных местах одновременно.
 А понятия возраста
 там вовсе не существует.

Былое сбудется опять,
 по-видимому,
 вернее,
 невидимому,
 означает следующее:
главное прошлое –
 единственное,
 что тут
 точно есть –
 станет частью того,
 чего тут нет
 и не может быть,
 а именно
 будущего
 (в настоящем смысле этого слова),
 или –
 sub specie aeternitatis –
 настоящего
 (в будущем смысле),
 которое –
 представляй-не представляй –
другое, другое, другое...

ВЯЧЕСЛАВ КАРИЖИНСКИЙ

ХАОСМОС

ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ ФАУСТА

Догорела свеча в омертвелой руке,
запоздалое слово воскресло из пепла,
и теперь голоса лет ушедших
дрожат в проводах телефонной сети,
напрасно лица не ответивших в срок адресатов.
За немьтым столом по ночам
сидит, улыбается горе цыганским бароном,
наливая в бокалы вино.

В этот раз мы сыграли вничью,
и обним немым королям
на истёртой доске – шах и мат.
Говорю: «Вот, возьми мой зуб, –
вырываю без боли и крови, –
только близких не тронь, обойди стороной,
не засчитывай прожитый день».
Согласился я горю отдать
свои силы и разум,
а взамен – только сны, только пьяные сны,
где познание, насилие, время
сквозь меня протекают сухими ветрами,
огибают меня ледяными лучами,
а мой старенький дом снова кажется вечным...
Здесь я сам – безымянный, чужой,
в переездах потерянный сон,
надоевшая песня печали.

...и мой каменный голос ослеп,
но глаза воспевают вечность,
сквозь которую мчится воля-стрела
человека, наступшего бога и дьявола.
Только больше и сверх – вот её устремленье.
Только выше, точнее, смертельнее.
Кто же он, этот лучник безумный?
То ли новый владыка вселенной,
то ли юный мятежник и царевбийца –
всё равно!
Мне бы спать, только спать –
всю премудрость людскую я мог бы отдать



за безумие сна без конца и начала,
да не хватит зубов,
не отыщется столько вина...
А его пусть зовёт
белый карлик грядущих побед,
холодное солнце Фауста.

ЧТО В МИРЕ НЕЗАКАТНОЕ?

Что в мире настоящее, скажи? –
Любое обесценить можно благо.
Что ты зовёшь сокровищем души,
Другой легко пронзиг лихою шпагой.
Гляди – лежит душа на дне оврага...
Так сбрасывали в час вечерней мглы
Больных младенцев Спарты со скалы.

Что в мире незакатное, ответь,
Когда губам и клятвам, и страницам
Законов ли, поэм, лжецам, провидцам
Один исход предвосхитила смерть,
И вечерами тленное светило
На дне реки не отличить от пла?

И даже сила – верное мерило
Победы каждой, правоты любой –
Обречена в грядущем на покой
В гостеприимной темноте могилы.
Тебе – река, а мне – лесной овраг.
Кого тогда бояться? Кто мой враг?
Не тот ли, кто, попирав на тризне,
Судить меня возьмётся после жизни?

Кого тогда стыдиться – не себя ль
За то, что мне милей всего печаль,
За то, что тайно жажду я надежда,
Которыми живёт толпа невежд,
И здравому уму наперекор
Всё жду ответа от небес и гор?

Что в мире настоящее, скажи?
Что в мире незакатное, ответь?
Ужели пустоту взамен души,
Перетерпев, придётся мне воспеть?

ГОЛОДНЫЙ УМ

Голодный ум, охочий до открытий,
Не ценит истин, вечных и простых,
И в череде наскучивших событий
Глотает пыль творений вековых.



Свершений новых нет – непревзойдённы
Успешных лет заученные сны,
И чахнет ум, всецело подчинённый
Неутолимой жажде новизны.

СКВОЗЬ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО

Как выглядит в пустой ночи амбир,
когда уходят краски и тепло?
Что знаешь ты о тех, кто видит мир
сквозь тусклое стекло?

Сумеешь ли узреть красу теней,
палитру, что за веками слепца,
цветы и тропы, спрятанные в ней,
которым нет конца?

Ты бросишь камень в зрячую ладонь
того, чей взор ощущает тебя,
с улыбкою зальёшь его огонь –
слепец уйдёт, скорбя.

Таким, как ты, доступна благодать:
и радуга, и моря бирюза.
Такие заслужили, чтоб плавать
в их мёртвые глаза.

Отрешился от тела, попал неизвестно куда.
Вижу, землю сухую ласкает морская вода.
Это день или ночь – я никак не могу угадать.
Нет ни ада, ни бесов – и это уже благодать.

Недостроенных лестниц покрытые пылью ряды
Смотрят в чёрное небо осколками старой беды.
Видно, к звёздам по ним не подняться, наверх не взойти –
Камнем падай туда или птицей бескрылой лети.

Жизнь уже позади, но пугает посмертья преддверье,
И, готовый рыдать, я на звёзды гляжу с недоверьем.

ХАОСМОС

Тяжёлым якорем ко дну пошла душа,
и тишина из мёртвых уст
неторопливою волной струится –
волною ржавой из червей.



Меж сном и явью стёрта грань,
и то, что раньше мне безумием казалось,
сегодня стало здравым смыслом.
Порядок с хаосом теперь неразличимы.

Распяты в храмах кровоточат
вином – сосуды подставляй и пей,
но не насытишь, друг мой, злую жажду
вина и крови – жажду бытия.

Как должен быть силен творец вселенной,
что избрёл однажды время
и оживил им бесконечность?

Так хочется в несбыточное верить:
что даже за последним шагом жизни
нас ждёт иной дороги первый шаг,
и ветер центробежный уведёт нас
от адских мук былого бытия,
и, разлетаясь от Большого Взрыва,
мы не утратим память, чувства, мысли –
всё то, что составляло наше «я».

Тогда не убоимся тишины,
и судеб воскрешённых корабли
поднимут якоря.

АЛЕКСАНДР САМАРЦЕВ

ДАЛЁКОЙ ЮНОСТИ ОТМЫЧКА

О будущем не знали ничего
да и оно себя не знало
финал двоятся погружён в начало
рассветно серо и черно

...Скамейка шаткий стол для домино
Черёмушки – а тихо как в ауле

и это всё мной станет заодно
мной
будто нам же нас вернули

НИКОЛЬСК. ТРОС ЧЕРЕЗ РЕЧКУ ЮГ

1.

Из-под моста ползком улитки пустил бульдозер «петуха»
всяк звук себя же и окликни – трезва природа и глуха
а перед кем ей морщить тучи надраивать смиренный лёд?
Отвечу: «Истины – текучи!» – река вопрос не разожмёт.

Она вопрос не разжимает подковой нежась речка Юг
лёд льдами в ступе пожирает об идолах а те встают
по серым склонам для острастки как маршал Конев монолит
полным-полна убогость сказки стремянкой вохровской фонит

Авось коробушку призывов потянет чей-нибудь бюджет
мосточек под ногами зыбок раскачивая злое «нет»
Крысьё небесное вороны унюхали: мой бизнес – тлен
здесь лишь иллюзии бездонны простого забытья взамен

2.

От в кучу согнанных кроватей дед-бомж тетрадочку вручил
улыбкой – нету виноватей (на языке следы чернил)
мол передай кому скорее: из дому выжила сноха
и что в сосульках батарея а голова совсем плоха



...Пигментны пятнышки на вые затмив седин лесоповал
кутята жалобы худые – я в этой школе ночевал
Скукожась клюква и брусника с двух блюдец – слаще и кислей
кому покажутся? плесни-ка шагов на мост забудь! испей!

Но вновь гудение на самой развесистой из средин
лесок задразнит голограммой (ишак припомнишь Насреддин)
как вкопанный схвачусь за тросы а обостренье и у них
не перейти мне за вопросы из неразжато нутряных

3.

Отсюда с птичьего надлома на зависть – ни назад ни вбок
и выгоняют как родного чтоб волей душу перемог
костыль кому от погорельца? кому – амурова стрела?
примёрзнуть сбегать утереться всё вперемежку мал-мала

Свободой наконец припёрло блеснуло по нахалке вжглось
но мы вросли непогрёбённо хоть и раздергивает вкось
в трамбованные котлованы а перед стартовым теплом
теряя нить своей нирваны её же сослепу сплетём

К сочащемуся белокнижью ребро нацелится смолой
Здесь ветра нет но нет и ниже перетоптали – с плеч долой
от перестроечных проталин ручей бурлит про Колыму
как помощь я гуманитарен выходит что и никому

4.

Стоянью силы мать родная протяжнейшая из пружин
мерзлынь без мути без раздряя в которой стрелочно дрожим
вадоине когда на пуповине чем держится секим-душа
нуль тяжести с нулём промилле их свистом схватка хороша

Но угораздило же въехать разомкнутой речушке в пах
подвиснув на стальных доспехах магнитно а не впопыхах
несбыточною просьбой когти загрузят лёгких два мешка
я не продам вы не возьмёте рубцы не сходятся пока

Поток сплошной соударений мочёных ягодных кровей
шаг вросший – никогда смиренней! – ослепни как нельзя родней –
в дрожащий волосок металла над глухотой иных природ
он таял а она влюбляла вот-вот и кончится разброд

Б. Кеңжееву

От вечера – малинный звон
изношены всё те же сроки
цикадам совести не в тон
с лихвой глотаются вещдоки



Но шуточки среди своих
переворачивая войны
влекут к шампурам соловьих
густы их фуги сухостойны

Так сено глядя из травы
граблями собрано во славу
чьей разве важно головы
Иудой прячась за Варавву

Не исправляй задвинь оставь –
лепечешь лишь бы не проснуться
переплетенно кожей вплавь
от солнца оттого что пусто
в руках под гнетом одеял
кто первый? первым я вставал

и подсыпая корм кошачий
увидю башню-долгострой
насквозь опалубкой маячит
и к ней а значит к нам с тобой
мурмур проворной передачи
включая шерстью золотой

Из рук вбежишь в мои же руки
успев забыть про почему
все подтверждаемые глюки
я нагло переподчиню
хозяйничая их крупница
насытятся и затанцуются

Пыль гнезда вьет на стихшей плазме
непотопляем верхний свет
Жизнь или то что жизнью дразнит
субботой терпеливых сред
к воскресным хлопотам накрыта
свободная от аппетита

ДЕНЬ ПОСТУПЛЕНИЯ

Остынут пирожки столовой
пока мы шастаем с Шаровой
по щиколотку вороша
на Гоголевском через Сивцев
листву среди других счастливых
не знающих как хороша

как из Стрельцов девичий львёнок
и рассудителен и звонок
даст прикурить ярму свобод
мы топчем их порою дразним
зачисленные к тем же басням
на первый курс – но что стрельнёт



что – с фитонцидами – летуче:
 скамейка ли волной (до кучи)
 на курьих ножках мезонин
 с бельём с колонною-растяпой?
 Повыветрило тихой сапой
 вдруг восстановим отзвоним?

Не оставляя для комиссий
 час-лабиринт в каком зависли
 он берега свои размыл
 Троллейбусная сеть развеяся
 синеют отблески лицейства
 воззвანьем из последних сил

Остыли с мясом пирожочки
 нас вызовут поодиночке
 из этой смерти ли другой
 и локтем и учебной сценой
 смеясь о воле обалденной
 разворошив её прибой

Из лязга сомкнутых дверей
 сок ожидания или мякоть
 питательной науки плакать
 попробуй же поспорить с ней
 горячей размазнёю гречкой –
 не в фокусе но резок свет
 отмоем ли поверхность лет
 от ужинов разлуки вечной
 трясущейся как ночь крутом
 посудомоечным нутром

Пакетик протяну с хурмой
 не по сезону – по сюрпризу
 зависимость была прямой
 чуть примороженная снизу
 порадуешься – всё болит
 под натиском финальной дрожи
 и кем-то перехвачен лифт
 вниз обгоню вернусь попозже
 не уходил и не уйду
 посуды много как в бреду

А ты устала и отлично
 что руки голосов быстреей
 далёкой юности отмычка
 вернулась как бы из гостей
 поверить – это мы? – глазам ли
 тьмой перемытого промяли



про лабиринт китовых недр
откуда – вдруг – и выдвигалась
в твою уставшую усталость
из лифта наших да и нет

Облака тягучие над Вяткой
пёрышки – приветом от фламинго
Ты забыла – можно быть наглядной
возвращаясь ко всему что мимо

Можно – стойкий фокус перевернут
и земля небесного разлива
гасит удивленье удивлённых
жётся обоюдно терпеливо

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНКО

ЭГРЕГОР

детская повесть

Летняя одесская жара разморит кого угодно.

Первой её жертвой стал кот, лежавший на скамейке в самом центре старого двора.

Сидящий рядом с ним кудрявый рыжеволосый мальчик не сдавался. Он ждал.

Наконец на балкон второго этажа вышел высокий мужчина с тёмной, начинающей уже седеть бородой.

– Здравствуйте, Олег Сергеевич! Можно зайти к вам на минутку? – звонко крикнул мальчик. Голос его эхом отразился от стен.

– Заходи, Митя, заходи, – неспешно набивая табаком трубку, сказал мужчина.

Мальчик вскочил и забежал в парадное.

Кот не повёл даже ухом.

Не успел Олег Сергеевич раскурить трубку, как у двери уже зазвенел звонок.

– Какой же ты быстрый, Митя! Молодец. Ну что ж, проходи и пойдём вместе на балкон – в комнате жарко и душно, а кондиционер я не люблю. Давай возьмём табуретки, столик я уже вынес. Не разувайся – я никогда не прошу гостей разуваться. Хотя – постой секунду. Ты будешь холодный компот?

– С удовольствием, Олег Сергеевич?

– Жена варит замечательный компот.

Олег Сергеевич вышел на кухню и вернулся с двумя полными чашками.

– Ну, рассказывай, как твои дела? – спросил он.

– Дела нормально. То есть... не очень. Бабушка всё время выгоняет на улицу – гулять, дышать воздухом, играть с мальчишками. Лето, мол, на дворе.

– А ты что, не хочешь?

– В том-то и дело, что не хочу!

– Удивительно. Обычно бывает наоборот.

– Да нет, гулять я люблю, но мой лучший друг Мишка на целый месяц уехал с родителями в Израиль, а просто так болтаться на улице – это же глупая трата времени. Но бабушка ничего не хочет слышать, а родители всё время на работе, и вступиться за меня некому. Хотя они, наверно, поддержали бы бабушку.

– Идём на балкон, там продолжим. Вот твои чашка, – сказал Олег Сергеевич.

Вышли на балкон, сели на табуретки. На балконе было хорошо – высокая акация, растущая посредине двора, рядом со старым колодцем, бросала тень на все этажи дома. Сам двор напоминал раскалённую сковородку. Не было ни малейшего ветерка. Кот дремал на том же месте – пожалуй, он один радовался жаре.

Компот выпили одним большим глотком.

– Ну, положим, и что же ты хочешь делать? – спросил Олег Сергеевич.

– Читать хочу. Дома столько интересных книг! Но у вас, – Митя обвёл глазами просторную гостиную, две стены которой от пола до потолка были заставлены книжными полками, – у вас, конечно, больше.

– Что же ты сейчас читаешь?

– «Книгу будущих командиров».

– Отличная книга. Перечитал её в детстве несколько раз. Ты в какой класс перешёл?

– В седьмой.

– Самый правильный возраст для таких книг. Ты знаешь, каждую книгу нужно впервые прочесть в своём возрасте. Потом она будет восприниматься иначе. К сожалению, в школьной программе по литературе очень мало хороших детских книг. Что вы изучали в этом году?



– Греческие мифы. Эзопа. Пушкина с Лермонтовым. «Пятнадцатилетний капитан» Жюль Верна. «Робинзона Крузо».

– Уже лучше. В годы моей учёбы нас пичкали взрослыми романами, отбивая на всю оставшуюся жизнь желание их читать. Но даже сейчас – где Вальтер Скотт, Джек Лондон? «Копи царя Соломона» и «Капитан Сорви-голова»? Где Астрид Линдгрен и Туве Янссон? Я бы составил школьную программу совершенно иначе. Кстати, у тебя есть «Книга будущих адмиралов»?

– Нет! А разве есть такая книга?

– Конечно. Анатолий Митяев написал её после «Книги будущих командиров». Когда закончишь читать о сражениях на суше, приходи ко мне – я дам тебе книгу о битвах на море.

– Спасибо.

Митя замолчал и начал болтать ногой.

– Ты хочешь что-то спросить?

– Да, Олег Сергеевич.

– Спрашивай. Не стесняйся.

– Олег Сергеевич, я знаю, что вы пишете, – сказал Митя немного смущённо. – И я... Я тоже начал писать. Недавно.

– Вот как? Здорово! Над чем сейчас работаешь?

– Я прочёл «Страдания юного Вертера» Гёте и пишу сейчас поэму.

– Ого! Это серьёзно. Покажешь потом?

– А вы не будете смеяться?

– Конечно же, нет. Разве можно смеяться над творчеством?

– Бабушка говорит, что творческие люди – это бездельники, которые не хотят работать. Что от них нет никакого проку.

– Вот как! А родители тоже так думают?

– А родители никак не думают. Им некогда. Они всё время работают.

– Интересно, что у них за работа такая, что не оставляет времени на размышления?

– У папы несколько маршруток, а мама работает у папы главным бухгалтером. Раньше папа сам был водителем маршрутки, но потом раскрутился и потихоньку начал свой бизнес.

– А откуда же у вас книги? Если мама с папой не успевают ни думать, ни читать?

– От бабушкиного брата. Он был профессором истории. Преподавал в университете. У него не было детей, и он оставил нам и библиотеку, и эту квартиру. Он очень любил маму и меня. Да и бабушка тоже собирала.

– А она кем работала?

– Также преподавала историю, только в школе. А потом разочаровалась во всём. Говорит, что учёные и преподаватели получают копейки и никому у нас не нужны. А люди творческие – тем более.

– Понятно. Вот что я скажу тебе, Митя. Бабушка твоя совершенно права. И я сейчас объясню, почему. Готов послушать?

– Конечно, Олег Сергеевич.

– Давай попробуем с тобой представить себе нашу жизнь без писателей, без художников, без архитекторов. Без искусства. Вообще. Давай?

– Давайте.

– Итак – начинаем. В мире нет художников. Соответственно, повсеместно голые стены. Журналы и газеты выходят только с текстом и фотографиями – рисунков нет. Нет мультфильмов, нет рисованной рекламы и плакатов. Даже на одежде нет рисунков – а кто же их сделает, если нет художников. Ведь даже упаковки для продуктов создают художники.

– Точно...

– Кинофильмов и телефильмов тоже нет – потому что нет режиссёров, сценаристов, операторов и всех остальных, кто их производит. По телевизору передают только новости и документальные репортажи. При этом новости никак не озвучиваются – композиторов же нет. Никто не поёт песен, нигде не играет музыка. Тишина. И читать нечего, кроме тех же новостей в журналах без иллюстраций. Книг тоже нет, потому что нет писателей.

Все дома в мире представляют собой простые неказистые коробки – потому что нет архитекторов. Конструкторы есть, а вот архитекторов – увы.

Дети не учат в школе стихов – поэтов нет. Никто даже не догадывается, что слова можно зарифмовать.



Рассказов, сказок, конечно, тоже не читают. Математику учат, другие точные и естественные науки. А вот гуманитарная часть отсутствует за ненадобностью.

Ремесленники, конечно, есть, и среди них даже хорошие. Спорт очень развит – всё-таки зрелище. Царит культ тела.

Вроде бы так жить можно, но как-то не хочется... Казалось бы, люди искусства ничего материально применимого и утилитарного не производят, но то, что они создают, так же необходимо людям, как еда и одежда. Ведь они создают гармонию.

– Я никогда об этом не думал, Олег Сергеевич, – сказал Митя потрясённо.

– Попробуй когда-нибудь объяснить это бабушке, – сказал Олег Сергеевич. – Возможно, она поймёт. Хочешь ещё компота?

– Если можно, то с удовольствием.

– Сейчас.

Олег Сергеевич вышел и вновь вернулся с полными чашками.

– Ну что же, давай поговорим о тебе. А для чего ты пишешь?

– Ну... – застеснялся Митя. – Хочу попробовать, как получится. И вообще...

– Хочешь прославиться? – спросил, улыбаясь, Олег Сергеевич.

– Да, – негромко ответил Митя. – Это плохо?

– Ну почему же? Очень даже хорошо. Все писатели хотят прославиться. Да и не только писатели – для всех творческих людей это важный стимул. Возможно, главный. Ты слышал знаменитую фразу Льва Николаевича Толстого: «Если уж писать, то только тогда, когда не можешь не писать»?

– Нет!

– Ну вот. Он так сказал. И все считают, что это правильно. Вернее, притворяются, что так считают. А я не притворяюсь. Я так не считаю и никогда не считал. А как ты думаешь, зачем нужна слава?

– Слава – это приятно, – выпалил Митя. – Тебя узнают. Девчонки тобой восхищаются.

– Ну да. А ещё деньги большие зарабатываешь, и ГАИшники не штрафуют, – сказал с улыбкой Олег Сергеевич.

– А разве не так? – как-то даже с вызовом спросил Митя.

– Возможно, и так, только не у писателей. Скорее, не у писателей в нашей стране. Надеюсь, это временно. Но у писателей есть другая, гораздо более важная задача. О ней знают не все. Меньшинство. Избранные.

– Олег Сергеевич, что это за задача? Расскажите! – загорелся Митя.

– Дима! Дима, ты где! – громко раздался вдруг где-то на улице женский голос.

– Ой, это бабушка! Извините, мне надо бежать. А то она опять будет ругаться, что я не дышу воздухом!

– Беги, беги. У меня к тебе предложение – в следующий раз, когда бабушка отправит тебя гулять, давай погуляем вместе. Я покажу и расскажу тебе кое-что интересное.

– Это будет завтра, Олег Сергеевич!

– Завтра рановато. Чтобы мы погуляли полноценно, ты должен прочесть «Трёх толстяков» Юрия Олеши. Знаешь эту сказку?

– Конечно же знаю! Я её уже читал. И фильм смотрел.

– Отлично. Тогда перечитай и приходи послезавтра.

– Спасибо, Олег Сергеевич! До свидания! – воскликнул радостно Митя и сбежал по лестнице.

Утренняя прохлада ещё не сменилась жарой, а Митя уже сидел на скамейке и смотрел на балкон Олега Сергеевича. Его так и подмывало подняться на второй этаж и позвонить в заветную дверь.

– Подожду до десяти часов и поднимусь, – сказал он себе вслух, встал со скамейки и начал ходить по двору. Но тут балконная дверь открылась.

– Доброе утро, Митя! – сказал Олег Сергеевич весело. – Вижу, ты уже готов к прогулке.

– Готов! – ответил Митя. – Ещё как готов! «Толстяков» перечитал.

– Молодец. Я сейчас спущусь.

Через несколько минут Олег Сергеевич был внизу. Митя стоял у скамейки, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, и сжимал в руках книгу.

– Ты даже взял её с собой? – улыбнулся Олег Сергеевич.



– Ну да. Вдруг вы что-нибудь спросите, а я забыла! Сразу посмотрю.

– А я взял с собой другую книгу, – сказал Олег Сергеевич. – Это последняя книга Юрия Карловича Олеша, его воспоминания. Она называется «Книга прощания», но сначала была опубликована в сокращённом варианте под названием «Ни дня без строчки».

– Я слышал это название, Олег Сергеевич.

– Замечательно. Я хочу пройти сегодня с тобой по местам, которые описал Юрий Карлович. Хочу показать тебе, как реальная жизнь становится литературой. Ну что ж, пойдём.

Они прошли через арку, главной достопримечательностью которой было множество старых почтовых ящиков с фамилиями людей, которые когда-то жили в нескольких домах их двора, повернули налево и остановились у мемориальной доски.

– Ты, конечно же, знаешь, что Юрий Карлович жил в нашем доме, – сказал Олег Сергеевич.

– Да, конечно. Я часто разглядываю эту мемориальную доску. Правда, я не знаю, в какой именно квартире он жил. И родители тоже не знают.

– Я расскажу тебе об этом после прогулки, – улыбнулся Олег Сергеевич. – А пока я хочу показать тебе, места, описанные Олешей. И рассказать немного о нём. Пойдём потихоньку вперёд, и я буду рассказывать.

Юрий Карлович Олеша приехал в Одессу вместе с родителями в трёхлетнем возрасте. Елизаветград, в котором он родился, он совершенно не помнил, и все счастливые воспоминания детства были связаны у него с нашим городом. В своей «Книге прощания» он писал о том, что, живя в Одессе, чувствовал, что живёт в Европе. И описал ежедневный маршрут, которым ходил из дома в Ришельевскую гимназию, в которой учился и которую окончил с золотой медалью. Много лет она находилась на углу Садовой и Торговой. Гимназист Олеша каждый день ходил по одним и тем же улицам. Я прочту сейчас этот отрывок, но сначала давай с тобой остановимся возле этого необычного дома.

– А что в нём необычного? – спросил удивлённо Митя.

– Вот ответ настоящего одесского мальчика, выросшего в центре, – улыбнулся Олег Сергеевич. – Ты привык к красивой архитектуре и уже не замечаешь её. Ты дышишь ею, и она кажется тебе естественной. А ведь этот дом совершенно необычен. Возьмём хотя бы его цвет – оранжево-кирпичный, типичный для Италии и необычный для наших широт. А самое необычное – вот эта башенка.

Олег Сергеевич показал Мите на башню, возвышающуюся над домом.

– Действительно! Я не обращал на неё внимания! – воскликнул Митя.

– В этом доме находилось знаменитое пароходство Трапани. Видишь эту табличку? – Олег Сергеевич показал на бронзовую табличку с надписью «Домъ А.А. Трапани», вмонтированную в угол дома.

– Я никогда её не замечал, – пробормотал Митя.

– Алексей Александрович Трапани служил в Российском обществе пароходства и торговли, а потом разбогател и открыл свои пароходные линии. А в окна этой башенки, – как гласит легенда, – он смотрел на свои пароходы, заходящие в порт. В окне пароходства Трапани – в окне уже первого этажа, – увидел Юрий Олеша первую в Одессе пишущую машинку. Тогда она была настоящим чудом техники. Но самое интересное – в другом. Помнишь – в самом начале сказки, – дом с башенкой, с которой доктор Гаспар Арнери смотрел, как штурмуют дворец Трёх Толстяков?

– Конечно, помню! – сказал Митя.

– «На углу был дом с высокой старой башней...». Юрий Карлович писал, что с неё открывался вид километров на пятьдесят вокруг. Именно дом Трапани и стал для Олеша прообразом этого дома с башенкой.

– Хотел бы я забраться на эту башенку – и посмотреть вокруг! – воскликнул Митя.

– Я тоже, – сказал Олег Сергеевич. – Ну что же, пойдём дальше, на Строгановский мост.

Олег Сергеевич и Митя вышли на мост и остановились на самой его середине, возле высокой железной решётки. С моста открывался вид на море и порт.

– Вот послушай, как Олеша описывает свой ежедневный путь в гимназию, – сказал Олег Сергеевич и открыл книгу:

«Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шёл налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту и всё по Греческой вверх до Ришельевской. Здесь направо – один квартал по Ришельевской – и налево: Дерibasовская.

Это был главный отрезок пути. По величине и по значению. Дерibasовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами.

Я почти всегда спешил, боясь опоздать, и насколько я помню, опоздал только один раз за восемь лет учения.



Путь был обставлен ритуалами, пронизан суеверием, закланиями. Так, например, следовало не пропустить некоторых плиток на тротуаре, во что бы то ни стало ступить на них. Или стоявший на Дерибасовской огромный старый дуб следовало обойти вокруг... Иначе в гимназии могли бы произойти несчастья – получение двойки или что-нибудь в этом роде».

– У меня тоже так, – сказал Митя. – Я наступаю только на определённые плитки. А в некоторых местах иду по бордюру.

– Ну что же, пойдём по маршруту Олеша.

И они зашагали дальше. На углу Дерибасовский и Екатерининской Олег Сергеевич остановился.

– Помнишь, Митя, когда в «Трёх толстяках» доктор Арнери после разрушения башни пришёл в центр города и поразился тому, что там идёт своя жизнь, словно ничего не произошло? «На углу, где горел трёхрукий фонарь, вдоль тротуара стояли экипажи. Цветочницы продавали розы». А ещё это: «Большие розы, как лебеди, плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев». Олеша – настоящий мастер метафор... Так вот, всё это было здесь, на углу Дерибасовской и Екатерининской. Напротив этого дома – знаменитого дома Вагнера, в котором в далёком 1817 году открылся Ришельевский лицей, – зимой и летом продавали цветы. Об этом писали и Валентин Катаев, и Лев Славин, и Константин Паустовский.

– Ришельевский лицей? Это в нём учился Олеша?

– Это распространённая ошибка, – улыбнулся Олег Сергеевич. – Нет, Юрий Карлович учился в Ришельевской гимназии, которая была открыта гораздо позже, в 1863 году. Собственно, гимназия отделилась от лицея и зажила самостоятельной жизнью в связи с преобразованием лицея в Новороссийский университет. Кстати, в лицее бывали в своё время и Пушкин, и Жуковский, и Адам Мицкевич. Ну что, пойдём дальше?

– Конечно! А что ещё пишет Олеша о Дерибасовской?

– Спасибо, что напомнил. Я даже сделал тут закладку. Вот, послушай:

«Я шёл в гимназию по главной улице города, которая называлась Дерибасовская, – вдоль магазинов с их витринами, кстати говоря, очень богатыми и нарядными, вдоль платанов, вдоль зелёных скамеек, вдоль часов магазина Баржанского, таких широких в диаметре и висевших так невысоко над улицей, что и вправду можно было идти вдоль них».

– Здорово! – сказал Митя.

– Магазин часов Баржанского находился совсем рядом с Пассажем, в тридцать первом номере. Тут же, недалеко, страстный футболист Олеша покупал себе бутсы. Вот послушай.

Олег Сергеевич перелистал несколько страниц книги и начал читать:

«Я собирал деньги на приобретение бутсов. Нужно было внести пять рублей – в этот миг я уже получил бы их. Затем следовало бы внести ещё три рубля».

Магазин этот помещался на углу Садовой и Дерибасовской. Хозяин был маленький стройный еврей – столбик, который не мог не нравиться и тем, что допускал кредит, и тем, что он был хозяин бутсов.

Вот с пятью рублями я вхожу в магазин. Столбик вырастает за прилавком. Он помнит, что я уже приходил к нему, да, да, ну как же, помнит; да, да, даю в рассрочку; совершенно верно, если внести пять рублей сейчас, то получите бутсы.

– Вот, пожалуйста. Пять рублей.

Я протягиваю руку, которая держит пятёрку. Пятёрка царского времени – синяя, довольно широкая, от подержанности ставшая атласной кредитка. Как я мог собрать столько! Не успеваю я протянуть пятёрку, как вспыхивает ослепительный белизной полукруг – о, из мира по ту сторону прилавка ко мне! Бутсы! Это хозяин достал бутсы!

Вы знаете, что такое бутсы?

Нет, вы не знаете, что такое бутсы!».

Митя зачарованно слушал.

– Ну что же, пойдём дальше, по Садовой? К зданию гимназии? – спросил Олег Сергеевич.

– Конечно! – словно очнувшись, сказал Митя.

Поравнявшись со зданием Главпочтамта, Олег Сергеевич остановился и раскрыл книгу.

– Юрий Карлович описывал свой школьный маршрут несколько раз. Вот послушай, Митя:

«Как мы шли в гимназию – не помню. Вероятно, сперва по Греческой (выйдя из дому – мы жили на Греческой, угол Польской), потом свернули на Ришельевскую, с Ришельевской в том месте, где командует здание театра, на Дерибасовскую и, пройдя всю Дерибасовскую, пошли затем направо, по Садовой, где командует здание почты и где на самом конце улицы и стоит гимназия. Другого пути, пожалуй, выбрать и нельзя было».



Главпочтамт и сейчас производит впечатление – особенно, когда заходишь вовнутрь! Ты бывал внутри?

– Нет, ни разу! – сказал Митя.

– Это понятно. Сейчас уже никто почти не пишет писем, а послышки отправляют курьерской службой.

Но Главпочтамт внутри нужно обязательно увидеть. Зайди туда как-нибудь, хорошо?

– Хорошо, Олег Сергеевич!

– А теперь давай пройдем вперед – до гимназии осталось совсем чуть-чуть... А вот и оно – здание гимназии. Вот что писал о нём Олеша:

«Итак, мы подошли к зданию гимназии – двухэтажное жёлтое здание, старинное, с небольшими окнами в толстых стенах, построенное, может быть, ещё при Павле, когда Одесса была ещё совсем молодым городом. Да, как раз угол – оно стоит на углу, угол Садовой и Торговой».

– Здорово! – сказал Митя. – Я и не думал, что тут была гимназия!

– В своё время этот дом был хлебным магазином легендарного греческого купца, действительного тайного советника Ивана Фундуклея, а в 1866 году он был переделан под гимназию. Мы с тобой останемся тут надолго – потому что этот пятачок, где на одном квартале находятся и Новый базар, и цирк, был для Олеша настолько родным и важным, что он описывал его многократно. Помнишь площадь Звезды в «Трёх толстяках»? Она была покрыта стеклянным куполом, словно гигантский цирк? Именно Новый базар со своей стеклянной крышей и стал прообразом этой площади. А прообразом самого большого в мире фонаря, который висел над площадью и светил так ярко, что ни в домах, ни на улицах поблизости не требовалось больше никакого света, стала... самая обыкновенная электрическая лампочка в доме у маленького ещё тогда Юры. Это сейчас электрическая лампочка кажется нам вещью самой собой разумеющейся. То ли было тогда, сто лет назад... Вот послушай.

И Олег Сергеевич раскрыл книгу:

«Могу сказать, что великая техника возникла на моих глазах.

Именно так: её ещё не было в мире, когда я был мальчиком... Были окна, за которыми не чернели провода, не горели электрические фонари, окна совсем не похожие на те, в какие мы смотрим теперь: за ними была видна булыжная мостовая, проезжал извозчик, шёл чиновник в фуражке и со сложенным зонтиком под мышкой, силуэтами вырисовывались крыши на фоне заката, и если что-либо представлялось глазу нового, невиданного, то это была водосточная труба, сделанная из цинка.

Появилось электрическое освещение. Я помню, как в нашу квартиру сходилась народ, чтобы посмотреть, как горит электрическая лампочка, – стояла целая толпа с поднятыми головами и полуоткрытыми ртами.

Это было чудо».

– Здорово, – сказал Митя.

– А вот ещё:

«Я, например, с отчётливостью помню появление первых электрических лампочек.

Это были не такого типа лампы, какие мы видим теперь – разом зажигающиеся в наивысшей силе света, а медленно, постепенно достигающие той силы свечения, которая была им положена. Как будто так... Возможно, я путаюсь в воспоминаниях, и на память мне приходит не домашняя лампа, а какая-то иная, увиденная мною в ту пору; пожалуй, домашние лампы уже в самую раннюю эпоху своего появления были так называемыми экономическими – то есть загорающимися сразу.

Во всяком случае, я помню толпы соседей, приходивших к нам из других квартир смотреть, как горит электрическая лампа.

Она висела над столом в столовой. Никакого абажура не было, лампа была ввинчена в патрон посреди белого диска, который служил отражателем, усилителем света. Надо сказать, весь прибор был сделан неплохо, с индустриальным щегольством. При помощи не менее изящно сделанного блока и хорошего зелёного, круто сплетённого шнура лампу, взяв за диск, можно было поднять и опустить. Свет, конечно, светил голо, резко, как теперь в какой-нибудь проходной будке. Но это был новый, невиданный свет! Это было то, что называли тогда малознакомым, удивительным, малопонятным словом – электричество!».

Эта электрическая лампочка, казавшаяся маленькому польскому мальчику такой огромной, такой яркой, и превратилась потом в его творчестве в самый яркий в мире фонарь.

– Почему польского, Олег Сергеевич?

– Олеша был поляком и в детстве даже произносил русские слова на польский манер. Русскому языку его учила бабушка, Мальвина Францевна, которая сама говорила по-русски с акцентом и часто неправильно ставила ударения. Но видишь, – он много и хорошо учился и стал великим русским писателем. А теперь – давай подойдем к цирку?



– Давайте, – радостно ответил Митя.

– Цирк для Юрия Карловича был чем-то волшебным и на какое-то время – самым важным в жизни. Он пишет о нём много. Очень много. И в воспоминаниях, и в «Трёх толстяках». Очень любопытно наблюдать, как детские воспоминания, описанные Олешей намного позже, легли в основу событий знаменитой сказки. Например, девочка-кукла. Собственно, в сюжет сказки тесно вплетены и события из взрослой жизни Юрия Карловича. В первую очередь – Суок. Но об этом чуть позже. А сейчас давай найдём удобное место, и я прочту тебе, что Олеша писал о цирке. Прочту немного – остальное ты сам прочтёшь дома.

И Олег Сергеевич начал листать книгу.

– А, вот оно:

«Мальчиком и многие годы потом, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего любил цирк...

Чаще всего я не тратил своих пяти копеек на завтрак. Я их откладывал, чтобы к концу недели иметь тридцать копеек. К этим тридцати копейкам ещё с большим трудом добывались двадцать, и в субботу я шёл в цирк, купив билет, который для гимназистов стоил именно пятьдесят копеек».

Билет в цирк был для него настоящим сокровищем. Вот послушай:

«Я приобрёл этот билет путем непосредственной затраты сил физических и душевных – ждал в очереди, верил, что дождусь, вдруг терял веру... Я честно добился его, этого листка тонкой бумаги с лиловым штампом!»

Вот он у меня в руках. Да, тонкая, почти просвечивающая желтоватая бумага, да, лиловый штампель... Но это право попасть в этот плюшевый рай, в этот рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, коридорчиков, эха, хохота, блестящих глаз, запаха духов, стука каблучков – мало ли чего!

Цирк в детстве произвёл на меня колоссальное впечатление. Мне иногда хочется сказать, что жёлтая арена цирка это и есть дно моей жизни. Именно так – дно жизни, потому что, глядя в прошлое, в глубину, я наиболее отчётливо вижу этот жёлтый круг с рассыпавшимися по нём фигурками людей и животных в алом бархате, в блестках, в перьях и наиболее отчётливо слышу стреляющий звук бича, о котором мне приятно знать, что он называется шамбарьер, а также крик клоуна: “Здравствуй, Макс!” – и ответ на него: “Здравствуй, Август!”».

– Здорово... – сказал Митя зачарованно.

– Помнишь, когда доктор Гаспар Арнери возвращался ночью из дворца Трёх Толстяков? Когда стража не пустила его вовнутрь? Он тогда ещё сильно проголодался и остановился у балаганчика дядюшки Бризака, откуда вкусно пахло жареной бараниной с луком? Старого клоуна, открывшего ему дверь, тоже звали Август. Как тесно переплетены жизнь и творчество...

А знаешь, Митя, что любопытно? Гимназист Юрий Олеша вовсе не мечтал стать писателем. Он мечтал стать цирковым актёром! Вот послушай:

«Мальчиком и многие годы потом, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего любил цирк. Да и не только в качестве зрелища воспринимал я цирк – нет, отношение было сложнее, ещё и мысли о славе переплетались у меня с цирком: я представлял себе, что буду знаменитым цирковым актёром, именно прыгуном!».

Все эти детские впечатления и мечты стали потом частью «Трёх толстяков».

– Олег Сергеевич, а когда вы расскажете о Суок? Помните, вы обещали?

– Конечно, помню. Давай дойдём до Горсада, найдём там свободную скамейку, и я расскажу тебе эту историю.

Олег Сергеевич быстро зашагал по Коблевской в сторону Собора, и Митя, спеша за ним, спросил:

– Вы занимались спортом?

– Почему занимался? – улыбнулся Олег Сергеевич и ещё немного ускорился. На каждый его шаг приходилось два Митиных, так что со стороны казалось, что Митя бежал. Собственно, так оно и было.

Через четыре минуты они стояли у стула. Знаменитого двенадцатого стула. Возле него, как обычно, стояла очередь из желающих сфотографироваться.

– Отдыхимся? – спросил Олег Сергеевич.

– А я и не запыхался! – гордо ответил Митя.

– Ну что же, прекрасно. А вот и свободная скамейка. Ты уже готов слушать?

– Всегда готов! – рассмеялся Митя.

– Так вот. Юрий Карлович перенёс в свою сказку не только одесские улицы, дома и свои детские впечатления. Он перенёс в неё живых людей. Одних героев он назвал именами своих знакомых и близ-



ких, другим – приписал их черты. Я уже говорил тебе о клоуне Августе. А вот, например, доктор Гаспар Арнери. Он во многом списан со знаменитого одесского доктора Главче, с сыном которого – Андронкой, – дружил юный Олеша. Очки и трость – неперменные атрибуты настоящего доктора, не правда ли? – улыбнулся Олег Сергеевич.

И, видя растерянность на Митином лице, добавил:

– Тогдашнего доктора, разумеется.

Теперь кукла. Ключевой персонаж сказки. Ожившая кукла – удивительный, интереснейший персонаж. И он тоже взят Юрием Карловичем из жизни. Помнишь, кем он мечтал стать? Цирковым артистом. Прыгуном. Акробатом. Он так хотел уметь делать сальто-мортале, что даже пытался научиться этому в гимнастическом зале. И считал, что эта мечта уметь делать сальто-мортале была в нём первым движением художника. Недаром Суок – гимнастка, акробатка. И Тутти, её брат, тоже становится акробатом. Олеша писал в воспоминаниях о том, что на цирковом представлении влюбился в акробатку-девочку, выступавшую в трио вместе с двумя акробатами-мальчиками. А потом... увидел её у входа в цирк. И оказалось, что девочка эта – переодетый мальчик. Я не буду тебе зачитывать этот эпизод – ты сам прочтёшь его в «Книге прощания». Я прочту тебе другой – там, где говорится о человеке-кукле.

Олег Сергеевич нашёл нужную закладку и раскрыл книгу:

«Я видел как-то в цирке номер, который тогда назывался “Мота-фозо”. Мота-фозо – это человек-кукла. Не какая-нибудь экстравагантная кукла – страшная или комическая – нет, это просто молодой человек во фраке и в цилиндре, просто юный франт с голубо-розовым, как у куклы, лицом и с синими, нарисованными почти до щёк ресницами. Ну и конечно, как у кукол же, неподвижные, хотя и лучащиеся глаза. Его, этого франта, выносили на арену. Он был кукла. Это все видели. Настолько кукла, что когда униформа, вдруг забыв, что это кукла, переставал её поддерживать и отходил, она падала. Причём под обихий пангический возглас цирка падала назад, навзничь. Её, сокрушенно покачав головой, опять поднимали.

Продельвался целый ряд конфликтов, рассчитанных как раз на то, чтобы создавалось впечатление куклы, и номер заканчивался тем... Тем заканчивался... О, по приказу детства он заканчивался тем, что куклу несли по кругу партера, останавливаясь то перед одним мальчиком, то перед другим, то перед отплатнувшейся в застенчивости девочкой – и мы могли чуть ли не целовать его в щеки, этого старшего мальчика в белом жилете; его ресницы не дрожали, не дрожали ноздри, но всё же прелестная душа улыбки, маска смеха дружески общалась с нами, на миг как бы появляясь на застывшей маске. Где ты, мой старший брат – сказка? Вдруг под звуки галопа он срывал с головы цилиндр и высоко поднимал его над головой, и от радости, что ожил, воздымались вверх – цилиндр, перчатка, ещё что-то (плащ?), – он убегал с арены, прямо-таки весь засыпанный детскими ладошками – мало того, даже пятками, потому что некоторые малыши от восторга валились на спину!».

Митя рассмеялся.

– Прекрасно, правда?

– Правда, Олег Сергеевич!

– Ну, а теперь об имени. Суок... Как необычно оно звучит. И тем не менее, это имя – точнее, фамилия, – совершенно реального человека. Жены Юрия Олеша. Именно ей посвящена сказка. Её звали Ольга Густавовна, и она была одной из трёх сестёр Суок, дочерей известного одесского учителя танцев, чешского происхождения. Сначала Юрий Карлович был влюблён в Серафиму, младшую сестру. Это длинная и запутанная история. Кстати, история с посвящением книги – тоже длинная и запутанная. Изначально она была посвящена Валечке Грюнзайд – московской девочке, в которую Олеша влюбился уже в Москве. Кстати, тут тоже не обошлось без куклы. Олеша жил тогда у Валентина Катаева в Мыльниковом переулке, и брат Ильи Ильфа, Михаил Файнзильберг, принёс к ним в дом куклу из папье-маше, в точности напоминающую годовалого ребёнка. Катаев и Олеша, забавляясь, сажали куклу на окно, откуда она часто вываливалась на улицу, вызывая ужас у прохожих. Однажды по переулку проходили две девочки, и, увидев куклу, остановились получше её разглядеть. Одной из этих девочек и была Валечка Грюнзайд. Олеша влюбился в неё немедленно и бесповоротно. А для того, чтобы она ответила ему взаимностью, пообещал написать сказку – не хуже, чем у Андерсена. Правда, к тому моменту, как «Три толстяка» были опубликованы, Валентина Петровна уже стала женой Евгения Петрова... Что, к счастью, не помешало их дружбе.

– Дружбе Олеша с Валентиной?

– Дружбе всех со всеми, – улыбнулся Олег Сергеевич. – Ну что, пойдём домой? Ко мне должен прийти приятель.

– Давайте пойдём.



– Так же быстро?

– Так же быстро! Только чуть помедленней.

Обратно шли той же дорогой. В окне аптеки на Дерибасовской была реклама с большим нарисованным красным сердцем.

– Кстати, забыл рассказать тебе о стуже сердца, – сказал Олег Сергеевич. – Расскажу уже в нашем дворе. И вот, наконец, Строгановский мост. Дом Трапани. Налево – улица Олешки.

Поравнявшись с мемориальной доской, Митя остановился и спросил:

– Олег Сергеевич, так в какой же квартире жил Юрий Олеша?

Олег Сергеевич улыбнулся:

– Сейчас расскажу. Потерпи ещё несколько минут.

Митя стоял и смотрел на профиль писателя, высеченный в мраморе. Олег Сергеевич молча стоял рядом. Каждый думал о чём-то своём.

– Так вот ты где! – раздался вдруг громкий раздражённый голос.

Митя вздрогнул.

Из арки, ведущей во двор третьего номера, быстрым шагом вышла невысокая пожилая женщина. Коротко стриженные волосы её чем-то напоминали прокез – возможно, оттого, что она просто излучала волнение и раздражение, – а элегантные блузка и брюки резко контрастировали с домашними тапочками, обутыми на босу ногу.

– Так вот ты где! – повторила она, подходя к Мите. – Я тебе уже целый час кричу, а ты не отзываешься! Где тебя носит?

Неизвестно, что ещё услышал бы Митя в свой адрес – но бабушка вдруг осеклась, увидев Олега Сергеевича. Не узнать его она не могла – как и доктора Гаспара Арнери в «Трёх толстяках», его знал весь город.

– Прошу вас, не переживайте...

– Илона Матвеевна, – подсказала бабушка.

– Не переживайте, Илона Матвеевна. Мы гуляли вместе. Я рассказывал Мите о Юрии Олеше и его одесских местах.

– Вот как? Замечательно. Но Дима ничего не сказал о том, что собирается уходить так далеко и надолго! Так почему ты не предупредил? – вновь повисла она голос.

Митя втянул плечи.

– Илона Матвеевна, зачем вы так. Уверен, в следующий раз Митя исправится. А у меня к вам есть вопрос.

– Пусть он сам за себя отвечает, Олег Сергеевич! – не успокаивалась бабушка.

– И всё же – можно задать вам вопрос?

– Пожалуйста, – ответила Митина бабушка. Вежливость трудно давалась ей в эту минуту. Эмоции захлёстывали её.

– Давайте зайдём во двор? Там всё же удобнее.

– Диме пора обедать.

– Нам хватит всего нескольких минут.

– Ну ладно, пойдёмте. Дима, иди вперёд. Да поскорее!

– Простите, Олег Сергеевич, – шепнул Митя.

Олег Сергеевич подмигнул.

Необычная троица вошла в арку и затем во двор.

Время во дворе словно бы замерло. Зной по-прежнему заливал его. Кот так и дремал на скамейке, теперь растянувшись ровно посередине её.

– Давайте присядем? – предложил Олег Сергеевич, глядя на кота.

– Давайте постоим, – пробурчала бабушка. – У нас борщ остывает.

– Ну что ж, хорошо. Митя рассказал, что вы много лет проработали учителем истории. А потом разочаровались и в науке, и в культуре. Это правда?

– Да, это правда. Учителя получают сейчас копейки. Да и кому нужна вся эта учёба? Выживают только наглые и нахрапистые неучи без комплексов. О какой культуре может идти речь? А уж тем более, об искусстве!

– Я вас понимаю. Времена сейчас такие. Когда говорят пушки, музы молчат, – правда, Илона Матвеевна?

– Именно так, – ответила твёрдо Митина бабушка.

– И хоть сейчас пушки тоже молчат...

– Но до культуры никому нет дела.



– Олег Сергеевич, вы обещали сказать, в какой квартире жил Олеша, – вмешался в разговор Митя.

– Не вмешивайся, когда говорят старшие! – одёрнула его бабушка. – Да, кстати, в какой? Я тоже гадаю об этом каждый раз, когда прохожу мимо мемориальной доски.

– Я обязательно скажу. Только ответьте ещё на несколько вопросов.

– Диме нужно обедать, Олег Сергеевич. Значит, в следующий раз.

Вдруг из парадного послышался громкий лай.

– Джек, – улыбнулся Митя.

Через секунду весёлым лаем заполнился весь двор. Маленький рыжий шпиц подскочил к скамейке и лаял на кота, Митю, Олега Сергеевича и бабушку одновременно.

– Джек, тише на тридцать децибел! – послышался мужской голос. Высокий мужчина в очках нёс на плече большой ковёр.

Джек продолжал лаять. Кот открыл глаз, потом второй, лениво потянулся и спрыгнул со скамейки. Джек прыгал вокруг него, громко лая. Наконец кот неторопливо пошёл к старому водопроводному крану, когда-то кем-то установленному посреди двора, и лёг в его тени. Шпиц побежал за ним.

– Оскар Борисович, вы что, ковёр собрались выбивать? – спросила возмущённо Митина бабушка.

– Ну да. А что, Илона Матвеевна? – спросил мужчина с недоумением.

– Сейчас обеденное время. Многие отдыхают. Неудачная затея!

– Забавно. Очень забавно, – улыбаясь, сказал Олег Сергеевич.

– Что забавного? – повернувшись к нему, спросила с возмущением бабушка.

– Ещё Катаев писал, что во дворе у Юрия Олеша часто выбивали ковры. Надо же – сто лет прошло, а ничего не изменилось!

Замолчавший на минуту Джек снова залаял.

– Джек, я же сказал, тише на тридцать децибел! – повторил громко Оскар Борисович.

– Ваш Джек даже в децибелах разбирается? – засмеялся Митя.

– Ещё как разбирается! Очень смыслённый, – улыбнулся Оскар Борисович и начал развешивать ковёр на веревке рядом со скамейкой.

– Оскар Борисович, я же сказала, что это неудачная затея! – бабушка решительно подошла к нему.

– Это почему? Если я кого-то разбужу, он крикнет мне с балкона.

– Мы с Олегом Сергеевичем собрались обсудить серьёзные вещи. Вы будете нам мешать, – сказала бабушка.

– Илона Матвеевна, вы же сказали, что Мите пора обедать. И что борщ остывает, – улыбнулся Олег Сергеевич.

– Ничего. Борщ подождёт, – ответила решительно бабушка. Полчаса ничего не решат. Присаживайтесь, Олег Сергеевич. Так что вы хотели спросить?

Олег Сергеевич с Митей переглянулись, с трудом сдерживая смех.

– А мне можно поучаствовать в вашей учёной беседе? – спросил Оскар Борисович.

Бабушка уже собралась было ему отказать, но Олег Сергеевич опередил её:

– Конечно. У нас нет секретов. Садитесь рядом с нами.

– Только если не будете курить, – буркнула Илона Матвеевна. – И скажите своему Джеку, чтобы уменьшил громкость на сто децибел!

Словно понимая разговор людей, Джек молча подбежал к Оскару Борисовичу и сел у его ног.

– Я же говорил – смыслённый пёс, – Оскар Борисович ласково потрепал Джека по голове.

– Олег Сергеевич, так что вы там спрашивали насчёт культуры? – сказал Илона Матвеевна, внимательно разглядывая Митю. Она поправила ему причёску, оглядела его одежду – опрятная ли, и взгляд её упал на свои собственные тапочки.

– Ой, – сказала она, пряча ноги под скамейку. – Извините. Так торопилась, что забыла обуться!

– Не смущайтесь, – сказал Олег Сергеевич. – Мы же в Одессе. Я на такой случай держу у порога кроксы. Удобно и практично. А вообще – люблю кеды.

– И я люблю, – сказал Митя.

– Ну что, начнём?

– Начнём, – сказала Илона Матвеевна.

– Итак, – начал Олег Сергеевич. – Культура и искусство.

– Да. Культура и искусство. Я считаю, они никак не помогут Диме выжить в нашем жестоком мире. А мальчик должен уметь зарабатывать, чтобы накормить себя и свою семью.



– Согласен с вами полностью. Мальчик, то есть мужчина, должен быть опорой для своей семьи. Но будут ли ему в этом мешать культура и искусство? Давайте начнём с культуры.

– Давайте.

– Понятие культуры у нас часто смешивают с понятием искусства, а это не так. Сам латинский термин *cultura* имел своим первым значением возделывание и впервые встречается в трактате о земледелии Марка Порция Катона.

– Вот это да! – воскликнул Митя.

– Тихо, – одёрнула его бабушка.

– Очень интересно, – сказал Оскар Борисович.

– Так вот, в своём трактате Катон особо подчёркивал важность особого душевного отношения к возделыванию земли – отношения, без которого нельзя добиться успеха. Вот это особое отношение и стало ключевым. Во всей дальнейшей литературе термин «культура» употреблялся как синоним греческому *paideia* – воспитание.

– И до сих пор употребляется? – спросил Оскар Борисович.

– Сегодня понятие «культура» имеет огромное число значений, но все они объединены единым смыслом – как накопленные человечеством в процессе постоянного совершенствования знания и умения.

– Общий уровень развития человечества?

– Именно. Всё то, что противостоит беспорядку и хаосу. Греки считали, что только культурный человек, являясь добродетельным и верным гражданином, может занять своё естественное место в прекрасном строе Космоса. То есть, по-нашему, Вселенной. Илона Матвеевна, разве вы не хотите, чтобы Митя был добродетельным и верным гражданином? – Олег Сергеевич посмотрел на бабушку.

– Олег Сергеевич, не передёргивайте. Конечно, хочу.

– Ну вот и прекрасно. Мы часто забываем, что искусство является не синонимом культуры, а его составной частью. Наряду с наукой, нравственным воспитанием, организацией быта и многим другим. Вот, например, бытовая культура, о которой у нас многие забыли. Культурный человек никогда не будет писать краской на стенах домов или выбрасывать мусор не в урну, а себе под ноги. Или, например, гонять котов. Вы же не хотите, Илона Матвеевна, чтобы Митя бросал мусор себе под ноги?

– Олег Сергеевич, я уже сказала – не передёргивайте. Дима – мальчик из приличной семьи. Кстати, почему вы называете его Митей?

– А вы присмотритесь внимательнее. *Митя* подходит ему гораздо больше, – улыбнулся Олег Сергеевич.

– Мне *Митя* больше нравится, – сказал Митя.

– Мало ли что тебе нравится, – сказала строго бабушка, осеклась и махнула рукой.

– Можно продолжить? – спросил с улыбкой Олег Сергеевич.

– Продолжайте, – ответила в сердцах бабушка.

– Итак, мы все согласились, что культура важна и нужна. Давайте перейдём к искусству.

– Давайте! – сказал Митя. Бабушка хотела снова одёрнуть его, но в последний миг сдержалась.

– С древних времён лучшие умы человечества пытаются определить, что такое искусство и зачем оно нужно.

– Ни зачем не нужно, – пробормотала себе под нос бабушка.

– Давайте сначала разберёмся с понятиями. Как вы думаете, Илона Матвеевна, – что такое искусство? Бабушка задумалась на минуту и ответила:

– Ну как что. Это же понятно. Живопись, скульптура, литература, музыка...

– То есть любая живопись – это искусство? Даже самая неумелая?

– Ну... Нет.

– А неуклюжие стихи с плохой рифмой – это искусство?

– Нет. Искусство – это то, что красиво.

– Замечательно. А как вы считаете, Илона Матвеевна: кулинария или парикмахерское дело – это искусство?

– Конечно же нет! Это просто смешно.

– Видите, как интересно. А французский философ Гюйо, например, считал искусством не только живопись и литературу, но и искусство костюмерное, вкусовое и осязательное.

– Гюйо крут, – улыбнулся Митя.

– Ну, знаете... Это его мнение, – сказала бабушка. – Своё мнение я вам уже сказала. Искусство – это красота.



– Не буду мучить вас расспросами о том, что такое красота. Скажу лишь, что мыслители спорят об этом уже несколько тысяч лет.

– Вот это да! – воскликнул Митя. – А я думал, что это понятно и очевидно.

– Если бы! У древних греков, например, понятие красоты было неотделимо от понятия добра. А вот основатель эстетики немецкий философ Баумгартен считал основной целью искусства – красоту.

– Я согласна с Баум...

– Баумгартеном, – подсказал Олег Сергеевич.

– Да, с Баумгартеном, – сказала Илона Матвеевна.

– Тогда вы не согласны с Зальцером и Мозесом Мендельсоном, которые считали главной целью искусства и красоты воспитание нравственного чувства, и частично не согласны с Кантом и Шиллером...

– Как-то всё слишком сложно, – сказала Илона Матвеевна.

– Что же сложного? Всё очевидно, – возразил Оскар Борисович.

Бабушка раздражённо посмотрела на него, подумала секунду и ответила:

– Для меня всё очевидно! А вот для Димы сложно.

– Илона Матвеевна, вы сильно недооцениваете Митю, – продолжил Олег Сергеевич. Но всё же, скажу проще. Итак, два основных взгляда на цель искусства таковы – это или добро, или красота. И то, и то – хорошо, правда?

– Правда, – согласилась бабушка.

– И, тем не менее, Лев Николаевич Толстой писал о том, что искусство стало пустой забавой праздных людей.

– Вот! Я согласна с Толстым, – оживилась Илона Матвеевна. – Всё-таки великий писатель.

– Позвольте, но ведь Толстой написал это не просто так, – возразил Оскар Борисович.

– Да, вы правы. Он написал это в пику деятелям современного ему искусства. Лев Николаевич считал, что между хорошим искусством, передающим добрые чувства, и дурным, передающим злые чувства, совершенно стёрлась разница.

– А разве не так? – спросила Илона Матвеевна.

– И потому искусство стало не тем важным делом, каким оно предназначено быть, а пустой забавой, – продолжил Олег Сергеевич. – А ведь главное его предназначение – переводить в чувства самые высшие истины, которые познаны человечеством.

– Ну я это же самое и говорила.

– То есть вы согласны, Илона Матвеевна, что настоящее искусство является важным делом?

– Ну конечно!

– Вот! И я с вами согласен. Да что я? С вами согласен сам Толстой! Он считал, что искусство есть один из двух органов прогресса человечества. Если через слово человек передаёт свои мысли, то через образы искусства – свои чувства. И люди настоящего и будущего именно через искусство могут понимать чувства людей прошлого. А самое интересное, что всего этого искусство не может добиться без науки. Потому что другой орган прогресса человечества – это как раз наука. Искусство переводит в область чувства те истины, которые открывает и изучает наука.

– Здорово, – сказал Митя.

– Кроме того, Толстой считал, что искусство – одно из необходимых средств общения, без которого не могло бы жить человечество. Теперь даже как-то и неловко подумать, что искусство ни для чего не нужно. Правда, Илона Матвеевна?

– Вы загнали меня в угол, Олег Сергеевич. Получается, что так.

– Разве это я? Это Толстой. Он тоже считал, что искусство есть великое дело. И что настоящее искусство может сделать так, чтобы чувства братства и любви к ближнему стали для всех привычными и естественными.

– Как красиво, – сказал Оскар Борисович.

– Красиво, но неправдоподобно, – пробурчала бабушка.

Джек вдруг залаял, увидев нового кота, но тут же умолк, посмотрев в глаза своему хозяину.

– Какой смущённый пёс, – улыбнулся Оскар Борисович. – Очень смущённый. Пожалуй, назову его Шерлоком. Джек, как тебе новое имя?

Джек вильнул хвостом.

Все рассмеялись.

– Пока неправдоподобно, Илона Матвеевна, – продолжил Олег Сергеевич. Но так будет, поверьте.



А знаете, что самое парадоксальное? Чем больше культурных людей будет в обществе, тем быстрее улучшится и материальная часть жизни.

– Это почему же? – спросила бабушка.

– А вот почему. Человек, полюбивший искусство, привыкает к красоте и гармонии, а потом эту привычку переносит и в свою жизнь – старается установить гармонию и в том месте, в котором живёт, и в отношениях с окружающими. А гармония в отношениях прямо ведёт к благополучию в государстве. Это раз. Человек, любящий красоту, старается сделать так, чтобы красота его окружала. А это значит, что он будет строить красивые дома и заботиться о чистоте в своём городе. Это два. Есть что-то неверное в том, что я говорю, Илона Матвеевна?

– Нет ничего неверного, – ответила бабушка.

– Искусство развивает хороший вкус. Хороший вкус, в свою очередь, способствует развитию понятия гармонии, добра и внутренней достаточности. Такой человек в гораздо большей степени будет справедливым и честным. А общество, в котором будет достаточно таких людей, будет благополучным. Не зря все великие правители покровительствовали искусствам. Они это знали.

– Интересно, как всё связано – хороший вкус и благополучие общества, – сказал задумчиво Оскар Борисович.

– Именно. И, кстати, творчество Юрия Карловича Олеши, о котором мы говорили сегодня с Митей – это прекрасный образец хорошего вкуса в литературе. Мы ходили сегодня по местам Юрия Олеши. Тем местам, которые он описывал и в своих воспоминаниях, и в «Трёх толстяках». Мы наблюдали, как детские воспоминания Олеши стали частью прекрасной сказки. Я обещал Мите прочесть последний на сегодня отрывок – и дать ему прочесть всю книгу. Послушаете, Илона Матвеевна? Подождёте ещё чуток с обедом?

– С удовольствием.

– Митя, помнишь тот момент, когда Суок сидела на траве рядом с наследником Тутти и вдруг услышала равномерный повторяющийся звук? – повернулся к Мите Олег Сергеевич. – Она ещё подумала, что это тикают часы?

– Да, Олег Сергеевич! Оказалось, что это бьётся его железное сердце!

– Железное, которое оказалось живым. У тебя отличная память. А теперь – послушайте:

«Однажды, когда я был маленьким мальчиком, лёгши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук – глухой, но очень чёткий, одинаково повторяющийся. Я стал тереть одеяло, простыню, убеждённый, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку... ничего не обнаружилось. Я лёг, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.

– Бабушка, – обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате. – Ты слышишь?

Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, пришло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьётся сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уже давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые».

Маленького Юру тоже воспитывала бабушка. Всё повторяется.

– Вы знаете – это просто поразительно! – сказала Илона Матвеевна.

– Теперь вы видите, как реальная жизнь становится основой для творчества... Ну что же, я обещал сказать вам, в какой именно квартире жил Юрий Карлович Олеша.

Так вот – он жил как раз в той квартире, в которой сейчас живёте вы.

И Олег Сергеевич молча протянул Мите «Книгу прощания».

Через две недели в квартире на втором этаже раздался звонок. Олег Сергеевич открыл дверь.

– Добрый день, Олег Сергеевич!

– Рад тебя видеть, Митя. Проходи. Как твои дела? Как бабушка?

– Ой, это просто удивительно! Бабушка рассказал маме с папой об Олеше. Теперь вся наша семья читает «Книгу прощания». Можно я верну её вам чуть попозже?

– Конечно, можно, – улыбнулся Олег Сергеевич. – Бабушка уже не ругает тебя за то, что ты много читаешь? Не выгоняет тебя на улицу?

– Мне кажется, она уже никогда не будет ругать меня за это, Олег Сергеевич. Но я уже и сам...



– Что сам? – улыбнулся Олег Сергеевич.

– Сам выхожу. Мишка приехал. Мы вчера с пацанами играли в футбол.

– В парке?

– В парке.

– Я очень рад этому. Всему этому. Ты, кстати, знаешь, что парк Шевченко раньше назывался Александровским?

– Нет, не знаю.

– Император Александр Второй сам посадил первое дерево в этом парке. Потом рядом с ним установили колонну в его честь. Сейчас она рядом со стадионом. Но давай не будем стоять в коридоре – проходи.

Зайдя в комнату, Митя по привычке начал рассматривать книги.

– А вот же у вас открытка с этой колонной! – сказал он взволнованно, показывая на полку. – Я никогда не думал, что это в честь императора!

– Если внимательно изучать историю нашего города, откроется множество удивительных тайн и загадок.

– Олег Сергеевич, я приходил к вам каждый день, но никто не открывал. А у меня такие новости! Я должен срочно вам всё рассказать.

– Мы с женой уезжали в Киев, на литературный фестиваль. Извини, что не предупредил тебя. Так что же за новости?

– Оказывается, когда в прошлом году родители делали в квартире ремонт, они нашли за обоями старинную открытку! А сказали мне об этом только сейчас.

– Здорово! И что?

– Как что? Открытка – на польском языке!

– А вот это уже интересно. Вы смогли её прочесть?

– Пока нет, там очень мелкий почерк. Но я уже нашёл польско-русский словарь! Как вы думаете, эту открытку написал Олеша?

– Скорее всего, нет. Возможно, она пришла его родителям или бабушке. Юрий Карлович уехал из Одессы в 1921 году, через год после этого его родители уехали в Польшу. То, что открытка сохранилась – это чудо. Обязательно прочтите её.

– Но это ещё не всё. Они нашли вот это!

Митя разжал ладонь. В ней лежал прямоугольный серебряный жетон, на котором были изображены два кузнеца с молотами.

– Вот посмотрите – тут написано: «Художественно-промышленная выставка. Одесса, 1910 год».

Олег Сергеевич взял в жетон в руки, внимательно рассмотрел его.

– А вот это – большая редкость и большая удача. Художественно-промышленная выставка проходила как раз в нашем Александровском парке и стала событием огромной важности для Одессы. Чего стоит только полёт Уточкина прямо с территории выставки через залив в Дофиновку. К открытию выставки бельгийцы пустили в Одессе трамвай – помнишь, Олеша пишет об этом? Кстати, доктор Главче водил его вместе с Андронькой на эту выставку. Самое большое впечатление на мальчишек произвели, конечно же, аэропланы в огромном павильоне.

Олег Сергеевич замолчал. Он ещё раз внимательно рассмотрел жетон и протянул его Мите.

– Чудо. Наша жизнь вообще наполнена маленькими чудесами. Нужно только уметь их замечать. Вот ты, конечно же, заметил прекрасную плитку на полу в нашем парадном?

– Да, там ещё есть непонятная надпись.

– Ну, не такая уж она непонятная. Завод Маривил в Радоме.

– А что это означает?

– Это название завода, на котором сделали эту плитку. И знаешь, что интересно? Радом – городок в Польше, недалеко от Варшавы.

– Просто удивительное совпадение! – воскликнул Митя.

– Совпадение? – улыбнулся Олег Сергеевич. – Ну что ж, не стой, присаживайся, – Олег Сергеевич указал Мите на большой овальный стол, стоящий в центре комнаты, рядом с книжными полками.

– У вас такой красивый стол! Он, наверное, старинный?

– Да. Ему уже сто пятьдесят лет. Я привёз его из Львова. Он сделан из ореха, и мне за ним замечательно работается. Кстати, хотел спросить – как твоя поэма?

– Я уже закончил её. И подарил маме на день рождения – он был позавчера.



– И как? Маме понравилось?

– Очень понравилось! И маме, и папе, и бабушке. Они сказали, что не ожидали от меня такого.

– Я очень рад за тебя. Теперь нужно развивать успех и писать ещё.

– А я уже начал рассказ, Олег Сергеевич. О нашем дворе.

– Молодец. Помнишь Олешу? Ни дня без строчки.

– Да, я теперь всё время вспоминаю эту фразу.

Митя поёрзал на стуле и спросил нерешительно:

– Олег Сергеевич, извините за нескромный вопрос – у вас случайно нет компота?

Олег Сергеевич рассмеялся:

– Я скажу жене. Ей будет приятно. Нет, компота нет, мы вернулись вчера вечером и не успели его сварить. Зато у меня есть холодная кола. Хочешь?

– Ой, хочу! Конечно, хочу! Бабушка запрещает мне её пить. Говорит, что она очень вредная.

– Ты знаешь, это тот случай, когда бабушка права. Так что? Не будем?

– Будем, будем! Мы же ей не скажем!

И оба рассмеялись.

Олег Сергеевич вышел на кухню и вернулся с двумя стаканами, над которыми парили два облачка из мелких пузырьков.

– Ой, как вкусно! – сказал Митя, отпивая глоток.

– Особенно в такую жару, – улыбнулся Олег Сергеевич.

Стоявший на столе старинный телефон вдруг зазвонил.

Митя вздрогнул.

– Ой. Я думал, он стоит просто для красоты.

Олег Сергеевич улыбнулся и снял трубку:

– Да. Да, Оскар. Правда? Это потрясающе. Через пятнадцать минут? Жду.

– Оскар Борисович? – спросил Митя.

– Да. Оскар – удивительный человек. Иногда он поражает меня до глубины души. Сейчас раздобыла где-то «Начала» Катона, изданные в серии «Коллекция Буде», и хочет их обсудить.

На Митином лице удивление соединилось с непониманием.

– Помимо трактата о сельском хозяйстве, Марк Порций Катон Старший написал «Начала» – историю Рима со дня его основания. Это первое историческое сочинение на латыни в прозе. А «Коллекция Буде» – это французская серия, в которой греческая и римская классика издана на двух языках.

– Французском и русском? – спросил Митя.

– Французском и языке оригинала, – засмеялся Олег Сергеевич. – А вообще Оскар – настоящий друг. Чего только стоит его феерический выход с ковром в самый нужный момент?

Митя помолчал немного и спросил:

– Олег Сергеевич, а над чем вы сейчас работаете?

– Пишу цикл статей об одесских художниках, живших сто лет назад. Их называли «независимыми».

– Олег Сергеевич, я недавно видел по телевизору передачу с вами. И до этого видел. Почему ведущие говорят, что вы воскрешаете мёртвых?

– О, Митя, это очень интересный вопрос, и я не знаю, готов ли ты услышать честный ответ на него.

– Готов, Олег Сергеевич.

– Точно?

– Точно!

– Хорошо. В прошлый раз я показал тебе, как жизнь становится литературой. Сейчас я покажу тебе, как литература становится жизнью. То, что ты сейчас услышишь, может показаться тебе странным и даже шокирующим. Но мне почему-то кажется, что ты способен это понять.

Митя сделал серьёзное лицо.

– Не нужно, – улыбнулся Олег Сергеевич. – Важно быть, а не казаться.

Митя засмеялся.

– Слышал ли ты когда-нибудь о том, что весь наш мир – это книга?

– Нет, Олег Сергеевич, – поражённо ответил Митя.

– Что такое Библия, ты, конечно же, знаешь. Основа Библии – Пятикнижие Моисеево, или Тора. Так вот, иудеи считают, что Бог создавал наш мир, руководствуясь Торой. Книга была для него планом.



Самое первое предложение самой первой части Торы – Брейшит, или Бытие, звучит так: «В начале Бог сотворил небо и землю». Казалось бы, всё понятно. Но это только на первый взгляд. Перевод почти всегда упрощает оригинал, а ведь в Торе нет ничего случайного. На иврите эта фраза звучит так: «Берешит бара элоким эт а-шамайм ве-эт а-арец».

– Олег Сергеевич, как вы всё это запомнили?

– Так вот, мудрецы утверждают, что частица «эт» не просто повторяется в этом предложении дважды. В этом есть потаённый смысл, который заключается в том, что «эт» – это первая и последняя буква ивритского алфавита, алеф и тав. То есть, прежде всего мира был создан алфавит, через буквы которого энергия Творца смогла создать наш мир – как материальный, так и духовный.

Казалось бы, как земные буквы могли создать мир? На это есть ответ. Наш мир – это мир форм, и Божественная, духовная энергия может спуститься в него только через созданные заранее формы. Духовным силам нужен проводник. Вот почему у каждого произнесённого слова есть сила – потому что, будучи произнесённым, оно сразу обретает энергию. А слово написанное вообще обладает огромной силой. Ты никогда не задумывался о том, что практически все «выдумки» писателей-фантастов через некоторое время становятся реальностью?

– Я как раз недавно об этом думал. Жюль Верн, например, – сказал Митя.

– Герберт Уэллс, Александр Беляев... Уэллс с точностью до года предсказал применение ядерного оружия и танков в военных действиях. Артур Кларк предсказал появление интернета, планшета iPad, высадку человека на Луне и множество других кажущихся нам уже обыденными новшеств. Роботы, придуманные Карелом Чапеком, и десятки других примеров. Кстати, недавно опубликован прогноз о будущем Айзека Азимова, сделанный им пятьдесят лет назад, во время Всемирной выставки 1964 года. Более половины прогнозов сбылись – о трёхмерном кино и о мобильных телефонах, о повсеместном распространении компьютеров и беспроводной технике, о росте населения Земли и атомных электростанциях. И как теперь понять – они сбылись потому, что великий фантаст заглянул в будущее или потому, что он сам смоделировал это будущее?

– Наверное, смоделировал! – сказал Митя.

– Я тоже так считаю. Но самое удивительное – в другом.

Олег Сергеевич на мгновение задумался и продолжил:

– Бог творит мир непрерывно. То есть и сейчас, в тот момент, как мы с тобой разговариваем. Он пишет Книгу жизни каждого из нас – и вместе с ней книгу развития мира. Но он пишет её не сам. Ему помогают люди. Люди, постигшие волю Бога, не только исполняют её, но и участвуют в её формировании. И писатели играют в этом процессе первоочередную роль. Вот почему так важно писать утопии. Они моделируют в наших мыслях – а потом и в реальности, – лучшее будущее. К сожалению, их сейчас почти не сочиняют – все увлеклись антиутопиями и катастрофами. Но, к счастью, сила слова дана не каждому. Бог доверяет моделировать будущее избранным.

– Олег Сергеевич, а вы – избранный?

Олег Сергеевич рассмеялся.

– Видишь ли, Митя... Да, я уже немало знаю. Но ещё недостаточно для того, чтобы моделировать будущее. Мне пока поручено, как ты и говорил, воскрешать мёртвых.

Митя растерянно смотрел на Олега Сергеевича. Это прозвучало настолько неожиданно, что он не решился расспрашивать дальше.

– Помнишь расхожую фразу, которую говорят о хорошем человеке, покинувшем наш мир: «Он будет вечно жить в памяти потомков»? Или «в наших сердцах»? Так вот, такие люди могут жить не только в памяти, но и на самом деле.

Вспоминая умерших, рассказывая о них, устанавливая памятники и мемориальные доски, мы создаём особое поле – поле памяти. Эгрегор. Это поле создаёт свой особый мир, в котором живут те, о которых мы помним. Мы фактически создаём им вторую, новую жизнь. И ключевую роль в этом играют писатели и историки.

Именно через их тексты энергии сгущаются и уплотняются, и человек вновь материализуется – в ином мире. Древние представления об аде и рае – упрощённые версии, пытающиеся рассказать об этом. Если о человеке вспоминают плохо, он постоянно страдает; если хорошо – наслаждается.

Вот почему, совершая хорошие поступки, человек не умирает. Потому что поле народной памяти создаёт новую жизнь. Но эта жизнь, этот эгрегор нуждается в постоянной подпитке. Поэтому нужно



поддерживать эту память. Вот почему критично важно, чтобы на Земле были писатели.

Всё, что я тебе сказал, очень хорошо объяснено в небольшом стихотворении Александра Блока. Возможно, ты его знаешь:

*О, я хочу безумно жить,
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!*

*Пусть душиет жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, –
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:*

*Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!*

В комнате повисла тишина.

– Всё сущее – увековечить, безличное – вочеловечить, несбывшееся – воплотить. Вот задача писателя.

Ошеломлённый Митя молчал.

– Ну что же, теперь иди и пиши, – сказал Олег Сергеевич. – Ты ведь не даром живёшь в квартире Олеси. Случайностей на свете не бывает.

– Ни дня без строчки! – сказал Митя.

– Ни дня без строчки, – улыбнулся Олег Сергеевич.

«МЕГАФОН»

Евгений Голубовский
Евгений Деменок

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Несколько лет назад мы взяли шестьдесят интервью у наиболее известных художников Одессы. Эти интервью составили три тома сборников «Смутная алчба». Мы старались, чтобы в этих диалогах раскрылись и личности наших собеседников, и отразилось время – начало XXI века.

Тираж сборников был небольшой. Мы понимали, что это не детективы, что такие книги должны осесть в библиотеках и у самих деятелей культуры. Прошедшие годы подтвердили, что интерес к этим интервью как к документам времени только растёт.

Вот и сейчас мы, по просьбе редакции «Южного сияния» выбрали два текста из шестидесяти. Почему именно эти?

И Давид Тихолуз, и Мирослав Кульчицкий были не только художниками, но и литераторами. Давид Тихолуз, к которому известность пришла за три года до смерти, как писатель не состоялся, он не думал о своих текстах, написанных на обратной стороне его картин – его размышления о цвете, о природе, о душе. А Мирослав Кульчицкий, к счастью, издал книги интеллектуальных стихов, публиковал искусствоведческие стихи, печатал прозу и стихи в альманахе «Дерибасовская-Ришельевская».

И ещё. Они оба скончались скоропостижно, на взлёте. Давид Тихолуз в декабре 2010 года, Мирослав Кульчицкий в феврале 2015 года. «Когда человек умирает, изменяются его портреты», – писала Анна Ахматова. Когда человек умирает, иначе воспринимаются его интервью. В них находишь новые смыслы, не ясные при его жизни.

Помните, у Маяковского: «Я вам расскажу о времени и о себе»? Именно так мы сегодня воспринимаем тексты наших героев, записанные на магнитофон, сохранившие дыхание живой речи.

Давид Тихолуз (1954-2010)

Мирослав Кульчицкий (1970-2015)

Два интервью, две судьбы, одно время.

ДАВИД ТИХОЛУЗ

интервью с художником*

– Есть такое понятие, как самооценка. В художественной жизни Одессы как вам видится ваше место: в первой десятке, в первой пятёрке?..

– Если говорить о самооценке, мне очень неудобно себя хвалить. Но если себя сам не похвалишь, то кто похвалит? Приходится себя хвалить. В детстве у меня, видимо, была творческая жилка. Мои дядя и тётя часто меня к себе брали. Тётя меня любила, и я её очень любил с раннего детства. А дядя был художник. Он ещё и акварелист был хороший. Он работал и умел это. Я этого не умею, честно скажу. Он меня спасал. Он был такой акварелист, что всё делал без подготовки. Я ничего не знал. Единственное, что я знал, что нужно лить много воды, – это залог успеха. И все академические работы он из природы так вытягивал, что там лучший живописец настоящий удивлялся: кто-то у вас в семье есть талант, наверное. Я из скромности об этом не распространялся, потому что этот человек сам был очень большой талант. Я видел, что он писал натюрморты, какие бы они ни были, с природы. У ребёнка желание повторить. И я писал по-своему много лучше.

Я ужасно благодарен, что выпустили каталог моей выставки. Он мне очень нравится. Я сам смотрю и

* сохранён авторский стиль

получаю удовольствие. Никогда бы я такого не думал, а вот смотришь на альбом – и прямо душа отдыхает. Самооценка высокая. Такая высокая, что просто до неприличия.

– Как вы считаете, насколько динамична художественная жизнь Одессы?

– На выставки я попадаю исключительно случайно, по воле рока. И было это очень давно. Поэтому судить мне сложно.

– Каждый век формулировал свои направления. Конец XIX века – импрессионизм, XX век – от кубизма до абстракции. В конце концов, сегодня поп-арт, постмодернизм. А на вас тот же кубизм, абстракционизм, импрессионизм повлияли как-то?

– Дело в том, что до училища я вообще не разбирался в «измах». Первые мои рисунки были с тётей и дядей – у меня и сейчас они где-то есть. Но это были портреты, чисто детские. Это крайняя степень детства. Но надо сказать, что Матиссу бы они понравились, потому что именно это ему нравилось. Он как-то воскликнул: «Ну, наконец-то я не умею рисовать!». Но он-то рисовать умел прекрасно. Вообще, многие художники чудесно рисовали. Я им всегда завидовал, потому что мне так и не удалось научиться. Кто-то говорил, кажется, Решин, что он может научить медведя рисовать. Но со мной бы он сразу отказался раз и навсегда, и не пытался бы. Медведя, может, можно, а меня – никому не удалось. А насчет «измов» меня просветил дядя при поступлении.

Мне повезло, что на первом курсе у нас был преподаватель Лукьян. Он один год преподавал, и потом уже не преподавал. Может, он там просто не ко двору пришёлся, а может, ему мастерскую дать не хотели, – не знаю. Во всяком случае, один этот год был для меня счастливым, потому что у него была прекрасная манера. Многие ужасно возмущались. Он не говорил ни единого слова – никому. Ничего не делал и не вмешивался. Единственное, что он делал, это отмечал присутствующих в журнале. И всё. Никто никогда не слышал ни слова. Он был вообще чрезвычайно тихий человек. Никогда в жизни он не вмешивался, ничего не подсказывал...

– А может, он был глухонемой?

– Нет. Когда он увидел единственную мою удачную композицию после первого курса, я её написал под вдохновение, единственное что – он улыбнулся. Лукьян молчал, эти возмущались, но моему дяде он объяснил, что вот такая у него система. А вот на четвёртом курсе Крижевская меня просто спасла. Она вытягивала меня, защищала перед директором на обходах...

Мне кажется, что в каждом этом «изме» были свои хорошие и талантливые художники. Мне кажется, не нужно ругать «измы», а нужно видеть то хорошее и прекрасное в том, что не в «измах» есть, а вообще в искусстве, что они привнесли. Искусство проходит путь развития. И каждый следующий шаг – это следующий шаг развития искусства, а он подготовит следующий. Так же, как импрессионизм считали чисто временным явлением современники, а он вошёл в историю искусств и внёс туда много прекрасного, и многое изменил в этом традиционном реализме. То есть дал художникам большую свободу и вывел их на воздух подышать. Это, по-моему, очень важно.

– Были ли у вас учителя? Кто формировал вас?

– Мне уже в училище нравился Матисс. У него была такая идея – раскрыть идею *абсолютно синего*, и он получал удовольствие. Я увидел его оригиналы первый раз в жизни в Музее имени Пушкина в Москве. Одна художница попросила меня обратить внимание на Матисса. Я был реалист по убеждениям, но когда я увидел работы импрессионистов... А с другой стороны, никаких «измов» не бывает. Бывают хорошие художники и плохие. Когда я спросил одного студента, какие ему нравятся художники, он с такой хитрой улыбочкой сказал: «Хорошие». Это был такой прекрасный ответ! Мне тоже нравятся хорошие художники. Их много. А кроме всего мне ещё и я сам нравлюсь.

– Одесские искусствоведы в последние годы назвали Юрия Егорова и Валентина Хруща классиками одесской живописи. Согласны ли вы с этим?

– Я художников мало видел. Может, и видел случайно, но я не знал, где чья работа. Если бы я видел теперь... Но я мало знаю. Что я буду говорить? А обижать я никого не хочу. Если считают, наверное, это хорошие художники. Но если бы я мог познакомиться... Хотя бы с теми, кто ещё жив. А у вас нет возможности с кем-то связаться, позвонить кому-нибудь? Может, просто позвонить, и если они так заняты, может, хотя бы по телефону пару слов бы сказали. Это никого не обременит.

– Как бы вы объяснили, что такое современное и что такое актуальное искусство?

– Дело в том, что я не понимаю, что значит *актуальное*. Может, вы мне объясните?

– Ну, под актуальным понимают то искусство, которое актуально в этот момент, в эту секунду...

– Лично для меня актуальное искусство – то, за которое мне заплатят. Я его считаю актуальным для себя. Что актуально для других, – я не знаю. Что касается современных, то это вопрос сложный. Веласкес мне кажется современной тех, кто творит сейчас. Вот истинный художник, а истинное искусство вечно. Что касается не истинных художников, то не истинное искусство не вечно. Хотя оно может быть актуальным сегодня.

– Одесса, по-вашему, – художественная провинция? Украина – художественная провинция?

– Есть такая поговорка, что Одесса – большая деревня. Она и есть большая деревня. Насчёт провинции хочу сказать, что Одесса – это первый город. Те, которым это застрекает в глотку, говорят: ну, может, она и не первый, но уж, во всяком случае, не второй. Это вечный город. Хотя он появился недавно, я счастлив, что родился в Одессе.

– Рыночная оценка работ художника – определяет ли для вас его значение?

– Рыночная – она и есть рыночная. Для меня она ничего не значит, потому что рынок – вы же знаете, что такое рынок. Это рынок сбыта. Если художник, допустим, находится на грани голодной смерти, то думает о том, чтоб поскорее перекусить. Я был знаком и очень дружил с одним мальчиком. Так вот, он в Москве пошёл на выставку и там увидел Шагала. Шагал тоже был на этой самой выставке. И он его узнал. Имел наглость подойти, заговорить. Он был полунспанец-полуеврей, по матери. Короче говоря, Шагал это сразу увидел, и в конце концов, рассказал ему, что когда он приехал в юности голодный в Париж, то, хотя он тоже мечтал посмотреть музеи, первым делом он побежал не в музей, не в Лувр, а куда-то перекусить. Когда он это рассказал потом одной студентке, она сказала: «Он поступил, как настоящий мужчина». Я думаю, он поступил по зову сердца, то есть желудка. Одним словом, это его не умалило и не исключило из истории искусства. Кончилось тем, что Шагалу так этот мальчик понравился, что он его поцеловал, и об этом ходили легенды.

– Где, когда, за сколько были проданы ваши работы в 2009 году?

– Коллекционеры заинтересовались. Как-то у меня по чистому случаю купила одна женщина несколько работ, а потом тоже по чистому случаю она захотела посмотреть остальные. Картины начали покупать и покупать, неважно, за какие деньги. Я ей подарил очень много. Я ей всегда дарил работы, она себе выбирала сама... А потом нашёлся коллекционер Слава Выродов. Я даже не знал его фамилии, я ничего о нём не знал. И он купил, одел в рамы, отреставрировал мои работы. У него отличная коллекция. И оказывается, это он организовал мою выставку, я ничего с ним об этом не говорил, но они почувствовали моё желание, чтобы меня узнали в этом городе, и сами её устроили. Я им очень, очень благодарен.

– Прогнозы – штука самая ненадёжная. Как вам кажется, в нынешнем веке в какую сторону пойдёт живопись: в сторону абстракции, в сторону реализма?

– Мне хочется вспомнить слова Ван Гога. Я его действительно уважаю как художника, хотя, может, он не был пророком. Но мне кажется, Ван Гог в живописи, в искусстве разбирался безусловно. Чутьё. И ему-то я и доверяю. Он говорил, что представляет себе художника как небывалого колориста. То есть он считал, что художник будущего – это небывалый, великолепный колорист. Мне кажется, он прав в своём взгляде на искусство. Я тоже своё искусство хотел бы видеть в плане колористики. Мне кажется, что это в живописи самое главное. Мне часто вспоминаются слова Пушкина: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Насчёт остального я сказать ничего не могу, но это то хорошее, что может и должно быть в искусстве. Нельзя сказать «должно быть» – все художники, все люди, и никто никому не должен. Но, к сожалению, не все люди всегда творят добро. Человек бывает очень разным. Даже Пушкин, если бы он со своим идеалом мог быть всю жизнь, то не было бы никаких трагедий. Но люди не всегда одинаковы, люди делают глупости. Но сама эта идея, по-моему, прекрасна.

Мне бы хотелось, чтобы живопись, если можно так сказать, отражала то отрадное, доброе, что есть в природе. Мне очень нравится перечитывать такого писателя, как Джером Клапка Джером. После Лермонтова он мне славно облегчает душу. Улучшает настроение. Если Лермонтов настроение очень

сильно портит, хотя сколько им ни восхищаешься, с каким увлечением ни читаешь, как ни любишь, но настроение как-то падает. А Джером Джером всегда повышает. Вот он описывал, как он приехал куда-то в деревню, прислонился к стене кладбища и начал созерцать природу. И тут он почувствовал, что становится лучше. Так ему показалось. Он писал прямо. Хотя о нём писали многие критики, что это позор английской литературы, он писал, что становится всё лучше и лучше. Вопреки всем своим дурным качествам он начал ощущать себя хорошим. Это его настолько потрясло и поразило, что он сам этому не поверил. Но это происходило и происходило. В конце концов, он начал желать добра своим друзьям. Потом он стал за них молиться, – чтобы их пороки и все дурные качества улучшились. Он писал, что друзья об этом, конечно, не знали, и продолжали в своём духе. Но он чувствовал, что он становится лучше. И только появление одного ворчливого старичка, который спросил, что он здесь делает, сразу все испортило, и он тут же стал таким, каким был всегда.

– Насколько давно вы ощущаете себя художником?

– Наверное, на первом курсе, под влиянием работ Ван Гога в моей душе проявились какие-то чувства, которых, может, потом уже не было. Вот тогда я себя ощущал каким-то другим. По-моему, именно влияние истинного искусства, настоящее сильное впечатление может человека как-то... ну, повлиять на него.

– Чувствуете ли вы, что у вас появились ученики?

– Во всяком случае, приходили люди, которые называли себя поклонниками моего таланта. Просили подписать работы. Это меня спасало от голодной смерти, и вообще, было приятно.

– Нужна ли вам профессиональная критика, арт-критика?

– О критике я всегда очень мечтал. Я знаю, что критики – народ суровый и жёсткий. Но тем не менее, художнику, видимо, нужна критика. Мне кажется, что все художники сами по себе критики. Но они критикуют других художников. А себя почему-то не хотят. Так для разнообразия неплохо, чтобы и их кто-то покритиковал.

– У вас основные впечатления связаны с книгами, вы много читаете. Какие книжки вы прочли в 2009 году?

– Говоря по правде, моя подруга филолог, у неё диплом, она окончила Одесский университет. У неё такое занятие – читать. Причём читает она всё подряд, в таком количестве, что никто бы себе не представил. Я слышал такое выражение, что в наше время вообще некогда читать. А одна женщина, когда услышала, что я читаю, так искренне удивилась: «У вас есть время читать книги?». Мне многое нравится, я читаю много. Я недавно перечитывал Лермонтова, и меня тоже очень многое тронуло. Мне кажется, что в Грушницком он немножко себя описывает. Потому что те качества, за которые он его высмеивал, присущи ему самому во всех его стихах. И вот он свой портрет написал, как говорится, с критической оценкой. Мне нравится и сказки читать – Гауфа, Андерсена я тоже читаю, «Тысячу и одну ночь».

– А нужен ли вам Союз художников? Хотели бы туда вступить?

– Диплома я не получил. Мой дядя тоже не был членом Союза художников, он был членом секции графики. Как-то один раз мой дядя пытался поступить, но для этого надо было столько бумаг! Каких только справок не надо было! Какие художники писали о нём самые теплые отзывы – и Николай Шелюто, и Михаил Божний, и Ломыкин, – масса графиков, живописцев... Но его так и не приняли, и он с тех пор и не подавал. А я вообще никогда и не думал об этом. Просто не нравилось быть членом чего бы то ни было. Каких-то профсоюзов... И потом это смешно: кто бы меня принял?

– Есть ли галерея, которая вам интересна, близка? Или вы с галереями в Одессе никак не связаны?

– Я всегда с большим удовольствием с детства ходил часто очень в Художественный музей, он был рядом с нами, совсем недалеко. Ходить очень удобно, близко. И я себя чувствовал там лучше, чем дома. Я так привык к этим работам... Никогда я не думал, что меня попросят подарить им работы.

– Художник не всегда в мастерской. Есть ли контакты с поэтами, музыкантами?

– У меня есть один знакомый музыкант – скрипач Яша. Хотя он профессиональный музыкант, он совсем не известный, играет только в «Хеседе» на праздниках. Это у него как хобби, и так, для себя.

– В каких музеях висят ваши работы? Я знаю, что уже есть в Музее современного искусства.

– Вот я хотел об этом сказать. Они у меня заказывали очень много работ, в течение целого лета. Всё лето я был загружен. Они мне приносили большие подрамники. Мне очень приятно, что они мне создали такой стимул для работы. Мне сказал куратор, что он купит всё, что я ни напишу. Может быть, это была ошибка. Одна работа, самая первая, большая – метр на метр. Я две обнажёнки написал с натуры: одна у них висит постоянно, в постоянной экспозиции. Ещё одна работа в постоянной экспозиции – моя композиция, я ему подарил просто, она ему понравилась. Размеры были ужасно большие, и это было неудобно. А кроме того, мне надо было расписаться, я же мало до этого работал. Большой размер...

– И в вашей комнате...

– ...освещение невозможное – идиотское освещение тоже в моей комнате... Большие размеры вообще очень сложно писать, тяжело. Я пытался им это объяснить, но это сложно. В общем, что получилось, то получилось. Но, надо сказать, я с этим не парился, – вот это тоже беда. Если бы я имел возможность как-то работать более серьёзно, если бы была когда-нибудь возможность что-то придумать насчет мастерской с дневным светом... Чтoб свет был нормальный, чтoб было видно хотя бы цвет. Это лишь мечта. А так это... Я пока пишу маленькие работы, мне они удаются.

Я постоянно шутил, что когда-нибудь мои работы будут в Лувре. В Лувре масса всяких работ – и прекрасные, и не всегда хорошие, и посредственные, – куча работ. Но это была просто шутка молодого очень человека. Может, глупая, но видите – в одесских музеях уже есть. А моего дяди племянник даже шутил, что когда-нибудь меня закупают эти самые музеи, в том числе и Лувр. Но это была шутка. Ну, а кто его знает? Никто не знает, что будет... Может быть, когда-нибудь какая-нибудь работа и попадёт туда.

– В 2009 году куда-то выезжали, где-то были?

– Никуда я не выезжал.

– Ни Киев, ни Москва?

– Не до того мне было, и времени не было. Первое лето меня так крепко держали эти работы... Я так был так заморожен... Ну куда я мог ехать и на что я мог ехать? У меня один родственник, дяди моего родственник. Вот с ним мы как-то списались, он мне как-то писал, потом мы созвонились. Я ему написал, и он мне написал. В общем, он меня поздравлял, хвалил, просил дядины работы. Других родственников у меня и нет.

– В Москве, я так понимаю, любимый музей – это Музей имени Пушкина? Или Третьяковка?

– Пушкина. Сперва я бывал в Третьяковке. Я бывал каждый раз в Третьяковке. Но во второй раз летом я посмотрел Музей Пушкина, и на меня он произвёл огромное впечатление. В Третьяковке мне очень нравился Левитан. Очень. Серов. Вообще, там хорошие работы, очень добротные. Но когда я увидел выставку импрессионистов, постимпрессионистов, Дега, Клода Моне – он мне особенно нравится... И Ван Гог. Он очень необычный художник. Ни на кого не похожий. В нём как бы составлены очень многие влияния. Это очень сложный и необычный художник. И мне эта живопись показалась до чрезвычайности необычной. Это не было традиционное реалистическое искусство.

А потом я ещё посмотрел, как мне ещё посоветовала одна художница, Матисса, и меня поразил вот этот именно синий цвет. У меня уже глаз был немножко развит, и эта самая предельная идея абсолютного синего, как он писал, я её просто увидел воочию, это на меня произвело, поскольку я уже немножко образованный, какое-то особое впечатление. В общем, этот синий меня потряс, и я ему не то что подражал, я был под влиянием. А потом мне ещё понравился Гоген. Ренуар очень понравился. Я почувствовал, что Ренуар тоже живописец, именно колорист. И в нём именно эта идея раскрытия света, цвета, природы. Это был какой-то момент наивысшей точки реализма, и вместе с тем что-то новое привнесено – воздух, свет. Короче говоря, это была правда. Правда чувств. И теперь я прихожу к убеждению, что правда в искусстве... Если в искусстве чувства правдивы, то эта самая правда и есть самое важное. Бывали разные художники, но правда чувств, по-моему, основное.

– Многие люди строят для себя планы на следующий год. На 2010 год какие-то планы у вас есть?

– Я читал Дарью Донцову, как тётка спрашивает свою племянницу, совершенную недотепу-ученицу, которая никак не могла учиться и страшно всех этим раздражала. Она её куда-то собиралась отдать замуж. И спрашивает её эта тетка: «Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, девочка?». Ну, она и ответила: «Колготки достирать, телек поглядеть!».

Вот и у меня – планы работать. Создавать красоту. Я хочу сказать, что мне нравится в искусстве красивое, и не просто красивое, а та красота в природе, которая способна сделать человека лучше хотя бы на короткое время. Это было точно как у Джерома Джерома. Он говорит этому старику: «Я чувствовал себя хорошим, а вы пришли и всё испортили». Он говорит: «Вы здесь живёте?» – «Я здесь не живу. Если бы я здесь жил, я бы вас уже убил». Мне кажется, искусство должно пробуждать доброе. Хотя художники, в основном, это делают, слава Богу. У них этого не отнимешь. Есть много талантливых и прекрасных художников. Как говорил Мао Цзэдун, пусть цветут все цветы. Но у каждого есть что-то, что ему лучше отвечает. Как говорил Бальмонт: «Я в мир пришёл, чтоб видеть солнце». Мне кажется, что он сильно это сказал, мне солнце всегда очень нравилось. Египтяне, ацтеки, – все они уважали Солнце. Даже обычай печь блины в России тоже был связан с древним обрядом поедания Солнца. Ну, в России всегда свой менталитет. Там Солнце старались съесть. А я, как говорится, типичная жертва искусства. Так как говорят, что искусство требует жертв, так вот, перед вами типичная жертва искусства. Но всё же я сторонник того, чтобы на жизнь иметь светлый взгляд, весёлый и по возможности добрый. Для этого надо наслаждаться красотой природы и попытаться куда-то выйти за пределы города.

Я не какой-то там страшно верующий. Я просто, скорее, может быть, атеист. Но дело в том, что я так люблю изучать всякие старинные тексты, что только теперь, на старости лет, я прочёл некоторые такие из давно известных книг, типа Евангелия, Библии, еврейских молитв. На досуге это тоже развлечение. Как-то неудобно абсолютно ничегошеньки не знать о том, во что верил твой народ или другие народы. Ведь это даже создавало культуру. Сколько художников Средневековья кормилось только благодаря изображению Девы Марии! Только ленивый и глупый не написал Мадонну. Это же было то же самое, что Ленин для скульпторов.

– Я думаю, что количество художников, которые кормились за счёт «ню», куда больше, чем...

– За счёт «ню» они приобретали возможность какого-то вдохновения. Это поддерживало в них жизнь и дыхание и не давало им преждевременно увянуть. Но Ленина один скульптор гладил по лысине и чуть ли не со слезами благодарил: «Кормилец ты наш...». Может, так же Мадонна или Христос. Ведь это же сколько художников он кормил и поил! То же Распятие. Бедного еврея распяли в 33 года, и вот сколько столетий он кормил и поил художников! Я плачу: где мои 33 года по глупости? 33 года – это роковой возраст. Я же говорил, что я жертва. Но даже не искусства, а жизни. А искусство эту жизнь как-то освещает. Если что-то и может осветить нашу жизнь, то это, наверное, солнце и искусство.

МИРОСЛАВ КУЛЬЧИЦКИЙ

интервью с художником

– Какие события в художественной жизни Одессы в 2010-м году запомнились, вызвали интерес? В каких выставках, акциях, плен эрах участвовали вы в том году?

– В 2010-м году мне запомнились проекты, связанные со Второй одесской биеннале. Это был целый ряд проектов, организованный Музеем современного искусства Одессы. Я принял участие во всех этих проектах – мне они показались интересными. Была у меня ещё персональная выставка в галерее «Норма», которая мне тоже очень симпатична, – такая альтернативная площадка. Я бы выделил, пожалуй, в целом, то, что произошло под эгидой Биеннале, и эту выставку. Ещё в галерее «Норма» был такой цикл, ряд интересных для меня проектов разного уровня, как мне кажется, но в любом случае какие-то положительные эмоции это у меня вызвало.

– Что вы выставляли в «Норме»?

– Это была моя персональная выставка, я выставил только новые работы, очень разные – и фото, и инсталляции, и документацию фотоакции. Собственно говоря, всё, что я хотел сделать в 2010 году, и то, что прошло какую-то мою внутреннюю цензуру, – то я и выставил. В целом доволен, считаю успешным.

– Я помню ваше участие в «Заборной выставке».

– Да, хотя там была старая работа. Мне больше пришлось по душе то, что было сделано в одесском зоопарке. Если вы знаете об этом проекте, который Стас Жалобнюк курировал, – мне он показался интересным. Да, собственно, и экспозиция в Музее современного искусства не была лишена классных, значительных работ.

– **Повлиял ли кризис на художественную жизнь? Уменьшилось или увеличилось количество выставок, покупок, коллекционеров?**

– Я думаю, что здесь влияние кризиса не было столь существенным. По крайней мере, в Одессе – я бы не сказал, что кризис как-то серьезно повлиял на художественную жизнь. Мне очень жаль, что закрылась галерея «Ятло», в которой я тоже делал персональный проект. Мне кажется, что эта галерея поставила очень высокую планку. Не знаю, можно ли это связать с кризисом или с какими-то внутренними проблемами. Мне кажется, что есть какие-то в целом процессы в Одессе, которые протекают с той или иной степенью интенсивности. Какого-то большого прорыва я не заметил в прошлом году. С другой стороны, были какие-то интересные проекты. Наряду с какими-то кризисными явлениями в одесском искусстве есть и положительные сдвиги. Если процесс этих позитивных сдвигов будет продолжаться, я думаю, что и изменение ситуации в целом возможно в какое-то ближайшее время. По крайней мере, хотелось бы надеяться.

– **Не будем уходить от биографии. Какие события в формировании стиля, направления, в котором вы работаете, художественного мировоззрения были ключевыми? Встречи, книги, учителя...**

– Я пришёл в искусство в тот период, когда оно уже стало откровенно международным. И это того рода искусство, которое существует в режиме постоянного диалога с миром. Что-то привношу я, что-то заимствую, кто-то влияет на меня, на кого-то влияю я. И вот это международное измерение искусства для меня всегда было очень важным. И процесс международного диалога. Я всегда работал, соотнося то, что я делаю, с тем, что делают художники в разных частях мира. И это всегда был такой своеобразный процесс обучения, который, я так думаю, заменил мне учителей. Что касается Одессы, то меня всегда интересовало такое явление, как одесский концептуализм 80-х годов, прежде всего, наверное, Леонид Войцехов, который, с моей точки зрения, основоположник современного искусства в Одессе в том виде, в котором я это понимаю. Да и в целом весь крут художников концептуального толка того времени. И Юрий Лейдерман, и Перцы, и Сергей Ануфриев, и Игорь Чацкин. Кроме того, если мы сейчас говорим о явлении, которое уже часть истории, то в 90-е мне всегда больше давало общение не столько с художниками, сколько с художественными критиками, кураторами. Я общался и продолжаю общаться и с Михаилом Рашковецким, и с Утой Кильтер. Очень долгое время мы плотно дискутировали и общались с Вадимом Беспровзванным. Хотя, что касается художников – тоже не без исключений. Мне было всегда интересно то, что делает Игорь Гусев, – это я уже говорю о художниках своего поколения, – Владимир Кожухарь. Вот со Стасом Жалобнюком как-то у меня наладилось общение – и тоже много интересного, это мне тоже что-то даёт.

– **В Одессе, да и в Украине в целом, сформировалась группа художников, работы которых продаются и выставляются в престижных галереях за рубежом и у нас. В 2010-м году появилась группа новых имён, молодых художников. Согласны ли вы с этим, и кого могли бы выделить?**

– У меня такое ощущение, что новое поколение художников еще недостаточно раскрыло свой потенциал. Я не могу сейчас назвать тех художников, о которых у меня сложилось впечатление, что они действительно могут стать фигурами, скажем так, не одесского масштаба. Хотя меня очень интригует процесс вовлечения в искусство молодых художников, мне кажется, что они могут привнести что-то новое. Я, правда, должен отметить, что для меня существует сейчас как бы две молодёжи. Первая молодёжь – это те художники, которые младше меня на десять лет, а вторая группа – те, которые на двадцать лет. Мне почему-то кажется, что эти вторые как раз и могут привнести какое-то новое понимание искусства и в каком-то смысле изменить его конфигурацию, если говорить об одесском, а может быть, и об украинском в целом.

– **Традиционный вопрос. Где и за сколько продавались ваши работы в 2010-м году? Есть ли постоянные клиенты – галереи, коллекционеры?**

– В 10-м году ничего не продавал и был целиком поглощен созданием новых работ. В общем, доволен тем, что удалось сделать ряд вещей, которые, как я уже отмечал, прошли какую-то самоцензуру, и я этим доволен. Сейчас есть некоторые предложения. Хотя я должен сказать, что у меня в целом неслесные впечатления о местном художественном рынке. Мне кажется, что он существует в какой-то немножко уродливой форме. Из тех предложений, которые сейчас поступают, может быть, только одно вызывает у меня какой-то энтузиазм. Действительно, люди понимающие знают, что они покупают, зачем. Это всё-таки открытая, публичная коллекция, – а это важно для искусства.

– Если можно, – чья коллекция?

– Я бы просто не хотел пока говорить. Вот когда состоится, – тогда.

– Мировое искусство уже не только в репродукциях присутствует в Украине. Влияет ли это на ваше творчество? Может ли сегодня Украина внести что-то новое в мировые тенденции?

– Я бы сказал, что без этого просто нельзя. Я не мыслю искусства без существования в режиме диалога с миром. Конечно, и украинские художники что-то могут внести в мировое искусство. Другое дело, мне кажется, что сейчас не самое благоприятное время для украинского искусства. По крайней мере, если сравнивать с ситуацией 90-х годов, то там я ощущал какой-то режим благоприятствования, особенно во второй половине 90-х, когда мы ездили по всему миру, выставлялись, и многие приезжали к нам, в том числе и ведущие кураторы, художественные критики. Тогда всё-таки Украина была частью Восточноевропейского региона, который воспринимался как регион, в котором происходят существенные социальные трансформации, переход от одной формации к другой. Через какой-то период времени большая часть этих восточноевропейских стран уже интегрировалась в Евросоюз, и художники из этих стран получили очень неплохие возможности внутриевропейского обмена, доступа к каким-то культурным ресурсам. А Украина, к сожалению, оказалась по эту сторону границы Евросоюза и оказалась в ряду, во-первых, своих ближайших соседей – Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, России. А в более широком смысле вообще изменилась карта современного искусства. Сейчас очень громко о себе заявляет Северная Африка, Ближний Восток, Карибский регион. Китай уже несколько лет назад о себе заявил. А вот эти регионы заявляют, причём всё больше художников вливается в этот широкий международный контекст. И Украина оказывается в очень жёстком конкурентном поле, потому что в тех регионах достаточно большой потенциал и, мне кажется, большой ресурс сейчас. Конечно, это не означает, что для украинских художников и для одесских в частности закрыты какие-то возможности – конечно, они есть. Возможны и индивидуальные прорывы, и групповые, и выход на международную художественную сцену. Но мне кажется, что эти новые, молодые художники, которые не успели о себе громко заявить в ушедшую декаду, будут испытывать определённые трудности. По крайней мере, вот такого режима благоприятствования сейчас нет.

– Виктор Пинчук, вручив премии молодым украинским художникам, видеоизменил характер конкурса, сделав его международным. Это вызвало много критики. Нужны ли, на ваш взгляд, такие конкурсы и премии вообще? Стимулируют ли они творчество? И должны ли номинанты быть исключительно украинцами?

– Думаю, что конкурсы вполне могут быть. И почему бы им не быть международными? Другое дело – мне кажется, что представительство украинских художников должно быть больше. Они не должны быть исключительно украинскими, исходя из тех соображений, которые я озвучил до этого. В какой-то степени это всё-таки задаёт какую-то планку. Это позволяет искусству, по крайней мере, молодому, зарождающемуся, пройти какие-то необходимые фильтры, получить какую-то критическую массу экспертных оценок. Мне кажется, что с этой точки зрения, это хорошее начинание. Уже другое дело – каковы эти эксперты, какие критерии применяются к оценке той или иной работы, того или иного художника. Но в целом – почему нет?

– Может ли художник своим творчеством изменить художественную ситуацию в нашем городе?

– Думаю, в корне – вряд ли. Но, во-первых, он должен это делать и должен пытаться это делать. Основная функция искусства – оно социально. Здесь есть своя специфика. Наверное, сейчас искусство, и тем более отдельный художник, не может влиять на ситуацию в целом. Но через какие-то малые группы, через микросообщества, и не только одесские, а вообще, связанные между собой и находящиеся в

разных частях этого мира, – почему нет? Я думаю, что искусство должно обязательно выполнять свою социальную функцию, потому что оно по определению социально ответственно. Оно должно служить преобразованию социума.

– Какие художественные институции нужны сегодня Одессе? Достаточно ли музеев, галерей, кураторов, арт-дилеров?

– Я думаю, что здесь дело не в количестве институций, а в их качестве. Если опять же сопоставить ситуации 90-х и 2000-х, то в 90-е как раз с институциями была большая напряжённость, но тем не менее, это позволяло искусству существовать, в общем, полноценно в Одессе. И на уровне международного представительства, и на уровне внутренней интенсивной художественной жизни. Сейчас как раз есть целый ряд институций, но очень не многие из них, как мне кажется, достаточно качественно работают. Вот это проблема. И второе – относительно мало искусства, с моей точки зрения, высокого качества сейчас.

– Работу какого одесского художника вы с удовольствием повесили бы у себя дома?

– Наверное, никакого. Я бы предпочёл, чтобы искусство тех художников, которых я ценю, было общедоступно, и чтобы на них мог смотреть не только я и мои друзья. А если говорить о том, чью работу я бы с удовольствием увидел... Леонида Войцехова – с удовольствием.

– Любите ли вы деньги? Какая у вас была самая безумная трата денег?

– Думаю, что не было у меня каких-то безумных трат. И я не преувеличиваю значения денег. Они могут доставить какое-то удовольствие, чему-то помочь, но сами мало что дают в плане счастья. По крайней мере, какие-то моменты счастья в моей жизни напрямую с деньгами не были связаны.

– Говорят, что есть женская и мужская проза. Можете ли вы, глядя на холст, определить, мужчина или женщина художник?

– Я так не думаю. Возможно, какие-то есть различия, но я бы не придавал этому такого значения. Для меня это не принципиальный вопрос совершенно.

– Существует ли украинская, русская, польская живопись? Национальная самоидентификация ощущается ли в картине? Или глобализация всё это свела к некоему единому знаменателю?

– Думаю, что если говорить о последнем десятилетии, то, скорее всего, свела. Я думаю, что художники говорят на интернациональном художественном языке, в том числе и живописцы. Хотя живопись не является предметом какого-то моего особого интереса, но там происходят те же процессы. Если мы заглянем в историю, то, наверное, об этом можно сказать. Скажем, одесская живопись 80-х, модернистская живопись, мне кажется, обладает своей внутренней локальной спецификой. Сейчас, я думаю, об этом так уже сказать нельзя.

– Как часто, считаете вы, художник должен делать персональную выставку?

– Тогда, когда он чувствует в этом необходимость. Тогда, когда он к этому готов, и я бы даже сказал, не может её не сделать.

– Как часто делали вы?

– В разные периоды времени по-разному. Но пока мне достаточно одной выставки в год персональной. Сейчас я вообще больше озабочен выставками в Европе – у меня будет сейчас выставка в Германии, потом ещё одна. Хотелось бы в этом году сделать свою ретроспективу в Одессе – последние десять лет, – всё, что я делал. Хотелось бы в этом городе, в котором я живу и работаю.

– Важно ли для художника место, где он вырос и где работает, – провинция или столица? Можно ли реализоваться, живя в провинции?

– Я думаю, что сегодня эта оппозиция «столица – провинция» уже не работает. Конечно, сейчас нет какого-то центра, и нет периферии, по большому счёту. Конечно, есть традиционные центры искусства в мире, которые занимают какие-то важные позиции в художественном мире. Наверное, в первую очередь, Берлин, Нью-Йорк, Лондон, в какой-то степени Париж. Но, с другой стороны, то, что массовые коммуникации пронизывают мир сейчас, и процесс взаимообмена становится всё более интенсивным,



эти границы как-то стираются. Искусство существует в совершенно разных частях мира и достаточно имеет возможностей быть показанным, презентированным. Думаю, что вполне может реализоваться, находясь где угодно. Тут только вопрос, разумеется, таланта и рвения, и вопрос включённости в международный контекст.

– **Ваши любимые города в Украине и в мире.**

– Одесса – и в Украине, и в мире.

– **А помимо?**

– Нравится мне очень город Цюрих, Париж нравится, Стокгольм. Амстердам хороший город. В Украине – как-то, если не говорить об Одессе, то, скажем, Львов мне чем-то симпатичен.

– **Приходилось ли там работать? Или это чисто визуальные впечатления?**

– Я практически во всех этих городах выставлялся, и тут есть и какие-то положительные эмоции и в профессиональном плане, ну, и просто что-то в этих городах есть для меня тёплое, близкое.

– **Ваше главное достоинство и ваш главный недостаток.**

– Ну и вопросики! К достоинствам я бы отнёс какую-то свою целеустремлённость. А что касается недостатков – у меня их так много... Какой из них главный? Может быть, иногда мне мешает излишняя структурированность моего сознания. Мне полезно как-то освобождаться и расслабляться периодически. Потому что, когда структура начинает слишком давить, это не всегда хорошо сказывается на творческом процессе.

– **Времена не выбирают. Вы сотрудничаете со временем или конфликтуете с ним?**

– Пытаюсь сотрудничать всеми возможными способами. Хочется быть в этом времени, ощущать его ритм, не выпадать из него. Мне кажется, что это важно.

– **У каждого своё отношение к Одессе. А у вас?**

– Я думаю, что это лучший город на этом свете. Притом, что я объездил полмира, всё-таки я не могу найти места, в котором я бы чувствовал себя так комфортно, как в Одессе, хотя я вижу в Одессе невероятное количество недостатков, иногда этот город меня как-то раздражает, иногда даже хочется из него уехать и никогда не возвращаться. Но это всё мимолетно. А вот пройдет время – и опять я понимаю, что лучшего ничего на свете нет.

ИННА ЗАСЛАВСКАЯ

ЗАПАХ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ

Мы ехали на раннюю звезду.
Листва летела стаей под колёса,
И ветер – у неё на поводу –
Заглядывал в кабину к нам без спроса.

С дороги повернув, застряв в грязи,
Мы вышли, озираясь, – где же помощь?
Но не было помощников вблизи,
Лишь полночь приближалась. Эта полночь

Открылась нам, как сказочный сезам,
Алмазами набитая шкатулка.
Их блеском, изумляющим глаза,
Был полон мир до самых закоулков.

И сфера, не размытая огнём
Мятежного жилого обитанья,
Чернилами текла за окоём
Великого и вечного молчанья.

Бездонный, непроглядный этот цвет
И чистый очерк звёздного узора
Накрыли наш в грязи почивший след
И вздохи утомлённого мотора.

Вселенная клубилась у дверей
Земли, казалось, вымершей навеки.
И, мизерные в сущности своей,
Стояли у машины человеки.

Устанет моя неуёмная жизнь,
Начнёт спотыкаться на ровном.
И скажет ей Бог: «Ты коней придержи,
Подумай о вечном, о кровном.



Нельзя же доказывать век напролёт,
 Что сделаешь всё, только дайте.
 Ложись-ка в гамак, полежишь – и пройдёт,
 И благодать такая накатит,
 Как будто без вёсел, в прозрачной ладье,
 Доверившись воле теченья,
 Плывьёшь и плывёшь по зелёной воде,
 Куда – не имеет значенья.
 Туда, где зовущих тебя голосов
 Не слышно уже, и проблемы
 Мирской кутерьмы обращаются в сон...
 Но мы отклонились от темы».

 Ах, да, эти мысли – о вышем, о том,
 Что хлеб и душа не едины.
 Я это обдумаю – после, потом...
 Настойчивый писк комариный
 Над ухом играет побудку: «Лежишь?!
 Вставай, запрягай вороного!»
 И Бог сокрушённо посмотрит на жизнь,
 Но больше не скажет ни слова.

Безжизненны, уродливы, темны
 лежащие под пёстрыми шатрами
 деревья. Их черты заострены
 железными осенними ветрами
 безжалостней, чем лезвием ножа.
 Повержены какой-то давней бурей,
 погостами угрюмыми лежат,
 питая почву сукровицей бурой
 (одной тропой деревья и людей
 уводит смерть в подземный город тленья).
 Но вот приходит добрый чудодей,
 владеющий искусством оживленья.
 Звонит он в голубые бубенцы,
 брусничную разбрасывает крупку –
 и в миг над буреломами дворцы
 являются узорчатостью хрупкой.
 Из них, беспечно жмурясь и смеясь,
 выглядывают сказочные люди,
 рождая восхитительную связь
 волшебной яви с призраками буден.
 И снова – пусть не надолго, увы –
 стволы оживлены весёлым светом,
 и этот свет в сумятице листвы
 торит дорогу детям и поэтам.

Пройдись неспешно кромкою лесов,
 найди калитку в изгороди тонкой
 и, отодвинув взрослости засов,
 открой в себе забытого ребёнка.



...И запах скошенной травы, прощальный запах увяданья
Тебе поведаст о том, о чём не скажется в словах:
Как изнурительно больны, неизлечимы опоздания,
Как лихорадочно знобит упущенное впопыхах.

Ещё не холодно. Ещё цветов подбрасывает лето,
И не заношен до седины наряд высокой синевы,
И зимних бабочек рои ещё не вылупились где-то,
Чтобы обрушиться на мир... Но запах скошенной травы

Тебя преследует, идёт вслед за тобой от дома к дому,
Он пробирается в подъезд, в квартиру входит без ключа.
Как будто просит вспоминать о чём-то прежде незнакомом,
Что невозможно оживить, осилить, заново начать.

И эта срезанная жизнь, уже подёрнутая тленом,
За твой цепляется подол, но, не склоняя головы,
Ты пролетаешь над землей, горя незрячим нетерпеньем.
И за тобою – пустота. И запах скошенной травы.

Вот этот старый городок,
На тысячи других похожий.
Хватило бы десятка строк
Для описания, но всё же
Иду разыскивать: а вдруг
Среди затоптанной брусчатки
Замрёт настойчивый каблук,
Былые встретив отпечатки,
И стены явят связь времён,
Сплетая судьбы и эпохи...
Но вот весь город обойдён –
Обломки, каменные крохи.
Путеводитель без труда
Расскажет равнодушным словом,
Кто проживал здесь и когда,
И кем приют его был сломан
Или разграблен.
Сотни лет
Страна крошилась и ломалась,
Стирая собственный свой след,
Но что-то всё-таки осталось.
Остались небо и река,
И блеск задумчивого плёса.
И те же в небе облака,
И те же травы по откосам.
Несёт неспешная вода
Их вековое отраженье,
И только ветер иногда
Меняет смысл изображения.

ЗАЧЕМ...

Зачем для постиженья бытия
 Рассыпанные радугой осколки?
 Поддвеченная ими, жизнь твоя –
 Открытка глянцевиная, и только,
 Где, слитые в одно, полутона,
 Тончайшие нюансы и оттенки,
 Едва коснувшись зрительного дна,
 Отскакивают, точно мяч от стенки,
 Мгновенье будоражат, а потом
 Цветной волной смываются с сетчатки.
 И только аскетичный монохром
 Надолго оставляет отпечатки:
 Открыт до самой плоти, обнажён,
 Не прячет боль и страсть в спектральных шорах,
 И каждый штрих прорезан, как ножом,
 И каждый блик – как магниевый сполох.
 Вглядишься в него, и ты познаешь суть,
 Не требуя подкрашиванья линий.
 Ну, может, только зелени чуть-чуть
 И – понемногу – красной, желтой, синей...

В окне за сумерками жидкими
 Неотвратимости молчанье.
 Сухими старческими нитками
 Прошито жизни окончание.
 И расплзается от ветхости
 Земной юдоли облачение,
 И проступает на поверхности
 Иное – высшее значение
 Того, как пальцы побелевшие
 Блуждали, одеяло комкая,
 И окликала даль нездешнюю
 Речь неразборчивая, ломкая.
 И свет в пустом туннеле вечера
 Бледнел от каждого движения,
 Сиюминутное и вечное
 Сопровождая в их сближении,
 И вот – угас...

Ничего от меня не останется,
 Только этот заросший сад,
 Где, к стене привалившись, старится
 Мной посаженный виноград,



Где истерты скамейки дочерна
У распатанного стола,
Где любая травинка дочерью
И подругою мне была.
Как упорно и свято верим мы,
Что завещанный нами труд
Не загубят бурьяны времени,
Мхи забвения не забьют;
Что в наследных руках продолжится
Он, как прерванный разговор.
Отчего же душа тревожится,
На соседский взирая двор?
Там когда-то пестрели красками
И цветы, и кусты смород,
Но, хозяйкою не обласканный,
Он дичает который год.
Равнодушно роднёю брошенный,
Под забором лежит, как бож,
И в его бороде некошеной
Только ящериц ты найдёшь.

МАРИНА ШАПИРО

МИР БЕЗДОМНЫХ ФОНАРЕЙ

ХВОЙНЫЙ ПЕЙЗАЖ. БЕЛАЯ ВОРОНА

За ближним полем, на холмах
темно-зелёно и весомо
стоит, подмяв земли изломы –
до горизонта плеч размах.
Наполнен силой, как «Урал»
Он здесь на месте и по праву.
Он Хвойный!

 Это не дубрава,
что вся обсыпалась вчера.
Одна берёзка – не в расчёт.
Её он вытолкнул из стенки,
и, сиротливо сжав коленки,
качнулась: «Два шага вперёд...».
Стоит,

 задравши уголки
у горлышка сведённых веток,
дрожит, как заяц-однолеток,
поняв, что взведены курки.

Летит машины остриё.
Всё мимо.
Только глаз уносит,
на лобном выхватив откосе,
одну её.

 Одну её.

ПТИЦА В НОЧЬ

Обледенели провода, и птицы вниз кричат: Беда!
Куда же нам лететь, куда?
Где приземлиться?
– Не нам вы копите уют, не видно нас поющих тут, –
и песенку свою несут
подалее птицы.
Все песни выпеты до дна. Дорога им лежит одна,
что на земле и не видна
– утрой уснётся.



Боль разрастается в груди, и, замерзая на пути,
 одна другой кричит: Лети!
 – Слабеют крылья!
 Всё глубже, глубже птица в ночь, и холод ей не превозмочь.
 На вздохе улетает прочь,
 стихая, клёкот.
 Налей и, закусив, запой о разминувшихся с тобой
 тех птицах, чья беда и боль
 уже далёко.
 Они замёрзли по пути, никто не захотел спасти,
 ты вышей и себя прости –
 грустить не дело.
 В полётах избежать потерь нам невозможно, а теперь –
 вставай и распахни мне дверь,
 Я – долетела!

КОЛОКОЛА

Земля замерла далеко внизу,
 Устала, застыла, добра не ждёт.
 Ей ко-ло-ко-ла не покой несут,
 А только надежду, что топит лёд.
 Всё выше и выше протяжный звук,
 Врезает пространство, пронзает хмарь,
 И в ритме размаха могучих рук,
 Молитву заводит глухой звонарь.
 Вибрирует тело, горит рука,
 Всё выше летит колокольный вздох,
 Где через пространство и сквозь века
 Всё слышит и всё понимает Б-г.
 За все прегрешения тот звонарь
 Давно **им** прощён и давно храним,
 Кресты колоколен летят, как встарь,
 По небу, раскрытому им двоим.

Плыли, плыли, оплывали,
 Как подтаявший пломбир,
 Фонари,
 Москву качая
 За окошками квартир.
 Дом был полон тишиною,
 Ливня шорохом и сном.
 Я сказала, что не стигт
 Всё о том же об одном.
 Ты поднялся безнадежно,
 Я сказала:
 – Заходи.
 Там,
 снаружи,
 нежно-нежно
 Землю гладили дожди.

На вечернем перекрёстке
Был отчаянно красив
Полный ливнями московский
Чёрно-белый негатив.
Слился лифт,
Отъединяя
Мир бездомных фонарей
От закуленного рая
Крепко запертых дверей.

НОЧЬ. СОН

Ночь. Сон. И веки, как кора,
К глазам прибиты сном.
Ночь – путь от берега *Вчера*
До берега *Потом*.

Кружится снег, тяжёл и сед,
Качаются мосты,
И образы, которых нет,
Незримый оставляют след
На улицах пустых.

Двухмерны контуры фигур –
Их не сыграл артист.
В окне старинный абажур
Оранжево кричит: «Ля мур»,
И снова бред и свист.

Под арку старого двора,
Измяв нездешний снег,
Сегодня, завтра и вчера
Заходит человек.
Навек затверженным путём
Восходит на крыльцо,
Сейчас подъезд под фонарём
Сглотнёт его лицо.
Вновь распадётся этот мир –
Знакомый человек
Пройдёт сквозь тёмный сруб квартир,
Во мне начав разбег.
А дворник шварками лопат
Сотрёт его следы.
На абрис каменных громад
Прольётся тёмный звездопад
Неузнанной беды.

Кружится снег, тяжёл и сед,
Качаются мосты,
И образы, которых нет,
Знакомый оставляют след
На улицах пустых.



И вновь провал под козырьком,
И... Я вхожу в подъезд...
На мне лежит во сне чужом
Неузнанности крест.

А утром время подождёт,
Но вдруг свой сон припомню я...
На полпути ко рту замрёт
Зажатый в пальцах бутерброд –
Тот человек в глазах пройдёт,
Опять знакомостью маня.

По телу обнажённых площадей
Пройди, за этот город порадей,
Болезненную осень обнаружь,
Перевяжи стихом все раны луж.

Туман и островерхость бытия,
Где полусказка прячет полубыль...
Пожить на небе крыши тихо плали,
А с ними уплывала вдаль и я.

И глядя вслед несуетным домам,
Не верится, что мира нет и там.

О НЕВЕЧНОЗЕЛЁНЫХ ДЕРЕВЬЯХ...

Мы стоим на ветру, до костей облетев –
Вот и кончился лета подарок.
Только осень ещё, и куплет, и припев,
Оплывает, как старый огарок.

Где-то вьюги для нас тёплый кокон плетут,
Где-то зимние ставят теплицы...
Мы бы жили ещё, если б жили не тут,
Если б жили не так, как случится.

Мы не вечнозелёны, так что горевать –
Может быть, из обрушенной кроны
Голоштанной весной мы начнёмся опять,
Пусть не вечно-, но юно-зелёны.

БЕЛАА

Банально некрологи отписались,
Что время всё расставит по местам.
Вздохнула на свободе чья-то зависть,
А сплетни оболгут её и там.



Заплачет ангел встретившийся первым,
На том конце пути, куда позвал
Горячий ток заточенного нерва
Сквозь занавесы чёрные зеркал.

Не зеркала завешены – зеркала.
Волшебный голос мечется меж стен.
Живёт и будет жить всё, что сказала,
Что недоговорила – как рефрен
Звучит в ущельях переулков белых,
Ложится на озябший лист без сил.
И утро завтра встанет онемелым,
Как будто кто-то сердце оглушил.

НАДЕЖДА БЕСФАМИЛЬНАЯ

«ЕЩЁ ОНА ЧИТАЕТ СКАЗКИ ГОФМАНА...»

В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Ни птиц, ни снегов, ни дождей, ни иных завес –
Всё ниже существенно ночью во тьму упрятано,
Но есть турбулентность, а значит, и воздух есть,
И тряска в салоне, и оторопь неприятная.

Каких-то два локтя по карте от N до M,
Но карта в масштабе бегов тараканьих свёрстана,
Не хочешь, а вспомнишь звучанье иных морфем,
Попав в завихренья над снежной сибирской пропастью.

Вжимайся поджилками в ночь, аки в стенку тать,
В пустое пространство недюжинной мощью вброшена,
В трёхсотый с копейками раз зарекись летать,
К земле прирасти, как бескрылым сне положено.

Считай бегунов-тараканов и множь в часы,
Опору глазами ища в темноте до чёртиков,
До взлётно-посадочной узенькой полосы,
Линейкой огней от сугробов светло отчёркнутой.

Носком сапога задубелый бетон напашь,
И страхи свои в отпустившее небо выпростай.
...Но в пятке останется ночь ночевать душа,
На волю из пятки никак не решаясь выбраться.

ДОРОЖНОЕ

Когда закончатся дороги,
Сойдась у нового начала,
Где вёрсты, мили и аршины
Свои подсчёты обнулят,
Где нас ещё не примут боги,
Ещё не сварят черти в чане,
Мы сядем в жёлтую машину,
Ты будешь точно у руля.

Мы будем ехать осторожно –
 На то и цвет машины жёлтый –
 Пускай нас резво обгоняют
 Все смельчаки и лихачи,
 Мы будем есть дорогу с ложки,
 И слушать Beatles под шинный шёпот,
 И не спешить играть с огнями
 Без уважительных причин.

.....

Я не люблю водить машину,
 Мой путь дрожит на стыках рельсов,
 Вплетая в день людскую ругань
 И лут в ромашковом соку,
 Твоя дорога тянет жилы
 Под свист хлыста, дождей завесу
 И холкой дыбится упруго,
 Как необъезженный скакун.

Где на сто первом километре
 (А может быть намного дальше)
 Разобран старенький шлагбаум,
 Сойдя с небес, дежурит Бог.
 Он не дурак, во всём он петрит,
 У нас не просит метрик наших
 И намывает мылом банным
 Пересечение дорог.

ВОТ И СТРОКА, ОТ КОТОРОЙ ПОЙДУТ СТИХИ...

Вот и строка, от которой пойдут стихи:
 по часовым поясам разлетелся день –
 в тысячи срочных вполне бесполезных дел,
 выйдет ли к вечеру гусем из вод сухим...
 Выйдет ли, выплывет? Берег нескладно крут,
 оползнем съехали в воду его пески,
 а над водой, как и в самой воде – ни зги,
 следом в неё оползает настой цикут.
 Есть варианты: колодой идти на дно
 или грести до сведения ног и скул,
 втягивать в лёгкие до дурноты тоску...
 (ото дня незаметно к себе, родной).
 Бог не оставит, а леший не разберёт...
 Вынесет речка к намытым волной пескам,
 по часовым поясам будет ночь плескаться.
 ...не получается, чтобы сухой из вод.
 По часовым поясам собираю сны
 в точку кипения нашей с тобой зимы,
 песня без слов в паутинах для снов звенит,
 до пробуждения только бы не забыть.
 Срочно проснуться и вставить слова в строку,
 и языком зализать для тебя конверт,
 а затеряется если в пути – поверь:
 там про любовь, про гусей и настой цикут.



Оползнем в воду уходит сквозь сон песок,
переметает дорогу колючий снег,
мне до тебя хоть на запад, хоть на восток
только и дотянуться, что в этом сне...

На игрушечных счётах отброшу седьмой понедельник.
Слышишь, щёлкнули бойко костяшки на тоненьких прутьях?
Переключится память с минувшего на упреждение,
На голодном пайке ожидания вновь не уснуть ей.

Успокою – надолго ли? – скорой строкой неуклюжей –
Мне стихами сегодня опять отрабатывать карму –
А потом приготовлю тебе незатейливый ужин:
Макароны по-флотски под соусом «чили кон карне».

Ешь хотя бы во сне под мои стихотворные бредни,
Мне от бредней, похоже, теперь уже не откреститься,
Ты почти что цитировал – помнишь? – в письме предпоследнем:
С ощущением высшего замысла нужно родиться.

Под десницею Божией?.. Будет добряге икаться!
Что ни попадя лезет в стихи, словно войско на стенку...

.....

Жаль что в этом году не застали цветущих акаций,
По неведомой воле прорвавшихся в сад самосевкой.

Исчеркан, за стеклом окна больничного,
Кристалльный снег равняется письму:
Сизарь ей носит письма необычные,
Их чтение подобно волшебству.

Ещё она читает сказки Гофмана
И вышивает крестиком цветы,
И греет ноги вязаными гольфами,
Смотря на мир с особой высоты.

Мороз вокруг всё топает и топает,
Зубастое не пряча естество,
А на макушке высохшего тополя
Вьют аисты просторное гнездо.

СЕСТРЕ...

То приснится ли, помстится или станет когда-то? Тихо скрипнет половица, громко охнет с подхватом,
с причитанием, подвывом и заждавшейся слезою... рук тугие перевивы, вот оно, моё, босое, что в сандалиях
ходило и в бумажном сарафане, мне лицо твоё забыть ли, мне оно чужим ли станет?

...Ничего, что ты под вечер, слава Богу, что не позже, выпьем капелек сердечных да присядем на дорожку. Вздохи долги, всхлипы тихи, жаль, что вышло так неловко, задержись, а мне – на выход, до последней остановки. Ляжет скатертью дорога на закат багряно-алый... Всё бы ладно. Да продрогла. И слеза в глазу застыла.

КОРЗИНКА ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

Упрятать в самой долгой ночи
Тринадцать самых-самых лих.
Стары диваны в доме отчем,
Но как вольготно спать на них!
В изножье стихнут дня обрезки,
А заоконья белизна
И страсть к прозрачным занавескам
Добавят лиха в сети сна.
...Дорожный настил раскатын ветром,
На нём, ну как ни изловчись,
След Volvo, валенок и вепря
Сумеешь вряд ли различить.
Увидишь тот, что каплей бурой
Кропит порог и поставец –
Лернейской гидрой ли, Амуром
В кого прицелился Стрелец?
Всю ночь иди на след тревожный,
Ищи, спасай и падай ниц,
Корми овсянкой тёплой с ложки
Проголодавшихся синиц,
Небытие аршином меряй
От сна до звёздного ковша,
Дели паршивицу-химеру
На льва, козлёнка и ужа...
Воскресной ночи тунеядство –
Источник вымышленных бед
Тебе, которой сны не снятся
Последних двести с лишним лет.
Где их бывало простодушье,
В каком истаяло огне...
...Корзинка ёлочных игрушек
С луной играет на окне.

ПАМЯТЬ

Подкатится тихою сапой, а мы только: Ох те!
У памяти мягкие лапы, да острые когти,
Печалит, качает, тревожит и *на* ухо дышит,
И с нами играет, как кошка с испуганной мышью.

Боишься и молим её полуночных приходов,
В ней – летнее пламя и холод январской погоды,
И замков воздушных обломки, беда и потеха,
У памяти голос негромкий, но долгое эхо.



Вьедается в сны и подушки кармической былью,
И пьёт из одной с нами кружки, чего б мы ни пили,
Беспомощным старцем-младенцем смеётся и плачет,
Читая запретные письма из связанных пачек.

Ладонью слезу вытирает, ласкает и нежит,
И фигу не держит в кармане, надеждой не теплит...
...Поднимется день суетливый, подушка остынет,
Нам память – весенние ливни в иссохшей пустыне.

А МНЕ ДЫШАТЬ БЫ В ЭТОМ АВГУСТЕ...

И красоты без слёз не выдержать,
И не сыскать ответных слов:
Как будто бы спешила выдышать
Все ароматы из цветов –
В сосредоточенье загадочном,
Что только сердцем и понять,
Взбивала крылышками бабочка
В дрожащий свет остаток дня.

С непостижимой, дикой храбростью
Летела на цветочный зов,
Ей оставалось жизни в августе
Всего лишь несколько часов.
Спешила, будто сроки ведала
Иль просчитала наперёд,
Когда и где прервётся временный
Её восторженный полёт.

Мелькал – сиреневым по жёлтому –
Узора красочный сумбур:
По голограмме крыльев шёлковых
Давала выпытать судьбу.
Не ограничивалась малостью,
Всё предрешая и губя...

.....

А мне дышать бы в этом августе,
Не надыхаться на тебя.

ЛАРИСА МОРОЗОВА-ЦЫРЛИНА

КОГДА ДУША ПРИВЫКНЕТ К ХОЛОДУ

Вам это, может быть, знакомо:
Вдруг, без причины, в поздний час
Вы так срываетесь из дома,
Как если бы позвали вас.
И вот бульваром заметённым
Вас гонит ветер января,
Ныряет месяц в небе тёмном,
И снег летит у фонаря,
Вдогонку вам несутся тени
Скрепщённых веток, и во мгле
Смятённой памяти – виденье
Свечи горящей на столе.
И, словно сад теней великих,
Бульвар затягивает вглубь,
И вихрь подсказок многоликих
Кружится возле ваших губ;
И всё стремительней в тревоге
Московской ветреной ночи
Несут вас мёрзнущие ноги
На свет невидимой свечи...
Но, наконец, в краях неблизких
Вас побеждает снегопад, –
В смятенье от ворот Никитских
Вы возвращаетесь назад.
Вам не узнать в скитаньях ваших,
Случившихся в который раз,
Что, весь в снегу, на Патриарших
Шагает кто-то в этот час.
Зачем в полуночную смуту
Он вышел в холоде и мгле,
Оставив лампу почему-то
Гореть на письменном столе?
Как вам узнать, что этот вечер –
Ваш неиспользованный шанс,
Что неслучившаяся встреча
Годами будет мучить вас;
Что избежать предназначенья
Ни одному не удалось,
И что судьб пересечение –
Всего лишь времени вопрос.



Грядущее укрыто тьмой времён.
Но знают тайну каменный склон
И тишина, да ветхий полог неба:
Ждёт город со сладчайшим из имён –
Там всё сумеет взять от власти он,
И там придёт к нему его Батшеба.

Пока же спит пастух в своём шатре,
Припав щекою к вытертому меху...
Поёт холодный ветер на горе
И смотрят звёзды яростные сверху.

Кто шепчет на забытых языках,
Что только этот миг в его руках,
А грешный путь – важнее результата?
К чему и знать, что жизнь твоя в веках
Останется, как стёртая цитата...

Пусть будешь ты удачливее всех,
Настанет день – оплачешь свой успех,
И скажет только близкая могила,
Как жизнь для искупленья коротка.
Но засияет всем через века
Звезда, что одному тебе светила.

Любовь пребудет, совесть устоит,
И чудо Слова – прочно в этом мире.

В худом шатре, покуда спит Давид,
Играет ветер на его псалтири.

КУКЛОВОД

То ли ветер завывает,
То ли песенку поёт.
У печурки напеваает
За работой кукловод.

Старых кукол полон короб,
Мирно тикают часы...
Тем, кому на сцену скоро,
Клент уши и носы,

Ножку этому подвяжет,
Этой глазки подновит –
Ну, а та ещё попляшет,
Да и тот хорош на вид.

Вот паяц – совсем калека,
Только голову не тронь...
А Пьеро не нужен лекарь –
И летит Пьеро в огонь.



Есть другой Пьеро – не так ли? –
 Пусть пока и глуповат.
 Поумнеет на спектакле,
 Всех лушили... так-то, брат.

Этот неслух... что же, значит,
 Попрочней привяжем нить.
 Пусть поскачет, пусть поплачет...
 Если можно починить –

Жизнь продлится. Всем покуда
 Хорошо в его руке...
 И лежат безликой грудой
 Заготовки в сундуке.

Акварель за окном промокла:
 Листопад в голубом дыму.
 Дождь царапает лапкой стекла –
 Скучно, бедному, одному.

И, не чувствуя совершенства,
 С ним мурлыкают в унисон
 Позабывший мотив блаженства
 То ли осень, а то ли сон.

Клонят головы: «Спите, спите...», –
 Волны нежности и тепла,
 И легко золотые нити
 Обволакивают тела.

Поворот временного крута
 Замедляется в небесах,
 Безмятежно обняв друг друга,
 Стрелки замерли на часах.

Что им солнце, луна и звёзды,
 Что века им, года и дни...
 Лишь одно – что еще не поздно –
 И показывают они.

АПОКРИФ ДЕРЕВА

Быть не может, чтобы Иосиф
 Не учил сына ремеслу,
 Что, ребячьи дела забросив,
 Не вставал он порой к столу,

Где светились медово стружки –
 С малолетства его игрушки,
 Где и сам он смолой пропах,
 Помогая пригнать друг к дружке



Части ладные на шипах.
Наводил на поверхность глянец
Под размеренный разговор
И, ссадив ненароком палец,
Умываться бежал во двор.

Ну, а где-то все эти годы
Ждало древо такой породы,
Что и время его не ест...

Может, в горестный день исхода
Думал он, что на совесть кто-то
Делал этот тяжёлый крест?
Не родной ли древесный запах
В смертный час ощутил он вдруг,
В свежеструганных крепких лапах
Возносимый для крестных мук...

Милосердного омовенья
Ждал, не чуя прикосновенья
Злых шипов своего венца –
И, как мальчик босой когда-то,
Рад был, что ещё до заката
Возвращается в дом отца.

КОГДА ДУША ПРИВЫКНЕТ К ХОЛОДУ

Когда душа
 привыкнет
 к холоду,
Как книга – к пыли,
Идёте вы бродить по городу,
Где вас
 убили.

Здесь день
 ночным
 кошмаром длится
Неумолимо,
Чужие улицы – как лица
Под гримом.

Любое время года кажется
Вам здесь зимою.
Кто домом звать его отважится?
Тюрьма тюрьмою...

Лишь суета сует
 царит в местах,
Где было
 свято,



А радость
тенью птицы
на крестах
Распята.

И вы, как призрак средь других людей,
Как тень, незримо,
По эшафотам старых площадей
Сквозь, над
и мимо.

Кому печалиться по поводу,
Что здесь
вы были...
Всего страшней –
ходить по городу,
Где вас
убили.

Так что же, выходит, неправда –
Сияющий свод голубой,
Вечернего света отрада
И облачный сад над тобой?

А истина здесь – неизменна
И явлена тем, кто не спал:
Осколки хрустальной вселенной,
Летящие в чёрный провал.

СЕРГЕЙ ШАМАНОВ

СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО РАБОТЫ НЕИЗВЕСТНОГО МАСТЕРА

Во время осмотра особняка, я чувствую себя музейным охранником. Не знаю, почему – может быть, из-за того, что подобные дворцы я видел, лишь посещая музеи, а может быть благодаря архитектору и декоратору, которые щедро наполнили интерьер предметами из разных эпох. Новые буржуа не могут похвастаться родословной благородных предков, но на свои деньги способны купить людей, обладающих вкусом, и построить новую историю.

Этот дом я обхожу каждую смену. Минимум три раза – заступая на дежурство, сдавая его и на ночь. И это не считая осмотра тех помещений, в которых днём работали уборщицы и прочий обслуживающий персонал – я бегло проверяю за ними сохранность вещей, стен и колонн с венецианской штукатуркой. Иногда хочется плюнуть на это, поставить галочку и расстаться с людьми, но я понимаю, что если что-то упусти – мне такой оплошности не простят. Работа есть работа, какая бы она ни была, – и я её выполняю.

Покои охраняемого здания я знаю, наверное, лучше, чем свою маленькую квартиру – два этажа с высокими окнами, просторные залы, тихие кабинеты и укромные спальни. Дом, который я обхожу трижды за смену, за которым я слежу через камеры наблюдения, сидя в сторожке с напарником, отвечающим за прилегающую к дому территорию.

Иногда мы обходим территорию вокруг дома вдвоём. Я люблю это делать, это напоминает прогулку по парку. Среди зелёных лужаек таится загадочный лабиринт из стриженных кустов, незамысловатые ходы, которого мы поспешно проходим и направляемся к пруду, окружённому цветочными горками из жёлтого камня песчаника. Фонариками мы просвечиваем безупречную гладь пруда до самого дна, тревожа белых лебедей и золотых рыбок. За частоколом молодых кипарисов мы бросаем взгляд на грунтовый корт, – не появились ли на нём чьи-то следы... Из человеческих фигур на нашем пути встречаются лишь классические мраморные статуи, компанию которых дополняют каменные клумбы и амфоры с изображением резвящихся фавнов. На садовой территории меньше ценных вещей, но на неё проще пробраться, занесённая ветром бумажка может стать причиной недовольства, и потому моему напарнику приходится часто проверять вверенный ему участок. Иногда начальство задаёт мне вопросы о нём, я понимаю, что и его они расспрашивают обо мне. Так же как и садовника с уборщицами – все мы приглядываем друг за другом, сплошное круговое наушничество.

Ежедневный осмотр дома обязателен в отсутствие хозяев. Правила поведения в их присутствии мне обещали дать по надобности. Но хозяин, или хозяйка не приезжают. Кто они – я не смог выяснить, а после уклончивых ответов, лишних вопросов не задавал.

Атмосфера повышенной секретности царит в этом доме. Я не знаю, чей дом охраняю, а когда устраивался в охранное агентство, мне и вовсе велели не распространяться о деталях будущей работы.

До этого я не работал охранником. Кое-как перебивался, нигде долго не задерживался. В охранное бюро меня устроил мой родной дядя. Разница в возрасте у нас небольшая, но этот парень настоящий лидер, кажется, что такой везде может преуспеть. Беря меня под опеку, он сказал – главное, не подставь меня! Я своих не подставляю, а его тем более. Не знаю, смог бы я отдать за него жизнь, если бы довелось. Но за кого и отдал бы – так за него.

Благодаря ему я имею работу, которая приносит мне кусок хлеба и внесла новый уклад в мою жизнь. Сутки через двое я паркую свою машину на гостевой стоянке за сторожкой, вместе с другим обслуживающим персоналом. Дикий виноград, цветочные горки и туевые посадки делают своё дело – из дома скромный транспорт прислуги никак не приметись. Всё здесь упорядочено, ни на миг нельзя забыть кто ты, и где твоё место.



Мой же день проходит вполне однообразно – кроме обходов, это телевизор, новости, книги, интернет. Интернет – изобретение военных, они же всегда норовили контролировать его, и на работе подобной моей, он долго был под запретом, как будто общение со старым другом или новой подружкой может стать брешью в охранной системе. Теоретически может, но всё это паранойя, а от прогресса и беспроводной связи никуда не уйдёшь, особенно если дом твой не в горах, а в престижном районе.

Ещё я сочиняю стихи, которые записываю в блокнот своего телефона и никому не показываю. Иногда, в минуты скуки, я представляю, как декларирую их со сцены. Хотя такие стихи лучше читать в интимной обстановке любимой девушке, по крайней мере её смех не будет обиден. Но любимой девушки у меня нет.

Естественно, никому невдомёк про моё рифмоторчество. Охранник, пишущий стихи – это не охранник, а поэт, добывающий средства на пропитание работой в охране. В сложном мире нельзя упрекать людей за то, что они стараются его упростить и порой прибегают к штампам. Раз охранник – значит, недалёк, не собираюсь спорить и доказывать обратное. Но я всегда стремился к идеалу, старался переходить отведённые мне границы, стать лучше, чем я есть, и красота во всех её проявлениях всегда меня увлекала.

Да, я обожествляю красоту, но сам не могу ею похвастать. Точнее, сейчас не могу. Когда-то я был смазливый юношей, который в пору возмужания не мог оторваться от зеркала, и девушки симпатизировали мне исключительно за выдающуюся внешность. Рано или поздно это проходит, но в моём случае прошло слишком рано. Будучи ещё школьником, я пришёл на свидание к своей зазнобе и напоролся на трёх парней, вознамерившихся отбить у меня желание к амурным похождениям. Я был крепок физически и оказал им серьёзное сопротивление, но силы изначально были неравны и разозлённые подонки здорово меня отмудохали. Из больницы я вышел другим человеком, как внешне, так и внутренне. Нос в лепёшку, зубы выбиты, как стёкла в заброшенном здании, всё лицо в глубоких шрамах, словно залатанное, да оно таким и было. Не лицо, а страшная маска, под которой обида на весь мир.

Моя душевная рана не заживала, но ведь надо как-то жить дальше. Внешность как мог, подлатал – вставил зубы, шрамы прятал под щетиной и временами отпускаемой бородкой. Жизнь наладилась с переменным успехом, и канва повседневности стала мне забытём. Я понимал, что никогда не стану прежним, и к своим тридцати годам подзабыл, каким я был в юности.

Но однажды всё изменилось...

Это случилось в охраняемом доме. Как обычно, я обходил его на ночь, и ничто не предвещало сурпризов. В большой комнате, что располагалась в правом крыле дома, я ощутил постороннее движение и замер как вкопанный.

Оказалось, что я обнаружил сам себя. Передо мной возвышалось зеркало в резной золочёной раме, размером с человеческий рост. Оно было придвинуто к стене и отражало часть комнаты – тяжёлые золотистые портьеры, картину на стене, отполированные латы рыцаря при полном параде и амуниции.

... И меня.

Я стоял перед зеркальной поверхностью и укоризненно смотрел на себя. Забавно, что в этом безжизненном здании меня напугало собственное отражение. Я растерянно продолжал смотреть в зеркало, силясь понять, что происходит. Что-то явно было не так... И, наконец, я понял – это со мной было что-то не так. Вернее все так! Да, да, – всё было именно так, как надо. Я даже запутался от всего этого. Из зеркала на меня смотрело моё отражение, лишённое шрамов, нос прямой, и в глазах лучился уверенный свет.

Я в это не мог поверить. Больно ущипнул себя между большим и указательным пальцами, хлестнул ладонью по обеим щекам...

Мираж не исчезал.

Зеркало показывало меня таким, каким я мог бы быть, не случись со мной та беда в далёком юношестве. Оно как будто смеялось надо мной.

Я вглядывался в отражение комнаты, пытаюсь выискать изменения в окружающем интерьере. Поза рыцаря не изменилась, мрачноватый пейзаж на картине не проявился, портьеры не утратили свою позолоту.

Рассматривая их тяжёлые складки, я заметил, что они шевельнулись. Внутреннее чутьё охранника, коим я был как минимум на половину, подсказывало, что это не сквозняк – кто-то прятался за ними. Я решительно обернулся, прошёл к окну и одёрнул портьеры. За тканью никого не было, верно, мне показалось.

Когда я вернулся к зеркалу, наваждение исчезло. На меня снова глядело знакомое, обезображенное лицо. Глаза больше не лучились, я словно получил, что хотел, и потушив свет, покинул комнату.

Когда я вернулся в сторожку, мой коллега заметил мою озадаченность. Я заверил его, что всё в порядке, хотя это было не так – я ничего не мог делать, ни на чём не мог сосредоточиться. Меня подбивало снова прийти в гостиную и заглянуть в зеркало, чтобы получить из его глубин ответы на свои вопросы.



Утром, сдавая смену, я, видимо, слишком тревожно взглянул на зеркало, и мой сменщик взялся его осмотреть. Напрасно он старался – зеркальная поверхность была целой, ни один завиток на раме не повреждён, даже позолота не слезла. То, что тревожило меня, находилось не на поверхности, оно было внутри.

Больше двух суток без чудес достаточно время, чтобы снова почувствовать землю под ногами. И я уверил себя в том, что увиденное было наваждением.

На следующей смене, привычно обходя дворец вечером, я миновал зеркало, нарочно не глядя в его сторону. Но когда закончил обязательную программу, словил себя на том, что спешу к зеркалу так, будто забыл что-то важное.

Я снова смотрел в него. И снова на меня смотрело моё прекрасное отражение. Не совсем моё, но в этой видимой недоступности было что-то манищее. Отнятая у меня красота находилась за тонкой поверхностью стекла. Совсем близко, но вернуть её было невозможно. Зато можно было на неё смотреть. И я это делал: смотрел, смотрел...

Разглядывая себя, корча смешные рожи, я снова заметил движение в зеркале. Холодок прошёл по спине, и я буквально окаменел.

Возбуждение сменилось гипнотическим созерцанием, и я был словно во сне, когда появилась она. Женская фигура в белом платье пересекла помещение за моей спиной. Я обернулся, но не увидел её, и тут же смекнул, что не увижу. Её не могло быть здесь. Она была или в моём воображении, или в этом зеркале...

Пока я стоял так растерянно, фигура снова стремительно пересекла пространство за моей спиной.

Женщина. Можно было ещё в тот раз, понять, что я имею дело с ней – по тому, как вкрадчиво она появлялась.

Я был уверен, что увижу её снова.

Везжая домой после смены, я разглядывал своё отражение в зеркале заднего вида, но, конечно, не увидел ни своей красоты, ни этой женщины. Дома у меня не было зеркала, когда-то я разбил его в ярости, оставив самый большой осколок, чтобы смотреться во время бритья. Я внимательно глядел в него, держа перед собой так, словно собрался перерезать им вены, но шрамы не исчезали, а женщина не показывалась. Всё говорило о том, что видение было связано исключительно с зеркалом в охраняемом доме.

И мне было нужно это зеркало.

Снова я заступил на смену, и дом перешёл в моё распоряжение. Я не мог думать ни о чём другом, кроме как о зеркале. Мне казалось, что и зеркало меня ждёт. В этот раз женщина прошла мимо меня значительно медленней и совсем близко. Будь это на моей половине – я бы верно ощутил её прикосновение к своему плечу.

Осмотрев помещение через зеркало, я снова сосредоточился на своём прекрасном отражении и не заметил, как она оказалась рядом.

Женщина стояла за моей спиной. Она была одета в длинное белое платье с открытыми плечами, распущенные золотистые волосы сверкали отражённым светом. Лицо её было прекрасно, как только можно себе представить. У каждого из нас есть свои идеалы красоты, и она не то, что не соответствовала моим идеалам, она их расширяла, превосходила, меняла.

Преодолев оторопь, я медленно оглянулся. Как я и предполагал, за спиной никого не было. Женщина улыбнулась на мою тщетную попытку увидеть её в своей реальности.

Я пытался с ней заговорить, но она лишь качала прекрасной головкой, и, в ответ на мои слова, что-то произнесла. Её губы безмолвно открывались, и когда я, наконец, догадался, что звуки не способны проникать сквозь зеркало, она утвердительно кивнула и манерно улыбнулась широкой белозубой улыбкой.

Она протянула ко мне руку, и я шагнул к зеркалу. Уже готовый переступить черту, я ощутил интуитивный страх – подобное испытывают животные, бросаясь наутёк из-под прищела ружья, которого они никогда в своей жизни не видели. Незнакомка в зеркале прочувствовала мои опасения, всё поняла и, скривив губы в презрительной усмешке, решительно развернулась и была такова.

Я столкнулся с загадкой, и пытался её разгадать. Поисковые запросы подбрасывали однообразные ссылки, самым бесхитростным способом норовя подбить меня на покупку банального зеркала наложенным платежом с доставкой в любую точку страны, в удобное для меня время. Мои худшие опасения получили подтверждение – даже если во всемирной паутине и существует нужная мне информация, она погребена под ворохом всякой чепухи, да и наверняка она на незнакомом мне языке.

И снова я ждал незнакомку, любясь своим отражением. Она возникла за моей спиной, так словно действительно пряталась за портьерами, и вскоре дышала в затылок моего отражения. Маленькие руки легли на мою грудь, плотоядные губы приблизились к шее. И я увидел то, что неспособен был ощутить –

она целовала моё отражение, довольно страстно. Я дотронулся ладонью до своей шеи, и она поцеловала мою руку. Обернувшись к ней, я краем глаза увидел, как моё отражение сполна воспользовалось этим и заключило женщину в объятия.

Я был поражён – моё отражение бросило меня. Казалось, что оно обладало не только моей утраченной красотой, но и моей утраченной решительностью.

Снова повернувшись лицом к зеркалу, я видел, как она ласкает моё красивое отражение, повисая на нём. Я колебался – шагнуть к ней или нет? Невероятная возможность оказаться по ту сторону зеркала не виделась мне сложной. Всего лишь переступить границу миров. Главное понять, к чему приведёт этот шаг...

Шаг, который я той ночью не сделал.

Утром, покидая дом, я опасался, что меня бросило даже моё неприглядное отражение. Но нет, оно не оставило меня, оно мелькало в домашних и прочих зеркалах, всё больше склоняя к мысли о том, что мне не место здесь. В том зеркале заключалось всё, чем я хотел обладать – моя красота и самая красивая женщина. Я отдавал себе отчёт в том, что мир этот – призрачный. Но насколько иллюзорен и призрачен тот мир, в котором мы живём?

Заступив на смену, я встретил архитектора, который пришёл обсудить с представителем хозяина изменения в летней веранде. Прислушиваясь к их разговору, я понял, что хозяин дома в скором будущем появится здесь.

Его загадочная личность интересовала меня. Кем был этот человек? Какая связь между ним и зеркалом?

Архитектор попросил меня помочь развесить картины в кабинете дома. Молодой парень, склонный к эпатажному стилю в одежде, тот ещё шутник, – он предупредил меня, чтоб я был осторожен, мол, картины, которые я беспечно прижал к туловищу локтями, стоят миллионы. Расчехлив первый свёрток, я увидел *маковье поля* Моне и сказал архитектору, что его надули – оригинал хранится в парижском музее Орсе, так же, как и *сислейские купальщицы*. Изворотливый парень тут же нашёлся, заявив, что это точные копии, сделанные специалистами непосредственно с оригинала, и стоят они намного дороже, чем аутентичные работы известных местных художников.

Мы немного посмеялись и, уловив момент, я спросил архитектора про зеркало. Он несколько не изменился в лице, и лишь снисходительно отвечал общими фразами: «антиквариат», «стильная интерьерная вещица», «работа неизвестного мастера». Я понял, что зеркало, скорее всего, приобрели случайным образом, и возможно только мне известна его тайна.

Поздним вечером я снова стоял перед зеркалом. Мне показалось, что отражение моё утратило часть красоты. Придирчиво разглядывая лицо, я убедил себя в том, что ничего не изменилось, это просто тревога. И верно, успокоившись, я улыбнулся себе уверенной, безмятежной улыбкой.

И женщина улыбнулась мне.

Она стояла рядом со мной, словно позируя для свадебной фотографии. И вскоре она пошла ещё дальше, освободившись от одежды. Её идеальное тело цвета алебаstra ярко сияло в полумраке, охалка белого платья лежала у ног, точно лебедь. Она обнимала моё отражение, и глядя на это, я жалел лишь о том, что не могу в полной мере ощутить её ласк. Ценой нашей близости по-прежнему оставался мой шаг в неизвестность.

Я сделал другой шаг. Пальцы мои быстро расстегнули пуговицы на рубашке, и я снял её, снял всю одежду, покидав её на мраморный пол...

Обнажённым я стоял перед своим отражением и прекрасным призраком зеркала.

Она тут же воспользовалась этим, заключив моё отражение в свои объятия, и я не мог отвести глаз от фигур, слившихся в любовном танце.

Казалось, что платье её действительно превратилось в белого лебедя, плававшего возле нас в чёрной воде заverteвшегося омута. Связь между нами становилась всё более прочной, и поцелуи с ласками отдавались на моём теле мурашками, которые волнами проходили по коже.

Неожиданно за нашими спинами взорвалось яркое свечение, ослепившее меня.

Это было отражение фигурной люстры, подвешенной в центре комнаты. Едва рассеялся мрак, моя наперсница вмиг пропала, а собственное отражение от страха приняло обычный, малоприятный вид.

Мне бы схватить одежду и исчезнуть, но в этом помещении невозможно было спрятаться. Всё видно насквозь. И было видно нежданного визитера.

Застывший в проёме двери коллега смотрел на меня круглыми глазами. Было похоже на то, что мы оба опешили и не знаем, что друг другу сказать. Мне пришлось объясниться. Я наплёл о том, что у меня внезапно возникла аллергическая сыпь на теле. Мой смущённый коллега не спорил, сказав, что это моё дело.



Во время утреннего обхода я увидел уборщицу, усердно драившую зеркало. Шипящие брызги моющей жидкости орошали стекло, в котором я на миг увидел лицо молодой женщины, с укором поглядевшее на меня.

Я понимал, что моё поведение не сойдёт мне с рук. И прежде чем я закончил обход, мне позвонили с работы и попросили появиться в офисе как можно раньше.

Я отправился туда с легко объяснимой неохотой и, заводя машину, долго смотрел на своё лицо в зеркале, моя отвратная внешность идеально совпадала с тем, что творилось у меня на душе. Мой дядя недолго пообщался со мной, задавая разные вопросы, но старательно обходя ночное происшествие. По его вопросам я чувствовал, что его интересует, не тронулся ли я умом. Под конец нашего разговора, он сообщил, что меня переводят на другой объект. Это не было увольнением, но работать охранником в ювелирном магазине мне не особо хотелось.

Вечер я коротал в баре. Женщины отводили от меня равнодушные глаза, и, вспоминая призрак зеркала, я думал о том, что, наверное, зря побоялся менять свою жизнь. Но теперь, оставшись с этой жизнью наедине, такой, какой она была – размеренной, обыденной и предсказуемо беспроблемной, я понял, что не очень-то её ценю.

На следующий день я подъехал к заветному дому, припарковав машину в укромном месте. Шансов попасть на бывшее место работы у меня не было. Личных вещей не полагалось оставлять, а вернуться, чтобы забрать что-то якобы забытое, тоже было бесполезным предложением – охранник будет сопровождать меня, как собака-поводырь беспомощного слепца.

Глядя на дом, я не мог увидеть даже окон того зала, где стояло зеркало, и если бы мне снова выпал случай, я бы точно не остановился.

Вспомнив женщину, драившую зеркало, я предположил, что девушка в зеркале может появиться только в вечернее время. И верно, ведь природа призраков – ночная...

Телефонный звонок прервал мои раздумья. Это был мой дядя, и я смутился – не моё ли пребывание в этом месте, поблизости от охраняемого объекта, стало причиной звонка.

Он спросил, не смогу ли я сегодня ещё раз выйти на дежурство. Мой сменщик был не готов, насколько я понял, оказался на подпитии. Обычное для него дело, с которым все смирились, учитывая, что на работе это не отражалось, но внезапная смена графика застала парня врасплох.

Конечно, я согласился! Времени до смены достаточно, и я решил написать о том, что приключилось со мной в доме. Вдруг не смогу выбраться из зеркала...

Чтобы не передумать, я прихвачу из дому свой осколок зеркала для бритья. Моё неприглядное отражение подтолкнёт меня...

Все мы ищем красоту и находим её в других людях. Эти люди – как зеркала, они готовы видеть нас лучше, чем мы есть на самом деле.

Зеркало в доме притягивает меня, как чёрная дыра. Когда-то я читал, что астронавт, падающий в чёрную дыру, попадёт в горизонт событий. Он увидит рождение и смерть Вселенной, а в глазах сторонних наблюдателей будет вечно падать в чёрную дыру. Возможно, что, шагнув к зеркалу, я обрету вечную красоту, а для мира, оставшегося за границей зеркала, стану загадочным призраком.

Но как всё будет на самом деле, я узнаю, лишь сделав шаг.

Поздним вечером мы стояли возле злополучного зеркала, которое так привлекало моего племянника. Нас было четверо мужчин, – следовательно, занимавшийся исчезновением, архитектор, построивший дом, представитель хозяина и начальник охранной фирмы в моём лице. Четверо скептиков, пришедших не для того, чтобы убедиться, а для того, чтобы отработать последнюю версию.

– Вы верите в ту несусветную чушь, которую написал ваш работник? – представлявший хозяина молодой парень презрительно скривился. – Это фантастический рассказ, сочинённый на досуге! Единственное, что из всего рассказанного может быть правдой, это разгуливание по дому в обнажённом виде.

Архитектор прыснул одобрителем смехом. Эту парочку было трудно убедить показать нам зеркало, не говоря уже о том, чтобы отнестись хоть чуточку серьёзно к описанной истории. Лишь следовательно, серьёзный мужчина средних лет, сохранял нейтралитет, он, как и я, верил в факты.

– У нас есть эта запись. Мы знаем, что он бывал в этом зале, – я сделал маленькую паузу, скользнув глазами по интерьеру помещения. – И мы знаем, что он зашёл сюда и не вышел. Камеры наблюдения не



врут, постороннего вмешательства в их работу не обнаружено. На последней записи он идёт по коридору, заходит в этот зал и всё. Всё! Больше его не видели.

– Загадка, достойная Эдгара По и Агаты Кристи, – хихикнул архитектор и тут же смолк под моим взглядом, вспомнив, видимо, что исчез мой родственник. – Вы не переживайте раньше времени, наверняка он нашёл какой-то выход отсюда и улизнул, – спокойным тоном добавил он.

– Или он отсюда не выходил, – подал голос следователь. Мужчина вздёрнул брови и провёл глазами по помещению, прикидывая, где можно было спрятаться или незаметно выбраться. – Окна были заперты изнутри, да и камеры по периметру здания не зафиксировали движения. Вариантов не так много, – он остановил взгляд на своём отражении в зеркале.

Мы все, проследив за его взглядом, тоже смотрели на зеркало.

– Откуда это зеркало? Что о нём известно? – спросил я.

– Это старинное зеркало, изготовленное в Италии, около двухсот лет тому назад, – сказал архитектор.

– Вы его покупали?

– Да, я присмотрел его во время командировки. Можно было без хлопот купить зеркало в магазине и заказать под него любую раму у местных умельцев, но мне хотелось, чтобы оно было настоящим – антикварной вещью из-за границы.

– И вам такую вещь охотно продали.

– Продать всегда сложнее, чем купить, поэтому продали охотно, – усмехнулся архитектор.

– Возможно, что вы купили больше, чем хотели? Продавцы не распространялись о зеркале? В чём его раритетность?

– Антиквар рассказывал о духах, обитающих в зеркале, и всё такое... Они про каждую вещь рассказывают подобные небылицы, лишь бы заработать на ней чуть больше, чем она стоит.

Представитель хозяина кивнул:

– Страны с богатой историей охотно эксплуатируют её, обогащая мифами.

– И вы купили эту антикварную вещь *с душой* для дома, – поддел я его.

– Вы можете ещё раз обыскать особняк. Делайте, что хотите, только давайте уже закроем эту тему, – раздражённо произнёс представитель хозяина.

Мужчина шагнул к зеркалу, и, стоя ко мне спиной, принялся судорожными движениями поправлять воротник.

– Можно делать, что угодно? – переспросил я, встретившись с его взглядом в зеркале.

Он ответил мне утвердительным кивком головы. Я буквально сорвался с места и, остановившись возле рыцарских доспехов, со скрипом выгнул из ножен двуручный меч. Он был тяжёл, но я не раз держал подобное оружие в руках, и уверенно взвесив его в руке, полоснул воздух.

У архитектора глаза на лоб вылезли, его товарищ отошёл от зеркала, уступив мне дорогу. Следователь, хитро прищурившись, наблюдал за происходящим.

– Я не совсем то имел в виду, – сказал мужчина, опрометчиво снабдивший меня полномочиями.

– А я именно так всё и понял! – угрожающе произнёс я, проведя мечом перед собой.

– Не трогайте зеркало! Это дорогая вещь! – сорвавшимся голосом крикнул архитектор.

– Мой племянник был мне дороже!

Препятствий передо мной не было. Остановившись перед зеркалом, я занёс меч.

– Стой! – крикнул следователь, единственный из находившихся в комнате, кого я готов был слушать.

Он подошёл ко мне и положил руку на моё плечо. Вглядевшись в зеркало, я едва удержал в руках меч...

От стены с краем портьер отделилась фигура в белом и медленно проследовала к нам. Мы растерянно обернулись, но отражение не обладало телом. Женщина, на которую мы смотрели, находилась лишь по ту сторону зеркала. Остановившись у стеклянной границы, она, заслонив наши отражения, глядела гордым, заносчивым взглядом.

– Что за чертовщина! – пробормотал архитектор.

– Этого не может быть, – сказал представитель хозяина.

Я царапнул мечом поверхность зеркала и крикнул:

– Верни мне моего племянника!

Стальное острие возле горла женщины не заставило её шелохнуться.

– Так сгинь навеки! – с размаху я обрушил на зеркало меч.

Никто уже не пытался остановить меня. Противоречия, размежевавшие мужчин в этом зале, сгнули. Страх перед необъяснимым сплотил нас, всем хотелось, чтобы это закончилось как можно скорей.



Но помешали мне не они. Меч прошёл сквозь стеклянную поверхность, как сквозь масло, женщина мигом схватилась за острую сталь и вырвала оружие из моих рук. Это была не женщина, а существо в её облике, сила его казалась мне неодолимой.

Архитектор, с неожиданной резвостью, припустил к стене, вытащил из ножен полуторный меч, и вернулся к зеркалу, намереваясь повторить мою неудавшуюся попытку.

– Будь осторожен, оно очень сильно! – успел крикнуть я.

Мужчина, целя мечом в живот женщины, попытался его проткнуть. Злая усмешка исказила её лицо, и она управлялась с нападавшим ещё легче, чем со мной. Схватившись за меч, она дёрнула оружие на себя, и мужчина полетел на зеркало, которое его тут же поглотило.

И вот мы увидели его по ту сторону. С перекошенным от ужаса лицом он стоял в зазеркалье, растерянно озираясь по сторонам. Быстро сориентировавшись, он кинулся к границе зеркала и принялся неистово в неё колотить. Ни звука, ни малейшей вибрации, он был надёжно ограждён от нас, находясь в том мире, где властвовал злобный призрак. Тварь, возникнув за его спиной, схватила его за плечи и повалила с ног. Несчастный беспомощно брыкался в её объятиях, женщина широко раскрыла рот, в котором сверкнули длинные острые зубы, приблизилась к его шее и крепко вцепилась в яремную вену. Кровь фонтаном вырвалась из разодранной шеи, ударив в противоположную от нас поверхность зеркала, которая покрылась багровыми каплями и змеящимися ручейками.

Товарищ несчастного был готов броситься сквозь зеркало на помощь, но следователь остановил его: – Не надо, мы ему не поможем!

Я тем временем схватил алебарду и попытался проткнуть существо. Она ловко увернулась, схватилась за древко и вырвала оружие с такой силой, что мне ладони обожгло.

– Мы не управимся с ней! Это невозможно! – услышал я.

Шансов действительно было немного. Мой мозг лихорадочно перебирал варианты, ведь должно было быть уязвимое место!

– Справимся! Я знаю, что делать! – крикнул я. – Помогите мне!

Я метнулся к рыцарским доспехам и, не рассчитав силы, ухватился за алебарду так, что латы со всем прочим хозяйством полетели на пол и рассыпались с оглушительным грохотом. Мужчины удивлённо смотрели на меня, ожидая подсказки.

– Зеркало! Отодвиньте его от стены!

Они послушали меня и осторожно отодвинули зеркало. Существо яростно металось у границ своего мира, но не проникало сквозь них, и мои товарищи по борьбе были в относительной безопасности.

Оказавшись позади зеркала, я увидел его изнанку – потемневшую фанеру, изъеденную бесчисленными поколениями жучков, такая древесина вполне могла быть ровесницей скрипок Страдивари. Я нисколько не сомневался в необходимости уничтожить зловещую тварь, и, отступив несколько шагов, точно по центру всадил острие алебарды. Раздался треск дерева, потом звон стекла, и осколки посыпались на мраморный пол, разбиваясь на мелкие бисерные частички.

В момент нашего триумфа мы стояли посреди стеклянных россыпей, ярко сверкавших в лучах ламп. Позже следователь рассказал, что после моего удара наконечник алебарды насквозь пробил грудь женщины. Видно та картина была последним, что отразилось в зеркале, ибо, когда я поднял с пола кусочек, в нём ничего не отражалось, амальгама была мертва. Кончики моих пальцев окрасились кровью, я решил, что порезался, но, оказалось, кровоточили осколки зеркала – от каждого кусочка растекались в стороны алые пятнышки, словно раскрывающиеся солнцу лепестки маленьких цветков, и пол быстро покрылся кровью.

Перепрыгивая кроваво-стеклянное месиво, мы покинули зал. Придя в себя, долго обмозговывали, как уладить это дело, в результате которого бесследно исчезли два человека.

Опустошив запасы алкоголя, мы согласовали удобоваримую версию и обязали друг друга как можно дольше не распространяться о том, что произошло в действительности.

Мы не клялись хранить нашу тайну вечно, прекрасно понимая, что в такую правду всё равно никто не поверит.

ПОРТРЕТ МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ

В заграничной командировке Максим совершил неожиданную покупку и, вспоминая сопутствовавшие ей обстоятельства, пытался осознать для себя случившееся. Хотя, что особенного могло произойти? – молодой человек просто зашёл в антикварную лавку, соблазнившись выставленным на

улице товаром и резонно полагая, что основные сокровища должны находиться внутри. Под ногами лежали коробки, туго набитые грампластинками, со всех сторон громоздилась патриархальная мебель из постаревшей и состаренной древесины, горизонтальные плоскости которой были заставлены всевозможными фарфоровыми фигурками, тарелками и чайничками на тканых кружевных салфеточках. Глядя на избыточность окружающего благолепия, не поймёшь – мебель продаётся или используется в качестве витрины.

Трудно было что-то выделить, но, наконец, его взгляд остановился на изящно расписанной фарфоровой вазе, которую он рискнул взять в руки.

– Пять евро, – услышал он хрипый голос.

Пожилая женщина, в балахонистом сарафане и кедах, с улыбкой смотрела на посетителя из глубокого плетёного кресла-качалки.

– Красивая вещица, – улыбнулся ей Максим, подумав, что ваза стоит совсем недорого, но вслух этого не произнёс. – Сколько ей лет?

Не услышав ответа, он обернулся к женщине.

– Это поздний Китай, – наконец промолвила она, и лицо её сморщилось от широкой улыбки.

– Поздний Китай... Это, в каком интересно веке... – задумался он, и прыснул, когда его осенило: – Ах, да! – поздний Китай! У меня дома телевизор поздний Китай, и компьютер поздний Китай, и музыкальный центр... Там, где я живу, в торговых павильонах и рынках, широко представлены экспозиции этого периода.

Женщина счастливо улыбалась. Её приторная улыбка начисто слезла с лица, когда Максим поставил вазу на место.

Резкая перемена в облике продавщицы покорила посетителя. И тут бы его осмотр магазина должен был подойти к концу, но совсем неожиданно он заметил висевший на стене портрет, который его привлек.

– А это что? Тоже продаётся? – спросил он, проходя мимо женщины.

Написанный маслом портрет, размером сорок на пятьдесят, нарочито неплотно сидел в золочёной раме, отчего можно было предположить, что оба предмета продаются раздельно. На нём была изображена женщина в белой широкополой шляпе и светлом платье, облокотившаяся на каменный бордюр моста. Длинные тёмные волосы струились по плечам, обращённое в даль лицо являло благородный точёный профиль, казалось, что вот-вот она обернётся...

– Здесь всё продаётся! – приободрила его продавщица.

– И сколько стоит картина?

– А сколько вы за неё готовы дать?

– Ну, сложный вопрос, – задумался Максим. – Картина может стоить миллионы, а может ничего не стоить.

– Ну, эта то, миллион точно не стоит! – рассмеялась женщина так, что парню стало обидно за картину. – Если бы она стоила миллионы, уже бы давно сработала сигнализация...

Максим снова перевёл взгляд на обсуждаемый товар. Шутка женщины насчет сигнализации попала в цель – он и не заметил, что держит картину в руках.

– Простите, я всего лишь хотел посмотреть имя художника, – оправдался он.

– Оно вам вряд ли что-то скажет...

– Да его здесь и нет, – согласился он, разглядывая изнанку холста на потемневшем и засаленном подрамнике.

Женщина незаметно оказалась подле него и негромко прохрипела:

– Берите раму, это очень хорошая рама. А картина будет в подарок.

– Картина тоже поздний Китай? – упавшим голосом спросил он.

– Нет, насчёт этого вы не волнуйтесь! Это вообще не Китай, – успокоила продавщица.

На том они и порешили. Максим был доволен, что не платил денег непосредственно за картину. Вспоминая эксцентричную женщину, ему казалось, что он вырвал картину с девушкой из лап ведьмы.

Вечером того же дня, совершив перелёт через Европу, он ходил по спальне с портретом, выморя для него подходящее место. Лучше всего картина смотрелась над изголовьем кровати – там он и забил в стену гвоздь.

Ночью, несмотря на усталость, сон никак не шёл. Сказывалось возбуждение последнего дня, связанное с дорогой, пересадками, сменой места. Чтобы расслабиться и заснуть, он старался думать о чём-то приятном и думал о своей покупке. Он мысленно переносил себя в пространство картины, представлял, как идёт вдоль каменного бордюра к женщине, воображал, как её окликает. В полудрёме ему слышался далёкий,



зовущий голос. Казалось, что в комнате кто-то есть, а может быть, это были голоса его мыслей. Конечно, мыслей – думал он, когда бодрость возвращалась к нему. Ведь это всё было в его голове... Или нет? Снова слышались голоса, и пробуждение от них было не лучше – он злился, что не может заснуть. Ведь рано утром вставать на работу. Наконец ему приснилась девушка на картине. Уже он и окликал её, но она не отвечала. Он звал, повышая голос. Её молчание пугало, ведь она была так реальна, и он мог коснуться её. Проснувшись, он пытался вспомнить – дотронулся до неё, или нет... Судя по разочарованию – едва ли... Она смеялась над ним. Он вскочил на постели, но поостерёлся включать свет. В квартире чувствовалось чьё-то чужое присутствие. Он замер, прислушиваясь к дыханию незваных визитёров. Включив свет, он осторожно проследовал на кухню и достал из шкафа большой, острый нож для разделки мяса, с которым обошёл квартиру, проверив замки и окна. В спальне даже под кровать заглянул. Всё было чисто и, успокоившись, он упал на кровать, на этот раз быстро заснув.

Во сне ему повезло – он увидел девушку. Протянул уже руку к её плечу, но в этот момент сработал сигнал подъёма.

Убираясь в спальне, Максим посмотрел на портрет и понял, что не хочет покидать дом. С новыми покупками всегда так – они продолжают притягивать, пока не наиграешься.

Он упаковал портрет и взял его с собой в офис. Рабочий день прошёл легко, но тянулся долго, не смотря на то, что под предлогом усталости он отпрашивался у шефа на час раньше.

Приятель пригласил Максима на открытие выставки начинающей молодой художницы в местную галерею. Прибыв туда, он увидел, что мероприятие уже в разгаре – множество людей в зале, несколько человек что-то горячо обсуждали на крыльце.

Филипп, пригласивший его, в одиночестве ходил по залу, не замечая окружающих посетителей. Поправляя крашенные в соломенный цвет волосы, он скептически озирался на развешенные картины.

– Извини, что пригласил тебя сюда, – вместо приветствия произнёс он.

– Тебе не нравится? – удивлённый Максим перевёл внимание на работы.

Тематика выставки была посвящена бездомным животным. С написанных маслом картин на посетителей смотрели одинокие и сбившиеся в стаи дворняги в урбанистических пейзажах.

– Как такое может нравиться? Хуже этого только спекуляция на инвалидах.

Сколько Максим знал своего приятеля – тот всегда увлекался высшими материями и казался человеком не от мира сего. Он мог многое поведать об искусстве, но то, о чём он рассказывал, было непонятным для обычных людей. Однажды Максим, всегда тянувшийся к сложному и прекрасному, решил устранить белые пятна в своём образовании и обратился к Филиппу с просьбой в этом помочь. Он даже готов был заплатить за это деньги, как он платил деньги за различные семинары и тренинги, вызвав у приятеля своим предложением смех. Тот сказал, что чувствует себя героем «Мелких мошенников», фильма Вуди Аллена, в котором Хью Грант в роли искусствоведа за деньги повышал культурный уровень внезапно разбогатевших буржуа, неспособных воспринимать тонкий юмор и страдавших от склонности к золотым и леопардовым расцветкам. В итоге они договорились просто встречаться в кафешках и беседовать на интересующие Максима темы. Филипп рассказывал про выставки, советовал литературу и фильмы, Максим внимал ему и рассчитывался по счетам – это и было платой.

– Ты прав, я бы не повесил подобное дома, – подыграл Максим строгому критику.

– Пригвоздить картину на стене жилища – это не мерило для искусства, – презрительно прыснул Филипп.

– Да, конечно, ты прав, – кивнул Максим и опустил руку в пакет, чтобы достать картину. – Посмотри, что я купил во Франции...

Приятель с интересом заглянул в пакет.

– Это мне? – спросил он, косясь на разворачиваемую картину.

– Нет, извини. Это я купил себе...

– Слава богу, что не мне, – сказал Филипп очень тихо. – Подожди-ка, потом покажешь, и поговорим об этом, – отмахнулся он, пристально выглядывая кого-то в конце зала.

Едва он покинул Максима, парень услышал знакомый девичий голос:

– Привет! Что это у тебя?

Красивая стройная девушка смотрела на него большими голубыми глазами, накручивая на палец золотистый локон. Это была Анна, его бывшая возлюбленная, с которой он расстался больше полугода назад. После бурного годичного романа, Анна неожиданно распрощалась с ним, а затем нашла нового поклонника. Максим сначала силился удержать её, затем пытался отбить обратно, но всё было тщетно.

– Привет! Не ожидал тебя здесь увидеть, – сказал он, впервые забыв про картину, которую положил на пол, прислонив к стене.

– Не ожидал? У меня же парень – художник, и я часто хожу на выставки, – сообщила Анна, и тут же снова спросила про картину: – Я видела там чей-то портрет. Это твоя новая пассия? Ну-ка, покажи!

Максим быстро сдался и снова извлёк картину.

– Нет, это не моя девушка. Просто прикупил для своего интерьера.

– Надо же... Ты и картина. Неужели моё влияние?

– Влияние пустого пространства. Я повесил её в спальне, она там неплохо смотрится... Ты же помнишь мою спальню?

Анна поджала губы, смутившись навязанным воспоминанием.

– Да, конечно, я немного помню твою спальню. Кстати, мой парень, хоть и авангардист, вполне реалистично написал мой портрет. Скоро у него будет выставка, я тебя приглашаю.

Теперь Максим был смущён. Кое-как справившись с волнением, он дребезжащим голосом спросил:

– Авангардизм это что-то такое... – он руками прочертил в воздухе геометрические фигуры на уровне груди бывшей подруги.

Анна широко улыбнулась:

– Нет, то, что ты изображаешь, это скорее кубизм. А что такое авангардизм, ты узнаешь на выставке...

– Там будет твой портрет? Если он там будет, я приду!

– Разумеется, будет. Приходи! – снова пригласила она, сладко закатив при этом глаза.

После выставки Максим с Филиппом переместились на мягкие диванчики укромного и уютного кафе, пропахшего ароматами кальянов и экзотических чайных сортов.

– Она пригласила тебя? На выставку своего парня-авангардиста? И ты всё это выслушивал, раскрыв рот? – в полумраке говорил приятель, попыхивая кальяном. – Авангардиста чего, она не сказала? Он в авангарде дурного вкуса!

Вынув мундштук изо рта, Филипп громко рассмеялся. Максим перехватил у него трубку, и прежде чем вдохнуть анисовый табак, изобразил подобие улыбки.

– Что ты думаешь про мою картину?

Филипп прищурившись, склонил голову набок и посмотрел на нарисованную девушку.

– А что про неё думать? Мазня!

Максим вздрогнул, как от прозвевшей пощечины.

– Зачем ты так?

– А что? Сколько ты за неё отдал?

Максим молча потупил глаза.

– Сколько? Говори, не стесняйся. Надеюсь, они не сильно тебя облапошили!

Максим отрицательно мотнул головой.

– Ну? Говори, я не нябедничаю в налоговую!

– Я ничего за неё не платил.

Приятель прыснул, покачав головой. Засунув мундштук в рот, он глубоко вдохнул ароматный дым и выпустил его двумя струями из носа.

– Даже так? Ну, так чего ты спрашиваешь? Думаешь, я скажу, что это шедевр? Сегодня не первое апреля, чтобы разыгрывать дурака.

– Мне она показалась красивой, интересной. Я почувствовал влечение, ведь настоящее искусство должно притягивать?..

– Это посредственная мазня, ставшая неким антиквариатом благодаря времени. Ничего более. А насчёт того, что искусство что-то должно – ничего оно не должно! И то, что тебя привлекла подобная работа, говорит не о её качестве, а о том, что подобное притягивается подобным. Извини...

– Разве картина плохо написана?

– Достаточно заурядно.

– На таможне её разглядывали, но она не вызвала вопросов, – немного невпопад пробубнил Максим.

– Надо же! На таможне она не вызвала вопросов. Даже эти болваны не цеплялись к ней! Не знаю насколько это в их компетенции, но на границе тебя должны были задержать за провоз поддельной красоты.

– Я думаю, ты не прав. Это не в их компетенции, – огрызнулся Максим, насупившись.

– Тут я не спорю. Но подделка красоты хуже, чем подделка банкнот и распространение наркотиков! Заметив, что приятель приуныл, Филипп попытался его подбодрить:



– Ну, чего ты расстроился? Картина на стене, это не татуировка на лбу. Надоест – легко избавишься!

– Я не буду от неё избавляться.

Филипп пожал плечами:

– Главное, что ты тянешься к искусству. Эти попытки дорогого стоят... Только в следующий раз лучше посоветуйся со мной. Я тебе плохого никогда не порекомендую!

– Я не мог с тобой посоветоваться, ты был слишком далеко, – напомнил Максим.

– Да, я не могу пока свободно путешествовать за границу. Я едва свожу концы с концами, – сокрушённо ответил приятель, так что у Максима горло жалось от жалости.

Он оплатил счёт, подумав позже, что оплатил вечер собственного унижения. Но, может быть, всё было не так, ведь приятель хотел как лучше. Они почти сдружились, а он считал, что друзей надо ценить не только за эмоциональную поддержку, но и за способность в нужный момент сказать правду.

Приняв душ, Максим словно очистился от той мерзости, которую пришлось выслушать в кафе. Повесил картину на её место и вслух перед ней извинился. Ему не важна её ценность для окружающих, главное, что для него она ценна. Пусть весь мир будет против, он был готов бросить вызов всему миру!

С таким настроением он лёг спать и сразу уснул. Во сне он увидел девушку с картины, стоявшую к нему спиной. Он застыл подле неё, рассматривая изгибы струящихся по плечам чёрных волос. Прекрасные волосы, обрамлявшие лицо, которое он возможно никогда не увидит в живую, но будет верить в его красоту.

Волосы пришли в движение, отражая сумеречный свет, и девушка повернулась к нему. Чёрные бусины глаз, не мигая, глядели на молодого человека.

Она была прекрасна. Большие чёрные глаза, маленький носик, изящно очерченные алые губы, готовые изобразить загадочную улыбку Джоконды, и всё это идеально очерчено овалом лица с точёным подбородком. Едва ли такую красоту можно было вообразить, – у него не возникло сомнений, что увиденное им – реально.

– Ты восхитительна! – произнёс он.

Её губы изобразили довольную улыбку.

– Паулина! – с чувственным придыханием промолвила она.

В голосе красавицы слышался акцент другой страны, другого времени.

– Это твоё имя? – переспросил он.

– Паулина, – не менее чувственно повторила она, и глаза её раскрылись ещё шире.

Пышные груди за кружевным декольте с низким вырезом вздымались от глубоко дыхания, отчего казалось, что она продолжает выдыхать из себя свое имя: Паулина, Паулина...

И как бывает во снах, когда душа не скована разумом, губы его прошептали сами собой:

– Будь моей!

С неожиданной и пылкой готовностью она ответила:

– Я стану твоей, я обрету плоть, и мы будем вместе! Стань моим наперсником!

Под её жгучим взглядом он чувствовал себя плавящейся свечой. Хотелось собраться с мыслями, но собраться с мыслями, означало проснуться. А он не хотел покидать этот сон.

– Разве возможно такое, чтобы мы были вместе в этом мире?

– Люби меня, и ничто не будет разделять нас! Поклонись мне в любви, и мы будем вместе. Я войду в твой мир, и мы будем счастливы, – промолвила она, прогоняя зачатки его сомнений и опасений. – Ты не будешь ни о чём жалеть. Готов ли ты стать моим?

Ему возможно и хотелось бы поспорить с ней, но сомнения рассеялись. Интуиция в этом мире значила и объясняла больше, чем слова. Здесь он безоговорочно ей верил.

– Я готов стать твоим! Готова ли ты стать моей?

Она посмотрела на него долгим взглядом приближающихся глаз, и едва её губы успели впиться в его рот, успела произнести:

– Я готова стать твоей!

Утопая в податливой мягкости её губ, он открыл глаза и увидел сверкающее лезвие ножа, который она заносила над ним. Прежде чем испытать страх, и возмутится вероломством, он услышал:

– Поклоняйся на крови!

Располозовав ножом ладони, и соединив свои раны, они поклялись в вечной любви и верности.

Боль, пронзившая плоть Максима, была достаточно сильной, чтобы он проснулся. Он поднял глаза к стене и увидел, что портрет опустел. Женщины на нём не было! Но такого не могло быть. Значит, он

всё ещё спал. И верно – наперсница его была рядом. Обоюдная страсть притягивала возлюбленных, и они пылко отдавались друг другу.

Утром острая боль в руке напомнила про сон. Медленно поднеся ладонь к лицу, парень увидел перерезанные ножом линии судьбы и резко вскочил с кровати.

Промывая рану, он убеждался, что это не сон. Сомнамбулой он ходил по квартире, долго приходя в себя. Опоздал на работу, но коллеги отнеслись с пониманием, когда увидели его шрам. Нина, молоденькая сотрудница с которой он был дружен, помогла обработать не заживающую рану и перевязала его ладонь.

– Странная рана. И ты немного странный после этой командировки, – заметила она, когда они выходили из санузла.

– Коллеги, небось, об этом судачат? – предположил он.

– Да не особо, – уклончиво ответила Нина.

– Знаю я это «не особо», – скривился Максим.

– Если ты ничем не порезался, это может быть стигмата, – сказала девушка.

– Стигмата? Точно! – с готовностью согласился он.

Весь вечер он читал про стигматы. Про святых, у которых раны открывались на месте, где гвозди пронзали конечности Христа, и про проходимцев, которые эти раны искусно имитировали. Каждый описанный случай он сопоставлял с тем, что приключилось с ним, но чем ближе к ночи шло дело, тем яснее он понимал, что причина в другом. И он её хорошо знал. Максим пристально смотрел на портрет. Это и была причина.

Но в эту ночь она не появилась. И следующая прошла без неё.

Ночью, ложась спать, он прошептал её имя.

– Тебе не хватало меня? – тут же раздался знакомый голос.

Паулина сидела на его кровати, искоса глядя на лежащего парня.

– Наконец-то. Где ты была?

– Я всегда была рядом с тобой.

Он встал с постели и возвысился над ней, созерцая свою возлюбленную.

– Не могу понять, я сейчас сплю или нет...

– Разве это так важно, где ты сейчас? – резонно спросила она.

– Действительно, не важно. Главное, что я с тобой, – он сел на колени и взял её ладонь в свои руки.

Он поцеловал заживший порез на её коже. Паулина размотала бинт, стягивавший его кисть, и провела языком по сукровичной бороздке, заставив ощутить удовольствие с примесью боли.

– Когда ты станешь моей? – спросил он, заключив Паулину в объятия.

Они стояли посреди его спальни, и не ясно было, происходит это с ним во сне или наяву. Он искоса поглядывал на пустовавший портрет – нереальное доказательство реальности происходящего.

– Ты должен выполнить три условия, – молвила она.

– Отлично, кто бы сомневался? Теперь оказывается ещё какие-то условия! – попытался схохмить он.

Паулина, крепко сжав губы, отвернулась в сторону, явно не оценив шутку, произнесённую в неподобающем тоне.

– Что я должен сделать? Ну? – он тряхнул её. – Хоть тысяча условий, говори! Я всё выполню.

– Три условия, – холодно произнесла она, глядя в его глаза. – Первое: ты должен меня полюбить. Ты должен был меня выбрать.

– Я полюбил, я люблю тебя! – горячо произнес он. – Ведь я выбрал тебя, тогда...

– Да, это так. Ты выбрал меня. Первое условие соблюдено, – с надменной важностью рекла она.

– Второе?

Красивое лицо Паулины стало жёстким:

– Ты должен стать моим защитником!

– Что это значит? – задумался он.

Глаза Паулины вспыхнули гневом, и она резко выпалила:

– Меня оскорбили! Это случилось при тебе, и ты не заступился!

Максим припомнил малоприятную тираду своего приятеля в кафе. Филипп тогда хорошо разошёлся, пройдясь по его вкусам и собственноручно картинке. А ведь Паулина всё слышала! Он, осознав это, покраснел так, что щёки запылали угольями.

– Ты про моего друга?



– Он не может быть твоим другом!

– Всё верно, – быстро согласился Максим. – Он больше мне не друг! Слышишь, с этого момента я порвал с ним!

– Этого мало!

– Что ещё?

Злоба искадила лицо прекрасной девушки:

– Убей его!

После этих слов он на миг оглох, затем выдавил из себя:

– Нет, я не могу!

– Ты должен убить человека оскорбившего меня! Докажи свою любовь, как достойный меня мужчина! Убей содомита!

– Он вовсе не содомит. У него просто крашенные волосы и серёжка в мочке уха, – сказал Максим, но его неуместная ирония прозвучала издёвкой. Паулина, в любви и верности к которой он покаялся, была настроена серьёзно, и он боялся думать о том, что его ждёт.

– Это всё не важно! Важно только то, что он оскорбил меня. Ты должен сделать это! Ты совершаешь преступление, не защищая меня.

– Я не могу, – честно признал он.

Девушка положила руки на его плечи, её взгляд выпивал его глаза:

– Ради меня, ты сможешь! Отбрось сомнения порождающие страх. Я всё время буду рядом с тобой.

Паулина ждала от него ответа. Проснувшись, он не мог вспомнить свой ответ. Но ход мыслей, занимавших его этим утром, был красноречивей слов.

А думал он о том, как можно отомстить за свою картину.

Было раннее утро субботы, самое начало выходных. Куча времени на то, что бы всё осмыслить и должным образом совершить.

Но как? Такие дела сразу не делаются, особенно если никогда их не делал, и даже не помышлял совершить.

Максим взял в руки телефон, заметив, что всё делает интуитивно.

Первым препятствием стало молчание Филиппа, не отвечавшего на звонок. Пока он выжидал время, чтобы перезвонить, трубка разразилась тирадой. Он был уверен, что приятель перезванивает. Ошибся. Оказалось, что звонила Анна, напомнить о выставке. Когда-то, совсем недавно, он ждал её звонков, а она не звонила. И вот теперь позвонила, когда он не ждал.

Он не хотел видеть ни эту выставку с её женишком, ни саму Анну, ни её портрет. Он посмотрел на картину в изголовье кровати и улыбнулся. Скоро он обретёт желаемое, но это нужно заслужить.

Максим акульными кругами крутился вокруг намеченной жертвы. В небольшом магазинчике он купил упаковку пива, рассчитавшись наличными. Набрав номер Филиппа с телефонного автомата, он сообщил, что неподалёку и готов на пять минут заскочить с визитом.

Открылись двери квартиры, и ничего не подозревающий приятель перехватил из рук гостя упаковку с пивом и пригласил внутрь. Пока Максим разувался, осматриваясь по сторонам, хозяин квартиры поспешил в комнату.

– У тебя кто-то ещё в гостях? – спросил вдогонку он.

– Нет, только ты!

– Отлично!

Филипп плюхнулся за компьютер и принялся самозабвенно стучать по клавишам залапанной клавиатуры.

– Я не вовремя? У тебя любовная переписка?

– Ненавистная переписка! – оскалился Филипп. – Со мной решил пободаться один козёл, которого возмутила моя честная и объективная рецензия на его так называемое творчество. Он воображает, что дарует обществу небесные плоды, собранные в заоблачных даях его порхающей душой. Я же утверждаю, что плоды, которые он вознамерился нести в массы, являются продуктом дефекации.

Максим поморщился от сравнения:

– Может, надо дать ему время? Парень молодой? Все с чего-то начинают, а он скорей всего ещё в начале своего пути, набивает первые шишки...

– В начале пути? – приятель, нащупав упаковку с пивом на столе, выдернул одну банку и приник к ней, чмокая губами. – Такие пути надо обрывать в начале!

– Даже не знаю, что сказать, – пожал плечами Максим. – Я его не читал, не слушал, не рассматривал, вообще не знаю, чем он занимается.

– В таких случаях, как у него, нужно затыкать уши и крепко смыкать веки! И не рассуждать, а спилить ему рога и вырвать бороду!

– У него борода?

– Вот ещё! Это я образно, – презрительно скривился приятель.

Максим глубоко вобрал носом воздух и осмотрелся по сторонам. Бумажные обои с цветочками были затёрты и кое-где отклеились на стыках, словно раны, на них темнели бурые пятнышки крови от убитых комаров. Ни одна картина, или репродукция, их не украшала. Ещё хуже! – возле письменного стола висел календарь с котятками в плетёной корзине! Наверняка это был чей-то подарок, но, тем не менее, вершина обывательского дурновкусия отметила своей печатью эту обитель. Широкие светлые залысины на старом ковре говорили о том, что его топтали и затирали на счастье все кому не лень, кроме щетки пылесоса. Неубранная, смятая постель выглядела так, будто её покинули по боевой тревоге. Возле батареи отопления притулились немалых размеров тюки, покрытые куском серой ткани – такое разве что на вокзале или в базарный день увидишь. Всё это освещалось крохами света пробивавшегося в комнату через грязные стекла, полуприкрытые занавесями в жирных пятнах и косо подвешенными шторами.

И в этой захлавленной берлоге жил тот, кто пытается учить людей прекрасному?

Максим снова глубоко вздохнул, заметив, что ему всё трудней наполнить лёгкий затхлым воздухом, пропитанным миазмами неухоженного жилья и застигнутого врасплох хозяина квартиры, который, судя по всему, прилип к компьютеру, даже не позавтракав и не умывшись.

– Послушай, что я написал этому гавнюку! – произнёс возбуждённый блогер.

– Сейчас! Хочу вдохнуть свежим воздухом, у тебя тут окна закопачены, – сказал Максим, направляясь к балконной двери. Запутавшись в занавесках, словно в сетях, он судорожно открыл щеколду на дверце и вывалился на балкон.

– Фуф, – вздохнул он, вытирая взмокший лоб, – Что же делать?

Максим смотрел с десятого этажа на маленький дворик, опасно свесившись с перил.

– Осторожней! – произнёс Филипп, заходя на балкон. – Сам я не боюсь высоты, но когда другие балансируют на ней – мне не по себе.

Максим распрямил плечи:

– Ты ответил тому засранцу?

– Да, но от него никак не отцепиться... Я ему слово – он мне десять. Это хуже, чем прогрессирующая карма за самые страшные преступления.

– Зачем ты тратишь на это своё время?

– Иногда приходится тратить своё время. Ничего с этим не поделаешь, такой образ жизни я себе выбрал, – произнёс приятель с жертвенной обречённостью.

Максим снова опасно перегнулся с перил:

– Что там? Не знаешь?

– Где? – приятель лёг животом на перила и всматривался в прямоугольник густой растительности, что росла на огороженной территории какого-то предприятия.

Максим же смотрел на его пятки оторвавшиеся от пола. Стоящий на цыпочках, он был, как никогда уязвим. Дыхание спёрло в груди Максима, ладони вспотели...

Он неожиданно бросил товарища на балконе и вернулся в комнату. Тот, без лишних комментариев, последовал за ним.

– Глянь, может, этот тип тебе ответил, – хрипло произнёс Максим.

В самый решающий момент его спугнула женщина, выпешдая на балкон соседней высотки. С его стороны, конечно же, было опрометчиво вот так показываться перед окнами многоквартирного дома.

Приятель откупорил новую банку пива и тут же приложился к ней, не отрывая взгляд от экрана.

Максим ощутил тошноту, и собрался выйти из комнаты. На пороге его остановила тёмная фигура у стены коридора. В этот момент она больше всего походила на видение, но в то же время он осязал её и чувствовал её присутствие.

И она смотрела на него.

Зрачки её глаз покраснели и он, глядя в них, заметил в воздухе лёгкий краснеющий муар. Алые пятнышки прыгали перед его глазами. Он, развернувшись, вернулся к товарищу. Красная чешуя, словно



снятая с некого чудовища продолжала перед ним мерцать. Вскоре зрение нормализовалось, но одно алое пятнышко всё ещё ему подмигивало.

Это был инфракрасный индикатор оптической мыши на пластиковом коврикe. Приятель то и дело дёргал его, что-то отмечая на экране. Максим наклонился к нему и положил руку на компьютерную мышку. Мышка могла похвастать хвостиком в виде допотопного провода. Максим дёрнул её на себя и резко обвил проводом шею сидящего перед собой парня. Тот принялся брыкаться, пытаясь вырваться, но Максим крепко держал провод, всё сильнее стягивая его на шею своей жертвы. Из горла Филиппа раздавался тяжёлый хрип, колени бились о столешницу, отчего стол прыгал как живой, и монитор грохнулся на пол. Максим губительную хватку не разжимал, и вскоре лицо обидчика Паулины покраснело, глаза закатылись, и Максиму показалось, что девушка склонилась над ними и выпитывает в себя остатки жизни.

Вскоре Филипп навсегда затих. Максим ещё немного подержал обмякшее тело в своих смертельных объятиях, затем отпустил. Туловище подалось вперёд, голова глухо ударилась об столешницу, как крышка закрывшегося рояля.

Всё было кончено.

Трясущимися пальцами Максим вырвал из пивной упаковки баночку, откупорил её, и разбрызгивая пену во все стороны, принялся пить. Усевшись на смятую кровать, вперившись в стену, он глотал пиво из одной банки, другой остужал разгорячённый лоб. Вскоре он всё выпил и заставил себя убраться на месте своего преступления.

Сложив пивные банки в кулёк, он закатал тело в простыни и одеяла, а сверху накрыл ковром, чтобы запах разлагающейся плоти как можно дольше не привлекал внимания. Салфеток, чтобы стереть отпечатки пальцев, он не нашёл, пришлось довольствоваться туалетной бумагой, вытирая всевозможные поверхности, которых он мог касаться. Водрузив монитор на место, он испытал тёмное озарение и, пересмотрев переписку, добавил за мёртвого блогера несколько провокационных сообщений.

Получилось правдоподобно. Максим был доволен собой – хоть как-то сбить след. С покойным приятелем, кстати, многие хотели бы по квитаться, по ком он только не прошёлся катком своей разоблачительной критики, которую считали не столько компетентной, сколько оскорбительной.

Максим с предосторожностями покинул место убийства. Весь остаток дня он размышлял о совершённом, понимая, что будет помнить это до конца своих дней.

Но ещё одна вещь тревожила его.

Он подходил к портрету, рассматривая красавицу, ради которой совершил убийство человека и задумывался о третьем задании...

Что ещё он должен сделать, чтобы доказать свою любовь?

Ночью он услышал влекущий голос Паулины:

– Мой защитник! – нежно проворковала она, вскинув тонкие белые руки навстречу ему.

Паулина стояла перед ним во всей своей сокрушительной красоте. Суккуб, для которого он хотел стать инкубом, запредельная женщина, ради которой он готов был отважиться на всё. Максим заключил деву в объятия, и они жадно предались любви. Близость так возбуждала и пьянила, что парень позабыл о совершённом преступлении. Только когда они закончили и лежали в объятиях друг друга, молодой человек вспомнил:

– Я тебя выбрал и полюбил, я тебя защитил и убил ради тебя. Что ещё я должен сделать? Какое третье задание ты для меня подготовила?

Она провела пальцами по его губам, нежно словно пёрышком.

– Потерпи. Ты всё узнаешь...

Они снова были близки. Когда обессиленный любовник перестал сжимать её тело и откинулся на спину с мечтательным выражением на лице, она спросила:

– Понравилось?

– А ты разве не видишь? – улыбнулся он.

Посмотрев на него серьёзным взглядом, она спросила:

– Хочешь, чтобы так было всегда?

Он смотрел на неё, как на картину, и действительно, в этот момент она застыла, словно нарисованная, идеальная трехмерная модель, ожидающая его ответа.

– Конечно, хочу! – произнёс он.

– Это и есть третье задание! Будь только моим, храни мне верность.

– Просто быть верным? И когда ты станешь моей в таком случае? В тот день, когда закончится моя жизнь?

Паулина выразительно посмотрела в окно. Там, за стеклом, ночь занесла над верхушками деревьев яркий серп молодого месяца.

– Сейчас начало лунного месяца. Продержись до полнолуния, и я стану твоей!

– Всего-то? – удивился он видимой лёгкости задания.

Молодой человек смотрел на молодую месяц, острый и пугающий, словно вынутая из ножен сабля. В его воображении тот стремительно превращался в жёлтый шар.

– Это может стать сложнее, чем кажется, – предупредила Паулина.

– Может быть сложнее, чем кажется – не спору! Но уж точно полегче, чем то, что я уже ради тебя сделал!

– Я верю в тебя! – сказала Паулина.

– Я справлюсь! – пообещал он.

Последнее задание вдохнуло силы в молодого человека. Он знал, что ничто не помешает ему сохранить верность Паулине. Разве что ему встретится, распрекрасная супер-женщина, которую он до сих пор вообразить себе не мог, и спутает все карты.

Единственное, что горчило ощущение грядущего счастья – это совершённое им преступление. Это было сделано ради любви, ради защиты своего счастья, – успокаивал он себя. А преступление, совершённое ради любви и защиты своего счастья – это не преступление, а подвиг.

Шумиха из-за убийства блогера пока ещё не поднялась, телефон не разрывался от странных звонков, значит, спрятанный труп всё ещё лежал подобно бабочке в коконе, и поиски виновника не начались. Он-то легко сохранит верность выбранной женщине, но разоблачение поставит под угрозу их будущий союз.

Утром его задержала молодая соседка по лестничной клетке, у которой под кухонным краном потекла труба. Отыскав вентиль, он перекрыл воду в квартире и немного поковырялся с трубой. Ничего особенного не сделал, но вода чудесным образом перестала протекать. Всё это время соседка стояла над ним, переминаясь на длинных, стройных ногах, так, что он мог разглядеть нижнее кружевное бельё под её короткой юбкой. Когда он закончил, девушка усадила его за стол и угостила кофе с печеньем. Сидя напротив него, она кокетливо разглядывала своего спасителя, и явно была готова угостить кое-чем ещё...

– Мне с работы звонят. Я опаздываю, – произнёс он, мотнув головой в сторону коридора, где из оставленной сумки раздавалась знакомая мелодия.

– Они явно не могут без такого мужчины, мастера на все руки, – сказала она, вздёрнув бровь. – Как я их понимаю...

– Они рановато звонят, видимо что-то важное, – смущённо сказал он, вставая из-за стола. – Мне пора...

– Заходите сегодня вечером на ужин. Я ваша должница...

– Почему бы нет? – вежливо ответил он, и тут же осёкся, вспомнив про Паулину, дух которой, словно возник перед ним, давая понять, что он уже близок к измене.

Он пятился к лифту, прощаясь с соседкой. Благодарная девушка, буквально сочилась елеем, кокетничая с ним, и он находил её достаточно милой.

По дороге на работу он просматривал пропущенные звонки – пытались дозвониться с работы, чего-то хотела от него Анна... Он перезвонил на работу и узнал, что сотрудники собирают деньги на подарок коллеге. Анна же беспокоила его в непривычную рань, чтобы напомнить о выставке.

Коллегу они поздравили и продолжили чествование именинника маленьким корпоративным застольем.

Страстное общение с Паулиной вырывало Максима в нереальный мир, а попойка с коллегами изменила восприятие мира реального. Он старался много не пить, но пить хотелось, веселящиеся товарищи стали походить на непостижимых инопланетян, мысли путались в голове. На ватных ногах он прошёл в кухню, чтобы сделать себе кофе.

– Ты в порядке? – услышал он через пять минут.

Парень резко выпрямился на стуле, на котором заснул, и, хлопая ресницами, уставился на ухмыляющуюся Нину.

– Всё нормально, – отмахнулся он.

– А что ты здесь делаешь?

– Не помню, – признался он. – То есть понятно, что я сижу на стуле, но зачем я сюда пришёл...

– Судя по дымящемуся чайнику, ты хотел сделать кофе, – рассмеялась девушка.

– Точно! – он хлопнул себя по лбу, пытаясь обернуть сложившуюся ситуацию в шутку.



– Да, кофе тебе явно не помешает. Но настоящий кофе, а не эта растворимая бурда, которую ты собирался сделать.

Максим попытался встать, но девушка жестом остановила его и принялась засыпать молотый кофе в кофейную машину.

– Что бы я без тебя делал? – произнёс он, глядя на куховарившую коллегу. – Ты и руку мне перевязала, и кофе готовишь... Ты моя спасительница.

– Может, я тебе послана свыше?

– Не знаю, – сконфузился он, вспомнив о Паулине.

– Как это не знаешь? Я думала, что ты хочешь выразить мне благодарность...

– Если я могу это сделать?

– Ты всё можешь, ты же мужчина...

Он не совсем понял, что она имела в виду, но на автомате произнёс:

– Это намёк? Я должен отблагодарить тебя как мужчину?

Нина воздела к потолку глаза, едва не зардевшись.

– Ты так прямолинеен...

– Ну, прости меня. Я всё испортил, – сказал он с насмешливо равнодушным видом человека, готовящегося замять неловкую ситуацию.

– Ты ничего ещё не испортил...

– И?..

– Мне это нравится! – призналась она, восхищённо вздернув брови.

Они и раньше флиртывали на работе, но только сейчас их флирт привёл к тому, что их губы встретились в долгом поцелуе.

Бойкая девушка тут же увлекла Максима в крохотную кладовку за матированной стеклянной дверью, где они оказались в интимном уединении.

– Здесь нам никто не помешает, – шепнула она, покусывая его ухо.

Парень, промолчав, продолжил целовать её и тискать. В руках его была самая красивая сотрудница, но в мыслях была самая красивая девушка.

Он не мог избавиться от Паулины. И, конечно же, не хотел! «Интересно, – думал он, – в чём заключается хранение верности – можно ведь совершить измену и взглядом.»

Наверное, всё-таки подразумевалось то самое...

Нина уже нащупывала молнию его брюк, и Максим к тому самому был весьма близок.

– Тихо, там кто-то ходит, – шепнула она.

Сквозь матовое дверное стекло он гляделся в пространство кухни. Тень, объявившаяся там, принадлежала женщине. Парень подумал: «Неужели она?» В голове прояснилось – всего лишь дожидаться полнолуния...

Что же он делает!

Просто так из объятий красивой женщины не вырваться. Рука его нащупала стопку посуды на полке, после чего раздался оглушительный звон бьющегося стекла и керамики.

А затем их ослепил зажегшийся свет.

– Что вы здесь делаете? – грозно осадил их начальник.

Щурясь от яркого света, они с виноватой растерянностью смотрели на высокого мужчину средних лет. Секретарша стояла за спиной шефа, словно ожидая распоряжений.

– Мы искали чистые тарелки, – напёлся парень.

– Вот как? Там вроде бы хватает тарелок...

Секретарша ехидно ухмыльнулась, ожидая взбучки.

– Нужны были блюда для сладкого, – сказала Нина.

– Нашли? – спросил шеф.

– Нашли, – хором ответили они.

– Вот и хорошо, – ответил шеф и, развернувшись, покинул кухню.

Благодаря его снисхождению, они кое-как выкрутились из неловкой ситуации, понимая, что надолго теперь станут объектами для шуток в своём коллективе. Ловя взгляды коллег за столом, Максим ощущал в них язвительность и при первой же возможности улизнул с мероприятия, которое, казалось, и не собиралось заканчиваться.

На ещё светлой вечерней улице он вдохнул воздуха в грудь и бодро зашагал под джазовую музыку из

припаркованного на обочине кабриолета. Домой возвращаться не хотелось, достаточно было вспомнить соседку, возжелавшую накормить его ужином.

Минуя сомнительные бары, он присел на террасе кафе и заказал кофе. За соседним столиком стройная симпатичная девушка деликатно разбиралась с пирожным. Поймав его взгляд, она кончиком языка слизала с губ сладкие крошки и доброжелательно улыбнулась, улыбкой такой открытой и влекущей, что было бы дурным тоном не подойти, познакомиться. Максим скорчил злую физиономию, смутив девушку. Обычно приветливый с противоположным полом, он теперь должен был держаться от прекрасной половины человечества на дистанции. По крайней мере, сейчас. Особенно сейчас. Судьба в этот день провоцировала его испытаниями – это нельзя было не заметить. И об этом стоило крепко задуматься, но в раздумьях он пробыл не долго.

– Привет, дружище! – перед ним возвышался грузный мужчина, его старый знакомый, и протягивал руку. – Увидел тебя и не смог пройти мимо.

Максим пригласил его присесть, и они разговорились. Ему хотелось поговорить, желательно в мужской компании. Приятель заказал себе коньяк, но Максим не поддержал его, также он отказался переходить в соседний бар. Он хотел контролировать себя и сохранить трезвость.

Но очень скоро это желание прошло.

– Ты знаешь, что случилось? – взволнованно спросил мужчина.

Максим осторожно посмотрел на него:

– Судя по твоему виду, о том, что случилось, мне лучше не знать.

– Я до сих пор не могу прийти в себя! Узнал об этом от друзей, а потом и в новостях сообщили. Убили блогера Филиппа. Труп бедняги обнаружили в квартире его родители.

Выдерживая долгий взгляд приятеля, Максим изобразил изумление на лице и сокрушённо уронил голову:

– Какое горе, не могу в это поверить.

– Да, жалко. Молодой, ещё и насильственная смерть.

– В новостях сказали, что это убийство?

– Ага, – кивнул приятель. Вдруг его глаза вспыхнули, он подался вперёд, так что стул скрипнул под ним. – Подожди-ка, подожди-ка! А ведь вы дружили?

– Ну не так, чтоб дружили, – заволновался Максим. – У него скорей одни враги были, а не друзья.

– Вот-вот, это ты верно подметил! Я, честно говоря, как узнал о его смерти, так сразу тебя и вспомнил, потому что только ты с ним вроде, как и дружил...

– Просто иногда общались об искусстве, – Максим едва удержался, чтобы не почесать нос. Он знал, что приходится оправдываться – едва прознал о смерти, а уже привирал, и страшновато было думать о предстоящих рассросах, когда до него дойдут легавые. А в том, что до него дотянется ниточка, он не сомневался.

– Как бы там ни было, предлагаю помянуть нашего общего знакомого!

Максим охотно согласился, и снова спиртное затуманило его мозг.

Посиделки затягивались. Вернувшись из туалета, Максим обнаружил за столиком двух девиц, достаточно симпатичных для того, чтобы понять – приятель не мог закадрить их без вмешательства потусторонних сил.

Улыбнувшись девушкам, он поднял взгляд к небу и различил в лёгкой вуали облаков серп растущего месяца, лезвие которого по сравнению с прошедшей ночью стало лишь чуточку шире. Максим удручённо подумал, что и одни сутки ещё не минули, а он уже не раз мог оступиться. Паулина была права – ему будет не так просто выдержать двухнедельное испытание. Он наврал им, что сбегает за сигаретами. И был таков.

Поднимаясь на свою лестничную клетку, молодой человек готовился к последнему испытанию. Вопреки опасениям он не встретил под дверью соседку, и тихо, как мышь, прошмыгнул в квартиру. Он твёрдо решил, что кто бы ни позвонил в его дверь, он ни за что её не отопрёт.

Максим готовился провести этот вечер в тишине. Но музыка, раздавшаяся в глубине его квартиры, нарушила эти планы, едва он закрыл платяной шкаф.

Джазовая композиция не могла заиграть сама собой – кто-то поставил виниловый диск на проигрыватель. Максим не ожидал такого от Паулины и даже ущипнул себя.

Нет, он бодрствовал. И романтическая музыка играла.

Он шёл на звук саксофона, и в спальне остановился как вкопанный, не веря своим глазам.



В кресле у постели сидела Анна с широким бокалом красного вина в руке, и источала на него свою улыбку.

– Ты? – сдавленно произнес он. – Вот так сюрприз!

– Не дождалась тебя на выставке. Пришлось брать инициативу в свои руки, – с наигранной обидой промолвила незваная гостья.

– Извини, много было работы сегодня. Горячий день... – сказал он. – Но как ты здесь оказалась?

– Это сюрприз, – передразнила она.

– И всё же?

Она поднялась и протянула ему второй бокал с вином.

– Когда ты оставил меня одну, уезжая в очередную командировку, я на всякий случай сделала копии ключей.

– Какой ещё случай? – он нахмурил брови.

– Не переживай, я собиралась их отдать, но мы неожиданно разошлись. Да я про них и забыла...

– Интересно, получается, – задумчиво произнёс он.

– Тебе нравится сюрприз? – кокетливо спросила она.

– Ты мне всегда нравилась, – ответил он.

– О, ничего себе! – она закатила глаза так, словно это был его первый комплимент за всё время их знакомства.

Они звонко чокнулись бокалами. Отпивая вино, он заметил, что над изголовьем его кровати висит портрет Анны. Нарисованная девушка, одетая в костюм царицы, восседала на стуле с высокой спинкой – не понять, действительно нашла этот реквизит, или художник срисовывал с фотографии. Интуитивно обернувшись, он обнаружил портрет Паулины, переставленный на комод. Хоть Анна не выкинула его в окно – и это хорошо.

– Твой портрет...

– Похожа? – гордо спросила Анна.

– Похожа, – кивнул он. – Но я видел ракурсы и получше...

Она удивлённо посмотрела на него, а он, коснувшись пальцами её подбородка, отвёл лицо девушки в сторону. Его глаза смотрели на её профиль, где на правой щеке темнели две знакомых родинки.

– Этих прекрасных родинок на портрете нет, – заметил он, и тут же их поцеловал.

Он снова поцеловал их уже в постели, где оказались бывшие возлюбленные. Они забыли обо всём на свете и не могли оторваться друг от друга.

– Странно, почему мы всё-таки расстались? – во мраке произнес он.

– Наверное, искали свой идеал, – ответила Анна.

– Я тебя не устраивал? – бесстрастным тоном спросил он.

– И я тебя тоже не устраивала!

– С чего ты взяла? – возразил он. – Мне было хорошо с тобой. Я тяжело переживал, когда мы расстались.

– Как женщина, я чувствовала, что тебе недостаточно меня. Ты куда-то стремился, чего-то хотел...

– Все мы стремимся к какому-то заоблачному идеалу. Мне кажется, что это стремление заложено в лучших из нас.

– Ты ещё стремишься? – спросила она с нотками настороженности.

– Не обязательно обладать этим идеалом, достаточно к нему приблизиться, чтобы осознать весь пройденный путь. Понять, что воображаемая дорога вела в никуда, или в неверном направлении. И нужно было сделать остановку.

– И ты решил остановиться?

Он посмотрел на комод, где портрет якобы идеальной женщины потонул под плотными складками мрака.

– Я хочу быть с тобой, – произнёс он.

Анна прильнула к нему, они страстно поцеловались и вскоре заснули.

Они крепко спали, когда из мрака проступили очертания рамы портрета, поставленного на комод. Свет медленно разгорался, и холст засиял, словно расписанный фосфором.

Сон Максима был чутким. Он открыл глаза и увидел в голубоватом свете фигуру женщины, которая недвижимо сидела в кресле, будто большая кукла.

Он встал и подошел к ней.

– Паулина? – произнёс он, вглядываясь во тьму.

Выдержав паузу, она обратила лицо к нему:

– Ты ещё не забыл мое имя?

– Как я могу забыть? – возразил он.

– Но ведь забыл! – сказала она так громко, что он тут же обернулся к девушке, лежащей на кровати.

Анна даже не пошевелилась, и ему показалось, что сейчас они с Паулиной совершенно одни.

– Я не хотел, прости меня, – он начал лихорадочно искать оправдания. – Я всегда искал идеал, что-то за пределами этого мира. Но сейчас понял, что мне это не надо.

Она молча смотрела на него.

– Мы могли бы быть вместе, но мы не были бы счастливы, – прибавил он.

Паулина встала с кресла.

– Тебе не дано знать, была бы я счастлива или нет. Ты не спрашивал меня о том, что мне нужно для счастья! – с упреком сказала она и замолчала.

Он ничего не сказал в ответ, и она продолжила:

– Когда-то и я была такой – искала счастье для себя, думала только о себе. Однажды меня полюбил красивый молодой офицер, которому я поначалу отвечала взаимностью. Он был разносторонней личностью – романтик, художник и алхимик, но его порывы не были скреплены гармонией. С младых лет лелеемый романтизм разбивался об реальность, из-за недостатка усидчивости его художества были далеки от совершенства, а химические опыты не приносили золота. Я стала единственной отрадой его жизни, совершенством, которое он не мог создать, но мог обладать. Ради меня он избавился от жены и ребенка, но я не оценила эту жертву. За то, что я не ответила ему взаимностью – он проклял меня. Его проклятие сопровождалось моим жертвоприношением, и душа моя переместилась в портрет, написанный красками, перемешанными с моими соками и пеплом. Видимо единственное, в чем он был силен – это любовь ко мне, ибо проклятие сбылось. Я была обречена на связь с портретом, лишь тот, кто полюбит меня и выполнит условия необходимые для того, чтобы я снова обрела жизнь, спасёт меня. Я долго блуждала по Европе, сменяя хозяев, переживала войны и лихие бедствия, в которых гибли люди и истинные произведения человеческого гения. Чудом избегая смерти, подвешенная на стенах и задыхающаяся от пыли в запасниках, я ждала сотни лет, но если кто и желал меня, то не любил. И вот, после долгих лет, появился ты.

Мужчина стоял перед Паулиной, прождавшей сотни лет, виновато глядя в сторону. И им обоим стало ясно, что он не тот мужчина.

– Извини, что я не смог освободить тебя, – с раскаянием произнёс он. – Ты ждала меня сотни лет, но я не справился. Я не тот, кто тебе нужен.

Смолкнувшая Паулина слушала его слова, принимая их словно яд.

– Надеюсь, ты найдёшь своего избранника и обретёшь счастье. Но это буду не я!

Ненависть во взгляде Паулины заставила парня отшатнуться.

– Я уже не обрету счастье! Я могла сделать свой выбор лишь единожды. И я выбрала тебя! – пылая глазами, она угрожающе к нему приблизилась. – Ты не сдержал своё обещание! Теперь меня ждет ад!

Её руки сомкнулись на запястьях парня, так крепко, словно она вознамерилась забрать его с собой прямо в пекло. Ему хотелось ей что-то сказать, но он понимал, что слова уже ничего не изменят, ничего не добавят. Он думал, что сейчас она растерзает его, и почувствовал облегчение, когда девушка ослабила хватку рук. Паулина отпустила его, и в тот же миг исчезла.

Растерянный парень застыл посреди спальни. Сжав руки в кулаки, он заметил, что ладони его стали липкими от пота.

Или не от пота?

Волосы его встали дыбом, он поднёс руки к лицу и увидел на них кровь. И очень скоро он понял, что это не его кровь.

С ужасом он обернулся к кровати и увидел, что портрет Анны, висевший над изголовьем, покосился и изрезан в клочья.

Покрывало было так обильно запятнано кровью, что в глазах его покраснело.

– Анна... Анна! – крикнул он, бросившись к неподвижной девушке.

Перевернув её на спину, он увидел большое красное пятно на её бездыханной груди. Истыканная ножом девушка была мертва.

Рядом, в складках простыни, лежал окровавленный нож, тот самый, который он спрятал под кроватью в первую ночь появления Паулины.

Но это не мог сделать он!



– Зачем! – крикнул он, бросившись к портрету Паулины.

Портрет молодой девушки был залит кровью не меньше, чем тело зарезанной соперницы. Максим начал оттирать кровь, но не мог очистить картину, и лишь размазывал по полотну багровую массу. И вскоре стало понятно, что изображения на картине больше нет.

Сказка его закончилась, наступила реальность. Страшная реальность, в которой больше не было Паулины, не было Анны, и его скоро не будет.

В зловещей тишине он услышал раскатистые звуки сирен с улицы. Меньше всего ему хотелось, чтобы эти звуки направлялись сюда, но соседка за стеной их ждала. Крики в его квартире были отчётливо слышны в её спальне. Она всё слышала, и, наверное, не сомневалась в том, что за стеной произошло убийство.

Его слух различил тяжёлые шаги в парадной. Казалось, что они приближаются к его двери целую вечность.

Максим был в ловушке. Бросив картину на пол, он лёг на кровать и крепко закрыл глаза. Он всё ещё не верил в произошедшее, казалось, стоит снова заснуть, и когда он проснётся – кровавый кошмар растает.

Открыв глаза, он увидел, что алая пелена больше не застилала их. Искавший спасение и отраду в иллюзии, погубившей его, он заметил, что иллюзия снова может его спасти. Ведь только мечты способны вырвать его из жестокой действительности.

И, правда – встречи с иллюзорной возлюбленной были всего лишь сном. И приятель, возможно, был жив – в нервном припадке он навоображал себе то, чего не было. Анна лежала рядом и если она проснётся первой – разбудит его поцелуем.

В коридоре сработал дверной звонок. Резкий звук эхом отражался от изломанных стен коридора, от широких стен гостиной, от стенки спальни, на которой висел портрет.

Звонок прозвенел снова. Казалось, он должен был звучать как набат, как сирена, предвещающая беду, но что-то издевательское было в том, что он звучал именно как обычный звонок из реального мира.

Звонок ещё несколько раз прозвенел. Сопrotивляясь настойчивым звукам, он закрыл глаза и вообразил, как покидает эти стены. Он переносился в далёкое прекрасное место – туда, где он будет счастлив, туда, где его будет ждать любимая девушка, туда, где не будет тревог.

Звонок продолжал звенеть.

ПЁТР МЕЖУРИЦКИЙ

В ЗАЩИТУ СТРЕЛОЧНИКА

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

1.

Пускай забвения трава
ни в чём ни разу не права,
но – милосердную сестру –
я жизнь из памяти сотру
от первых до последних дней,
да и куда мне дальше с ней?

2.

Мне Ватикан в затиборечье
являл своё сверхчеловечье,
а человечье раза два
замоскворечная Москва
на перекупьях мне являла,
и тоже не казалось мало.

3.

...а кто ты, собственно, и чей,
тебя усаживай в кеб,
однажды скажут Стокс и Чейн,
а ты считал Борис и Глеб
в шелках и в праведной крови?
ОК, как их ни назови.

4.

Ну вот и встретились, сестрица,
и всюду смерть, как говорится,
во всей своей красе, кажись,
и, если так, то чем не жисть,
в которой я подчас банкую?
Видали мы и не такую!



В ЗАЩИТУ СТРЕЛОЧНИКА

Если ангел выпил лишнего,
и миры сошли с орбит,
значит, это – план Всевышнего,
так что лучше без обид
на бесчисленные мелочи,
как там кризис ни глубок:
Бог в любом раскладе – стрелочник,
ну, а стрелочник – не Бог.

СВОБОДА СВЕТА

Обошлось не без базаров –
Белый свет исчез с радаров,
может, вследствие теракта,
может, двигателей сбой,
может, человеческий фактор,
но никак не сам собой,
что и есть свобода света,
хоть не каждый верит в это.

Ты смотришь через не могу,
не подавая вида,
на город, что исчез в снегу,
как в море Атлантида,
и знаешь то, что знает каждый,
хоть франк масон, хоть печенег, –
и море высохнет однажды,
и, может быть, растает снег.

Что безмозгло, то и бессердечно
при любой погоде, всюду, вечно,
ну а бессердечное – безмозгло
жарко на дворе или промозгло,

но гоните страх, дышите ровно –
это я о лирике любовной,
жанре, безусловно, самом смелом,
и, конечно, об искусстве в целом.

Пускай и впрямь отважный лыжник,
когда в него попал бульжник,
буквально не повёл и бровью,



но знает каждый эрудит:
спорт иногда вредит здоровью,
а, может быть, всегда вредит.

Филофобу фобофил
органически немил,
и противен, как микроб,
фобофилу филофоб,

в чём, скажу публично вам,
ничего нет личного.

САМОНАЗВАНИЕ

Коль славен Господь в Палестине,
а где ещё славен Господь,
то дело совсем не в осине,
на коей болтается плоть.

Не важно, какой там синоним,
а паче того эвфемизм –
что может быть славным в Сионе?
Естественно, лишь сионизм.

А где-то в России плотины,
в труде не считая невзгод,
возводит народ Палестины,
церковный российский народ.

Подавись хоть молочая
вечно млечным соком –
зуб за зуб не отвечает,
а за око – око.

И, конечно же, в пиаре
с правдой или ложью
место хватит каждой твари,
даже твари Божьей.

ГЕНСЕК

1.

Я мальчик Джугашвили,
я не живу на вилле
в Лос-Анжелесе, sorry, –
живу в местечке Гори



в обиде, да в испуге
практически в лачуге,
где вечно пьяный папа,
в себе открыв сатрапа,
чудит средь бела дня –
что выйдет из меня?

2.

Зачем в родном жилище
читаю «Принц и нищий»
уже в который раз, –
бессмысленный соблазн,
основанный на вздоре –
где Лондон, а где Гори,
а на душе – клопы, –
податься ли в попы
во имя лучшей доли,
или в марксисты, что ли,
хоть Маркс не Саваоф,
зато и выбор нов –
да так ли нов, однако?
Жду мудрости и знака.

3.

Так закалялась сталь,
прошу простить за юность,
а прошлого не жаль,
куда с ним, на фиг, сунуть?

МАРИУС, ЖИРАФ ДАТСКИЙ

А что в нём было? Только вес, да рост
и, если правда, дух, то не титана, –
жирафа не положат на помост,
как война, четыре капитана,
и не изобразит событий сих
Шекспир в укор и назиданье близким,
и разве только будет сложен стих
на смерть жирафа неким Межурицким,
который людям выписал бы штраф,
будь он Господь, сгноил бы их в кутузке –
короче говоря, прости, Жираф,
хотя, конечно, ты жираф не русский.

НА ЧИСТОЙ ВОДЕ

На чистой воде хорошо, как нигде,
и ангелы нас не оставят в беде,
а как пропадём, например, под дождём,
не стоит печалиться – способ найдём



когда-нибудь завтра, а, может быть, днесь,
как способ нашли обозначиться здесь,
где звёзд во вселенной не счесть, старина –
зачем нам, приятель, другая страна,
как будто и впрямь не хватает планет –
ты помнишь, товарищ? И я уже нет.

Если мир устроен зряче,
то хотел бы я понять,
от кого и кто нас прячет
день за днем, за пядью пядь?

Что устроит личность эта,
если на своем пути
срока до конца и света
не сумеет нас найти?

И не знают зверь и птица,
ни мудрец, ни идиот,
что же, собственно, случится,
если всё-таки найдёт.

Но терять не стоит духа,
если есть на свете кров,
упакованный так глухо
в бесконечности миров.

ЭРЛЕН БЕЙЛИС

СОВЕТЫ МУЖЧИНАМ

Когда меня хромой Пегас,
Презрев мои грехи,
Вознёс случайно на Парнас,
Я стал писать стихи.

Что ни строка, то мимо лузы,
И рифмы ни на что не схожи.
А надо мной кружились Музы
И корчили смешные рожи.

СОВЕТЫ МУЖЧИНАМ

*

Когда смеются над тобой, конечно, плохо,
Но не печалься над своей судьбой –
Она грозит ещё одним подвохом,
Когда начнут смеяться под тобой.

*

Чтоб в браке жить цветком средь райских трав,
Воспользуйся моим простым советом:
Всегда признайся, если ты не прав,
А если прав, всегда молчи об этом.

*

Чтоб жена не закипала, словно шихта в домне,
Чтоб очаг семейный тлел хоть как-нибудь,
День её рождения накрепко запомни,
Год её рожденья навсегда забудь.

*

Чтоб женщиной руководить,
Есть два простых пути.
Но должен вас предупредить,
Что их нельзя найти.



*

Она всю волю соберёт в кулак.
Какая б ни случилась с ней история,
Она не будет плакать просто так –
Для женских слёз нужна аудитория.

*

Желанье женщины – основа бытия,
А нежеланье – уголовная статья.

*

Меняются эпохи, времена,
Но неизменны наши благоверные:
Есть первый тип – неверная жена,
Второй, напротив, – верная... Наверное.

*

Чтоб в семье был порядок, чтоб была тишина,
В доме должен командовать кто-то одна.

—

Лишь в сказке на всякого лешего
Иван точит острый булат.
А в жизни на каждого Йешуа
Найдётся свой Понтий Пилат.

На наш прогресс у нас различны взгляды,
И нас противоречий преследует напасть.
Нам мало двигаться туда, куда не надо,
Так мы ещё не можем никак туда попасть.

Без жены мужчине жить довольно сложно,
Даже той, что склонна к расточительству,
Потому что совершенно невозможно
Обвинять во всех грехах своё правительство.

На нашей самой лучшей из планет
Известно всем, кто начинал с азов,
Что в мире вечных двигателей нет,
Зато так много вечных тормозов.



Если из двухтомного романа
Удалить сюжет, пейзаж, лиризм
И другие мелкие изъязыны,
Неплохой получишь афоризм.

ТОСТ

Пусть будет лёгким путь, пусть нам сияют дали,
Несчастье и печаль пусть превратятся в дым,
Пусть возраст коньяка, что плещется в бокале,
Превысит возраст женщин, с которыми мы спим.

Ревнуя женщину, ты должен понимать,
Скорей всего, тебя настигнет мщенье.
Но, если женщину совсем не ревновать,
Тогда тебя вовек не ждёт прощенье.

Чтобы женщиной зваться уверенно,
Отмести все сомнения прочь,
Надо в жизни успеть срезать дерево,
Дом разрушить и вырастить дочь.

Живите проще, больше улыбайтесь,
Поскольку, будь вы добрыми или злыми,
Вам не удастся, как вы ни старайтесь,
Из этой жизни выбраться живыми.

На жизнь мужчине времени хватает еле-еле,
Такой цейтнот кого угодно может истощить:
Треть своей жизни человек находится в постели,
Две трети тратит, чтоб в неё кого-то затащить.

Неправда, что его сомненье не берёт,
Неправда, что его не дрогнула рука,
А то, что он шагнул решительно вперёд,
Всего лишь результат хорошего пинка.

Желанье женщины – всегда закон!
Она получит всё, что ей обещано.
Готов луну достать ей с неба он...
Пока желание мужчины – женщина.



Есть неизменный *status quo*
Ещё со времени Адама:
Мужчина хочет одного,
Всё остальное хочет дама.

Коль любить, так любить королеву, царицу,
Чтоб была она стройная, гибкая, словно лоза,
Чтобы губы, как вишни, походка тигрицы,
Чтоб не стыдно с ней было попасться жене на глаза.

Не нужна мне хвала до небес,
Благодарности витиеватые,
Просто сделайте глины замес
И начните лепить мою статую.

Путь женщины к правде достаточно гибкий,
В любви её вера, надежда и сила.
Она нам простит все грехи и ошибки,
Особенно те, что она совершила.

Можно, с ней споря, найти те слова,
Что безусловно её поразят,
И доказать, что она не права...
Но убедить её в этом нельзя!

За городом полям конца и краю нет,
За городом простор, за городом раздолье!
Конечно, в городе есть биотуалет,
Зато за городом – большое биополе!

Приходит старость ни к селу ни к городу,
Когда претит любой самообман:
Как только седина ударит в бороду,
Так сразу челюсть падает в стакан.

Вижу в зеркале отражение
Рифмоплёта и стихокропателя
И испытываю уважение
К чувству юмора у Создателя.

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

ПЕРЕВОДЧИК

(фрагмент романа)

Нида. Здесь по утрам пахнет сосной и пихтой, солнце подолгу висает над дюнами, а над заливом клубится лёгкая дымка тумана, здесь птицы кричат, как сумасшедшие, а ночи короткие, от пробуждения к пробуждению, так и кажется, – только прислонил голову и нужно вставать.

Из окна гостиницы видно, как на берег накатывают мощные пенистые валы. Сосны, дюны... Как я сюда попал, – до сих пор не понятно. Фантастика, да и только.

Стою у окна, с моря ветер, терпкий запах соли и водорослей, – не могу надышаться.

Весь день ездил с Отто и Йонасом, – выбрали натуру для съёмок полёта на дельтаплане.

Йонас – это такой молчаливый горбоносый увалень, наш водитель. Он всё время молчит, оживает только когда Отто достаёт из саквояжа початую бутылку «Смирновской» и делает несколько глотков. Йонас при этом взирает на него с нескрываемым восхищением, но молчит.

Почему он всё время молчит, я не знаю. Может, потому что плохо понимает по-русски, а может это его кредо – молчать.

Он молчит даже тогда, когда шеф наливает ему вечером положенную порцайку. Глаза его при этом радостно блестят, но он всё равно молчит, может? он просто немой, я не знаю.

Как я сюда попал, непонятно. Наверное, просто мне повезло.

Разве это не везуха!? Разве это не фарт, когда ты можешь брать денег, сколько хочешь – вон они в картонной коробке, уложены пачками в стопки, будто из-под станка, ещё пахнут краской. Здорово!

Кто скажет, что мне в жизни не повезло?! Да я просто лечу с этими весёлыми сумасшедшими. Кто они, эти люди? Мне всегда, до дрожи в поджилках, хотелось понять, как они могут так быть. Я уже и сам так живу, и начинаю беспричинно смеяться, а по ночам мне снится, как я парю над Землёй, – Земля, такой светящийся шар, с голубыми разводами океанов, внизу видны спутники, над головой вокруг звёзды, планеты, а я так плыву в мерцающем потоке, плыву без усилий, и какой-то чужак ведёт меня за руку, показывает мне всё это, и когда я ему говорю, что хочу здесь остаться, он отвечает, что, мол, ещё рано – и потом вдруг сразу всё пропадает, и я уже плыву под водой, изумрудной водой океана, выхожу на горячий жёлтый песок, небо – яркий аквамарин, серебристые листья пальм стгибаются под напором горячего ветра, пёстрые птицы с радужным оперением перелетают с дерева на дерево, что-то себе щебечут, счастливые...

Одесса. Ночь... Бор взбирается на памятник Дюку и ревет: «Быть или не быть, вот в чём вопрос?».

Он думает, что он Гамлет, наверное.

Четыре часа утра, пустая гулякая площадь, тенью метнулась кошка и юркнула в подворотню, из темноты мерцают две мигающие звезды, – возвращаешься с гулянки и тут такое!

Бор хочет поцеловать Ришелье в лицо, но это практически невозможно.

«Быть или не быть – таков вопрос; Что благородней духом – покоряться Плащам и стрелам яростной судьбы Иль, ополчась на море смуг, сразить их Противоборством?!».

Эхо звонко вибрирует в пустоте площади.

Он декламирует страстно, размахивает рукой, он хочет взобраться на цоколь, но соскальзывает, гранит сильно отполирован...

– Бор! – пытаюсь я помочь ему, но он отмахивается.

– Умереть, уснуть – И только...

Икает, рука его соскальзывает с фигуры герцога, и он съезжает вниз.

В это время в соседнем доме открывается окно, и заспанный мужик кричит: «Это что вам, цирк?! Идите, зарабатывайте у Нового базара!».

– Ты чего, дядя, не видишь, мы отдыхаем, – вновь икает Бор.

Но мужик настроен серьёзно: «Счас ты у меня отдохнешь!».

– Вас?! Вас? – непонимающе мотает головой Отто.

Ярко, жёлто горят фонари, тянется вниз Потёмкинская лестница, у причала стоит белый лайнер, воздух прян, нежен, и чист, вот-вот начнут сыпаться жемчужные капли рассвета, и на душе так покойно, так томительно, и кто-то шепчет тебе: «Ты счастлив, ты счастлив...».

Несколько часов назад, когда мы вошли в ресторан, ещё ничего не было решено.

Мы сели за стол в углу, лицом к выходу, чернявый грек с длинным носом, которого Бор почему-то называл «ара», принёс меню, и, пока Бор заказывал, Отто махнул сразу стопку и, теперь умиротворённый, озирался по сторонам, довольно хмыкал, курил, пуская дым кольцами.

– Переведи ему, – говорит мне Бор – деньги это его вопрос.

Отто смотрит на меня своими влажными, пустыми глазами и ждёт, что я скажу. Я передаю ему суть фразы, зачем напрягаться, он и так всё знает.

– Понимаешь, Отто, – продолжает Бор – здесь такие возможности, я найду технику, договорюсь с осветителями, у меня есть отличные ребята. В Вильносе Мирослав организует костюмы, Фрэди наберет статистов, и пару актёров второго плана. Всё уже на мази, чего ты тянешь? Надо катать схему, пока горячо. Ты меня слушаешь, Отто?

Лицо у него раскраснелось, веки отяжелели, зрачки расширены.

– Ну, чего ты молчишь?

Я отрываюсь от тарелки с трюфелями и лангетом в соевом соусе, отпиваю из бокала глоток пива «Туборг», и нехотя отвечаю:

– Слушай, да он уже давно всё это наизусть выучил.

– А чего же он тогда телится? Где деньги?! Или он меня хочет кинуть?

В голосе Бора появляются нотки гнева.

Отто чутко улавливает его настроение, наклонятся через стол, плутовская улыбка играет у него на лице, как у факира, которому надоело глотать бензиновые факелы на потеху публике.

Он по-дружески хлопает Бора по руке со словами: «Всё корошо. Зафтра мы ехать».

– Куда ехать, куда ехать?! Он что, торчит водить меня за нос?! Так со мной не пройдёт, я его так прищучу, что мало не покажется! Тоже мне продюсер! А кто он там был в Германии? – ноль без палочки, промотавшийся актёршишка, клоун в дешёвом борделе. Можешь ему так всё и сказать, скажи ему это! Мне по барабану, что он там о себе возомнил, ты понял?! – кричит на меня Бор.

Отто, слушая Бора вполуха, наклоняет голову набок, с интересом рассматривая двух крашенных блондинок за соседним столом.

– Я по-ни-маль, я понимал, – кивает он и удовлетворённо хмыкает, перехватив взгляд одной из них, готовой, кажется, прямо сейчас выпрыгнуть из обтягивающего платья и, в чём мать родила, делать на столе сальто-мортале.

– Капец! Только об одном и думает. Скажи, что я завалою его этим добром, пусть только достанет денег на фильм, чего ты молчишь, Артём?!

Одугловатое лицо Бора нависает над столом, в неверном свете оно кажется ещё больше, глаза-буравчики, рачьи бусинки, «ехал Грека, через реку...».

– Ми зафтра лететь, – говорит Отто, оттопырив губу, показывая на себя и на него. – Всё корошо, окэй!?

Он опрокидывает ещё стопку, морщится, утирает рот рукавом пиджака, трясёт головой из стороны в сторону, и, кривясь, добавляет, – Я здесь люпить, – при этом он невольно оборачивается к соседкам, и делает такое особенное движение руками, как бы вылепливая из воздуха женскую фигуру.

Смешно, но те ещё усерднее начинают строить нам глазки.

– Эй, он будет меня слушать или нет, чего он мне мозги пудрит?!

Но Отто уже далеко, – видать, на уме у него совсем иное.

Кажется, ещё немного, и Бора сорвет с катушек.

– Ну, понимаешь, он хочет всё увидеть своими глазами, – успокаиваю я его.



Бор трясёт головой, поджигает сигару и дымит мне прямо в лицо.

– А ты сам скажи мне, как мы можем начинать подготовку, если контракт не подписан?

Я пожимаю плечами, эта игра мне и самому непонятна.

Месяц уже, чуть ли не каждое утро Бор приходит к нам в офис, приходит пасмурный, небритый...

Это как ритуал: Отто устало опускает со стола свои ходули в «казаках», они обнимаются, Лада, наша секретарша, сразу же приносит запотевшую бутылку. Отто поднимает рюмку и произносит с пафосом: «С топрым ранком Украина!». Они чокаются, опрокидывают стопки... Бор довольно крикает, и мы приступаем к работе.

Суть в том, что Бор предлагает сделать малобюджетный фильм, у него есть своя студия, и ему удалось даже снять фильм с известным израильским сценаристом, которого, правда, он попутно кинул, но это только повышало его статус в глазах Отто.

В общем, идея тому сразу понравилась, да и смета по нынешним временам довольно скромная: всего миллион долларов. И всё за счастье снять фильм о счастливых бургерах, которые проводят лето в Восточной Пруссии в начале двадцатого века.

По итогу выходило, что можно было срубить тысяч триста чистыми.

Но Отто чего-то тянул. И хотя он и обнимался, и целовался с Бором в дёсны, и они стали давно молочными братьями, но всё это напоминало больше игру, а Отто ещё тот актер – в день выдачи зарплаты, например, ему ничего не стоит прикинуться глухим, или, что у него приступ почечной колики.

Да, уже месяц, с утра и до вечера мы мусолим одно и то же, – всё это напоминает хорошо разыгранный фарс.

Бор хоть и крепок, но и Отто ему под стать, у него закваска Артюра Рембо и Джорджа Батая, плюс душа, – такой бленд моряка-подводника и гробокопателя, а хватка, как у питбуля, эти типы нашли друг друга, иногда мне кажется, что для них всё уже состоялось: и съёмки, и деньги они получили, и уже успели проиграть в казино...

Один худой, долговязый немец, с сумасшедшим взглядом эпилептика, а другой солидный, уважаемый, такой себе колобок в сто кг, с повадками флегматичного барина, что-то их неумолнно притягивает друг к другу.

Неожиданно Бор произносит:

– Скажи ему, что я его люблю.

Видать, его крепко уже зацепило.

Отто увлечённо болтает с нашими соседками на тарабарском языке жестов, ужимок, полуанглийских слов.

Больше я здесь не нужен.

– Я сейчас, – бросаю я Отто, который даже не реагирует, и выхожу в ночь.

Запах цветущих акаций дурманит, ласкает ночной ветер, а тело, кажется, становится невесомым...

Теперь блонды сидят за нашим столом, и это меня радует, можно совсем расслабиться, мне не платят за перевод всяких «любовных» прищепываний, в этом деле и так всё понятно, – без слов.

– Это для съёмки, – бросает мне Отто вполоборота, – на проба.

Я понимающе киваю и допиваю «Кампари», льдинки приятно холодят рот.

Вскоре они все поднимаются и уходят.

Я сижу, глазею по сторонам, раскачиваясь на стуле.

Мне нравится гранатовый вкус «Кампари» со льдом без оранжа...

– О, пардон, – случайно я задеваю рукой девчонку, которая идёт по проходу между столами.

– Ничего, бывает, – улыбается она только мне.

«What a wonderful world...» – поёт Амстронг, и мы танцуем... а потом оказываемся под аркой сводчатого портала, она в моих руках, я не понимаю, что делаю, голова, как после качелей, рот у неё сладкий, текучий, а запах сводит с ума, это безумие...

– Артём?! – раздается откуда-то возглас Отто.

– Где ты пить, я тебя везде искать?!

За спиной у меня появляется и раскачивается его долговязая тень.

– Понимаешь, Аня, – втолковывает Бор черноглазой незнакомке, её приятельнице, – я скоро стану отцом, у меня будет сын, давай выпьем за моего сына! А-а, вот они!

– Нам пора.

– Да куда ты... чего облом-то устраиваешь?!

Бор хочет усадить её на место, но чуть не валится со стула.

– Вера, ты со мной? – недовольно спрашивает она, перекинув сумочку через плечо.

– Слушай, я, наверное, ещё побуду немного.

– Как хочешь.

Фыркнув, эта Аня уходит, недовольно выпятив подбородок и вихля бедрами, как на подиуме.

Счастливые блонды за соседним столиком глазят по сторонам, делая вид, что мы совсем не знакомы.

Я начинаю нервничать...

Лизнув по ней взглядом, Отто как бы между прочим кладёт руку ей на спину, но она высвобождается, и это меня радует, хотя кровь стучит в висках, бум, бум, бум, – многие ведутся на его штучки.

Вдруг чувствую, – кто-то коснулся меня под столом, встречаюсь с ней взглядом:

– Пусть будут у тебя, – вкладывает она мне ключи в руку.

Теперь Отто живёт на улице Гоголя в доме с атлантами, эту квартиру мы сняли для него и Эрики несколько недель назад, комнаты просторные, но везде пусто, нет даже кровати. На полу только несколько матрасов и всё.

На кухне в раковине гора немойтой посуды.

Эрика в Мюнхене. Трудно понять, кто в их тандеме главный: Эрика или Отто. То, что он на неё набрасывается и кричит, ещё ничего не значит, главное, – откуда идут деньги, а кормился он, по-моему, из её рук, вот что главное.

Когда мы зажгли свет, по стенам побежали тараканы; большие, жирные, весёлые, – им здесь раздолье.

– Боже, ну и бардак у вас, – говорит Вера.

– У них.

– У кого, – «них»?

– У него, и его жены Эрики. Она сейчас в Мюнхене, завтра прилетает.

– Русакс, русакс! – ржёт, тыча пальцем, Отто.

В окно льётся рассвет.

– Артём, ви нид сам мо-о... – пинает он пустую бутылку под столом.

Я знаю на самом деле, что он «нид», я делаю вид, что не слышу его. Ключи от её квартиры до сих пор у меня в кармане, и это даёт мне некоторое преимущество, но почему она не уехала домой, когда мы выходили из казино, – вот в чём вопрос!

Бор сел в экипаж и укатил на лошадях к себе на Тапрово, барин... а Отто вроде бы на ногах не держался, а теперь, как огурчик, как всегда прикидывался, но почему она не уехала? Вот в чём вопрос, вот в чём сомнение.

Особенно я начинаю нервничать, когда этот тип, по своей обычной привычке, наклоняется через стол и начинает гладить её по руке.

Мне, конечно, приятно, что руку она всё-таки отдёргивает, но не так быстро, не так, блин, быстро. И, вообще, теперь она ведёт себя как-то странно, меня гложет сомнение.

– Ты нас будешь на роль героини.

Трендит Отто.

– Ага.

На лице у неё блаженная улыбка.

– Роль девушка, она живёт Нида, такой смол сити, Припалтика...

Ему не хватает слов, он нервничает, зыркает косо на меня и, чтобы как-то успокоиться, выходит облегчиться. Хорошо, что клозет в конце длинного коридора, и у меня есть время, чтобы изменить ситуацию.

– Слушай, давай свалим по-тихому.

– Я сегодня такая счастливая, – говорит она невпопад.

Её будто подменили, теперь она смотрит на меня, как на пустое место.



– З-знаешь, – произносит она задумчиво, отчего-то вдруг заикаясь, – так всё надоело, т-тренинги, подиум, зависть подруг, предки достают...

– Идём, я провожу тебя.

– Ты этого хочешь?

Я беру её руку в свои, тонкие пальцы, будто присыпанные мукой, ладонь у неё мягкая, нежная, пахнет, как у младенца, тысячи серебряных колокольчиков звенят у меня в крови, и я чувствую, как растворяется время... её жаркое дыхание на щеке...

Подскакивает Отто и, как сатир, прыгает вокруг стола, вскидывает руки к потолку: «Люповь, прасник! Люповь выпить!». Он достаёт из кармана комочек денег и бросает на стол.

– Артём, гоу, бай сам мо, ви ту мач рапотать, ви нид селебрейши!

Я очень хочу плюнуть ему в его самодовольную рожу, но на столе деньги, за которые он покупает меня, а сейчас «фоллоу мани» – главное – остальное не в счёт!

– Прогуляемся, – предлагаю я ей в последний раз.

– Ой, мне что-то не по себе, голова кружится.

– Как хочешь.

Обняв меня за плечи, Отто дымит своим вонючим «Кэмелом» и бубнит мне всё время на ухо: «Ви нид хё, ю ноу, ю андестэнд?».

На этой улице жил когда-то Гоголь, трудно поверить, но это так.

Рядом высятся башни Шахского дворца, в котором разместился «Морской банк».

Мемориальная доска – большой нос, запавшие, чуть косящие глаза, всю жизнь лгал себе, обманывал себя, и так заврался, что умер понарошку, а потом уже не смог процарапать крышку гроба, бедный, ты бедный... потому и души твои были «мёртвые».

Подхожу к ларьку, упираюсь лицом в решётку.

Откуда это – от царя Николая-страстотерпца, умилавшегося киевскими парадами в день смерти Столыпина, и, прячась от истерик жены, был готов запустить в спальню к себе любого беса, или от широкогрудого осетина, Сталина?

«Страна рабов, страна господ...» – ничего не меняется, и везде клетки, решётки, заборы с острыми колючками; эти колья ещё, наверное, с тех времен, как садили на кол, и толпа ликовала в оргазме, как самка, эта массовая воинствующая педерастия толпы – забава народная!

А вот и современный напомаженный герой, игриво улыбающийся с плаката на тумбе, потасканный «гладиатор любви»... уж он-то знает особенности национального архетипа, то бишь охоты на дупелей, или трюфелей! Молодцы, милодцы! Так держать! Так этого хама, так его... пусть пашет и дальше, пусть терпит, терпило.

Я стучу в окно ларька уже час, наверное, но никому до этого нет дела, пять утра, в рассеянном свете проступают очертания зданий. Ещё чуть, и разобью стекло вдребезги. Наконец, за решёткой появляется заспанное, перепуганное лицо злого тролля.

– Человек, – говорю я ему, дай своему земному брату живой водицы, душа плачет.

– Брат бы меня не будил в такой час.

Он протягивает мне через решетку бутылку пакет.

– Двести гривен!

Цифра меня, конечно, не удивляет.

Я протягиваю две купюры с изображением Кобзаря. Я и сам хочу быть поэтом, но кому сейчас нужны поэтизмы?!

– Ну, будь здоров, – говорит мне его голова, а лица у него нет, у него нет лица.

Есть некая категория людей, лица которых просто отсутствуют, их просто нет, это лица билетёров, продавцов в киосках, газонокосильщиков.

Почему так, не знаю. Вот, живут себе люди, трудятся, а их просто нет, их просто нет, это тени, бесплотные тени, что они оставляют после себя, надпись на камне с датами рождения и смерти, хотя... какая разница, важно только можешь ли ты сам жить здесь и сейчас, здесь и сейчас, на кураже, в восторге парения, да, только это имеет значение.

Иду, позвякивают бутылки; солнце, изумлённое око, показалось над горизонтом, дымится улица в росистом тумане...

Уселся на парапет, закурил, терпкий дым щиплет язык, шелестит ветер в кронах акаций, вышел из подворотни дворник с метлой, гремит вёдрами, чего-то суетится, трещит сорока у своего гнезда на ветвях капитана, а солнце всё плывет, качаясь на сизом облаке, розовый цвет перетекает в золотисто-оранжевый, а потом вдруг вспышка, лучи вонзаются в синеву неба, и небо становится мягким, податливым, вязким, текучим, принимая в себя огненные потоки страсти, огненные потоки новой любви, новой царской веры.

– Would you like coffee with milk?¹

С чашкой в руке, Эрика смотрит сквозь меня своими дико-зелёными глазами, никак не могу привыкнуть, что она меняет цвет линз, мурашки по коже, хотя в холле гостиницы душно.

– Ноу, данке шён.

Мне нравится иногда смешивать английские и немецкие слова.

Нида. За стеклянными входными дверями заливаются птицы. Тонкий аромат сосен и пихт доносится в открытые окна. Мой друг, Фел провёл детство на Кубе, интересно, что ему снится.

– Ти Отто не хотел проводить, он очень плохо говорить тебя.

– Listen, I was so tired.²

Мне нравится с ней болтать по-английски, она знает английский супер, германка, одно слово. И даже если мы говорим об одном и том же, подразумеваем мы иногда совсем разные вещи. А она, наоборот, старается говорить со мной по-русски, она талантливая эта Эрика, и с ней трудно работать, за полгода она так наблатыкалась, что приходится держать ухо востро. Отто хоть и орёт, но умняки не лепит, не пытается тебя подловить, что переводишь неточно, сочиняешь там, или несёшь отсебятину, а эта, ну постоянно перебивает, иногда не выдерживаешь. Только Боб, то есть Сова, воспринимает её спокойно, ему бы только сочный кусок грудинки подложили на тарелку, и он согласен на всё.

Фел к ней относится снисходительно, Парикмахер ненавидит, водилы и секретарши лебезят, «повар» Фрэди всегда ржёт и норовит облапшить, Казак восторгается, – а я с ней, как на качелях, то в жар, то в холод.

Вот опять наклонилась над столиком, приподняла голову, смотрит: рот большой, губы накрасила яркой алой помадой, волосы стянула в узел над головой, юбка в обтяжку. Смотрит в упор, в уголках губ ухмылка, интересно, что она обо мне думает.

Кофе горьковат, но нужно взбодриться, впереди долгий съёмочный день.

– У тебя нет пива?

– Вас?

– Do you have some beer? My head aches.

– Момент! – она идёт к холодильнику, немного покачивая бёдрами, так самую малость, но достаточно, чтобы ты проснулся.

Сколько ей лет, тридцать пять, самый разгар, наверняка, Отто уже наверняка довёл её до ручки, хотя с таким типом жить, конечно же, не скучно. Да, уж, точно, скучать не приходится.

Она ставит на столик бутылку «Хайникен» и подает мне открывалку.

Пробка смачно хлопает, и я жадно делаю несколько глотков, чувствую, как терпкая влага горячо растекается в желудке, а через несколько секунд голова становится невесомой, и накатывает лёгкая пеннистая волна спокойствия и умиротворения.

– Спасибо большое.

– Насторофье.

– Дважды два четыре, – быстро проговариваю я.

Она не понимает. Смотрит на меня удивлённо своими оленьими глазами.

В последнее время я о ней часто думаю. Почему, не знаю.

Недавно приснилось, будто я иду по длинному тёмному коридору, пробираюсь в крошечной темноте, без фонаря, без факела, ориентируюсь только по слабым отблескам впереди. Вдруг прямо из стены появляется девушка. Она подходит ко мне, я её обнимаю, но в этот момент я вижу, что в моих объятиях Эрика. Она улыбается, мы начинаем целоваться, и вдруг я чувствую, как она прокусывает мне губу, у меня по подбородку бежит струйка крови, сладостная дрожь пробегает по телу. Она смеётся, и глаза её зажигаются ярким зелёным огнём. «Так ты ведьма!» – восклицаю я. А она: «А разве ты не знал?».



В ужасе я отшатываюсь от неё и бегу. Кто-то за мной гонится, я слышу жаркое хриплое дыхание на щеке... выбегаю на равнину, небо затянуто туманной дымкой. Неожиданно в небе появляется самолёт. Вот он приземляется, из него выходят люди в серых плащах... лиц их не видно, они подходят, хватают меня и начинают тащить, вместо лиц у них зияют пустые провалы, я отбиваюсь, кричу, пытаюсь поднять во сне руку, чтобы перекреститься, а потом вдруг всё исчезает... мне намыливает голову незнакомая светловолосая девушка и поёт на странном языке, который я понимаю: «Голи дуду, голи дуду, армакайне завету...». Ветер доносит запахи цветущих лимонных рощ деревьев и кипарисов, и такая на сердце нега и тоска, что я плачу и просыпаюсь.

Неожиданно чей-то истерический вопль вбрасывает меня в реальность.

– Потъём! Потъём! – орёт Отто.

По утрам он любит так будить съемочную группу.

Наверное, его дедушка воевал на Восточном фронте, вот он и отыгрывается теперь.

Отто небрит, и его пошатывает, на лице видны следы от подушки, во всколоченных волосах пух, он голый по пояс, в джинсах, босой.

Он устало валится в кожаное кресло возле стола администратора. Кажется, он никого не замечает, потом вдруг поднимает голову, смотрит так лукаво на меня, подмигивает и спрашивает:

– How are you?³

Я пожимаю плечами.

– I'm fine. And you?⁴

– Много проплама. Шайзе! Erica, where are you?⁵ – кричит он. Ай хейт ол зис комедиа!!

Но она уже выскользнула в бильярдную; все знают, что в такие моменты лучше его не трогать, пусть перебесится.

– What fucking bullshit are you doing there?⁶

Отто вскакивает и на своих ходулях шлепает следом за ней. Раздаётся, крик, даже не крик, а вопль, будто кого-то режут скифским двуручным мечом «арника».

Со стороны это выглядит забавно, но когда такие сцены повторяются несколько раз в день, становится не смешно.

Потом, когда все успокаивается, Отто говорит обычно: «Take it easy. It's just business. We must be hard and strong».⁷

Вот и сейчас он вновь появляется, с уже довольным видом, достаёт из холодильника литровую бутылку «Абсолюта», откручивает колпачок, запрокидывает голову, делает несколько больших глотков, кривится, надсадно кашляет, скрючившись, хватается руками за живот; кажется, ещё секунда и он заплачет, но вместо этого он счастливо улыбается и говорит, каждый слог подчёркивая ударом кулака в воздух:

– Ко-ро-шо!...

Раздаётся пронзительный звонок телефона, – скорее всего, звонит Парикмахер, самое время.

Вообще-то, сам он себя называет Серджио, чтобы соответствовать стилю новой возлюбленной, Моники, которая несколько лет жила в Италии, в счастливом браке за итальянским бандитом, который теперь шлит камень в каменоломнях Сицилии.

Моника сколотила себе небольшой капитал и теперь может развлекаться с такими балбесами, как Парикмахер без всяких обязательств. Правда, семейная жизнь с представителем «Коза ностра» наложили на неё определённый отпечаток. Для Парикмахера всё ничего, и подкармливает она его, и лелеет, но подчас и поколачивает, да так сильно, что он с фингалами иногда на работу заявляется.

Всё это выглядит очень странно, ибо девчонок у Парикмахера просто валом, то ли потому что он преподаёт им азы личной гигиены, то ли потому, что на первом же свидании заявляет, что он богатый поэт.

В комнатухе возле порта, которую он снимает у собственной матери, полнейший бардак. Это скорее не комната, а нора хорька, но такие предметы, как мази, всякие там кремы для массажа, всегда в наличии.

Всё это у него аккуратно разложено и систематизировано по ящичкам комода. А в изголовье кровати, на полке стоят в рядок томички стихов Анны Андреевны Ахматовой, с клейкими страницами, – такой себе ловец невинных девичьих душ.

Эрика Парикмахера ненавидит, она убеждена, что он спавает Отто. Полагаю, что она заблуждается. Всё дело в том, что Парикмахер пьянеет после двух рюмок водки, а Отто я вообще никогда пьяным не

видел. Есть и ещё одна причина, по которой между Парикмахером и Эрикой разгорается нешуточная вражда. Он тихо подворовывает, – там пару долларов снял, здесь несколько.

Парикмахер числится завхозом и при этом ещё исполняет обязанности денщика при шефе: то нужно купить, там достать.

– Эрика, – зову я её. – It's Blondi.⁸

– Was?⁹

Бедная Эрика, она выглядит так, будто её только что отжали в стиральной машине.

Лада, которая всё про всех знает, поведала мне по секрету, что Эрика из дворянской семьи.

Росла себе, росла девочка, заучивала роли, снималась в мелодрамах, а тут вдруг свалился на неё патлатый гумба. Не понимаю, почему всегда тянет приличных девочек к таким вот гоблинам.

Сейчас Эрика преобразилась, ноздри раздуваются, ножкой притопывает.

– Ноу! Ты притёшь сейчас, – шипит она в трубку, коверкая слова от волнения.

С Парикмахером она принципиально говорит по-русски, такая фишка, хотя он и знает пару слов на английском, с тринадцати лет кормился при иностранцах и адъютантствовал при мелких бандитах: там девочку снять, здесь на стол накрыть, там часы золотые перепродать.

К нам он прибилась в апреле, когда мы врезались на бумере в секвойю на горном серпантине в Крыму, и Отто сломал ногу. С тех пор мы иногда зовём его Сильвер.

В Ялте, в больнице, где он отлёживался, Парикмахер работал санитаром, скрываясь от Моники. Там-то Отто с ним и познакомился. Ему были нужны новые уши, и Парикмахер пришёл в самый раз: и слушает восторженно, в рот заглядывает, благо, что половину не понимает, и исполняет всё в точности, с лакейской предупредительностью.

В те дни, в Ялте, с берега дул «тягун», и судно, на котором прибыла валькирия-Эрика, не могло пристать к берегу.

Несколько дней и решили судьбу Парикмахера, он успел втереться в доверие к Отто, и тот решил забрать его с собой в лучшую жизнь.

Когда Эрике наконец удалось высадиться, она закатила истерику, обиженная, что кого-то приняли в «стаф» без её ведома.

Отто-Сильвер на костылях гонялся за ней по коридорам больницы, но потом как-то всё само собой уладилось, и Парикмахер остался с нами.

Я не знаю, что там он ей сейчас говорит, но, наверняка, препирается.

Он знает, что шеф его отмажет, дело принципа, денщик – вне подозрений.

У них к тому же там свой симбиоз, свои тайны. Может, и это добавляет масла в огонь.

– Нет, сейчас, – повторяет Эрика.

– Вас? Кто, кто, говорить?! – взвывается Отто, выныривая из глубины коридора. Он с удовольствием растирает себя полотенцем. Эрика демонстративно не обращает внимания и уже в третий раз произносит:

– Ноу, ты притёшь сейчас.

– Эрика! – взрывается Отто – Вас? Шайзе, шайзе!!! Who is it?¹⁰

У нас так заведено, даже между собой они говорят только по-английски.

– This is Blondi.¹¹

«Блонди», – это её придумка, так звали собаку Гитлера, но Парикмахер считает, что она так его называет, потому что он блондин.

Хотя даже если бы он и узнал, что она над ним потешается, ему, наверняка, было бы всё равно, о лучшей жизни ещё несколько месяцев назад он и мечтать не мог.

– Oh, forget it, I hate it, I hate it!!!¹² Мы много проблема, мы много проблема!

Хватается за голову Отто и начинает бегать из угла в угол.

Теперь он переключается на меня.

– Where did you go yesterday?¹³

Я молчу, что я могу ему сказать...

– What? You must, you understand, you must help me all the day and night. It's your job!¹⁴

В такие моменты я жалею, что у меня нет под рукой увесистой дубины, но делать нечего, издержки работы.

– Why are you shouting at him?¹⁵ – вступает за меня Эрика.

Если Парикмахер любимчик у Отто, то я у неё, – так у нас повелось.



Отто отступает, и начинает бегать по холлу гостиницы, размахивая своими грабалами вместе с рогами. И так... начинается новый счастливый день съёмок.

По вечерам, когда мы остаемся вдвоём, Отто часто меня поучает: «Ты должен быть жёстким, ты должен использовать другого, забудь о совести, совесть придумали хитрецы, которые сами наслаждаются жизнью! Совесть – это такая жвачка для толпы! Умей брать! Забудь всё, забудь штампы, которые тебе вдолбили в голову. Вас тут имели столетиями: сначала викинги, потом поскрёбыши из Византии, ортодоксы с яичной скорлупой в бороде, потом кривонogie пожиратели конины с жёлтой лихорадкой в крови, германские полукровки, двинувшиеся мозгами от водки с красной головкой, белого снега, и чистокровных жеребцов, потом псевдо-прусаки с перхотью во рту, потом юродивые, типа Распутина, с принципом: «Не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не будешь угоден Богу». Потом на вас оттянулись коммунисты. Теперь вас используют проныры и менялы со всего мира. А вы славяне, вы slaves, вы рабы, вам всегда нравилось быть рабами, но ты, ты сам хочешь быть рабом, хочешь, чтобы тебя по-прежнему имели трусливые левантинцы?

Бизнес – это война, а особенно у нас, потому что торгуем воздухом, мечтой, фантазией, и, заметь, ещё не воплощенной, не созданной, как товар.

В тебе есть сила, но только ты спишь! – вскакивает он и начинает ходить вокруг столика, – ты спишь, пускай сладкие слюни, и всё мимо тебя. Это нужно понять, это всё нужно понять! Стань охотником! Сотри программы! Стань охотником! Стань воином!».

Своими возгласами он привлекает внимание посетителей, и я едва его успокаиваю.

Обычно его так несёт, когда мы сидим в погребке на берегу Куршского залива. Вечерами его одолевает сомнения.

Не знаю, зачем он мне говорит всё это. Я не чувствую себя его другом, а тем более, душеприказчиком. Может, ему нужно просто выговориться, а может ему нужно сотворить ещё и последователя; все эти его рассуждения не вяжутся с обстановкой, где за круглыми высокими бочками сидят розовощёкие немецкие бюргеры-туристы.

В такие минуты я вспоминаю Одессу, и как мы часами засиживались в баре на Екатерининской, попивая красное сладковатое домашнее вино, вспоминаю, как часто к нам подходила Марго, высокая дородная цыганка, черноглазая и наглая, как все гадалки. Она подходила к нам и, обращаясь к Отто, всегда повторяла одно и то же: «Слушай, иностранец, дай, погадаю».

На что он только отмахивался: «Гоу эвэй, гоу эвэй!».

Обычно она смеялась, я давал ей немного денег, и тогда она спрашивала:

– Ну, может, тебе тогда погадать?

– Марго, – отвечал я, – ты мне уже гадала, и ничего не сбылось.

Тогда она поднималась и, кивнув на Отто, напоследок всегда бросала:

– Он тебе принесёт деньги.

Вот уж чем удивила! Это и так нетрудно было предугадать.

Да, так часами, мы могли сидеть и говорить ни о чём, или мечтать о том, какой великолепный у нас получится фильм, и как богаты и знамениты мы скоро будем.

Иногда с нами ещё сидит Фел. Он красиво пускал кольца дыма в потолок, и Отто это ужасно нравилось, он фыркал от удовольствия, похлопывая Фела по плечу: «Look at this stuntman!».¹⁶

Но это было весной, кажется, совсем в другой жизни.

Часто, проводив Отто в гостиницу, я гуляю по берегу, шумит ночное море, доносятся обрывки музыки из кафе и баров, а ветер Ниды приносит сладковатый дым, это литовцы коптят угрей, которых через Атлантику приносит Гольфстрим.

Под утро иногда я захожу в бар возле дома-музея Томаса Манна, заказываю бокал светлого баварского пива, и медленно потягиваю его, глотая, пахнувшие дымком, жирные, сочные куски рыбы, слизывая золотистый сок и жир с пальцев; на фоне залива в лучах рассвета розовеет дом автора «Будденброков».

Мне хорошо, я чувствую, как в голове шумит, медленно затихая хмель, я чувствую, как тихие волны счастья раскачивают меня в колыбели.

Примечания:

¹ (англ.) – Хочешь кофе с молоком?

² (англ.) – Послушай, я так устал.



³ (англ.) – Как ты?

⁴ (англ.) – Прекрасно. А ты?

⁵ (англ.) – Эрика, ты где?

⁶ (англ.) – Какого чёрта ты там делаешь?

⁷ (англ.) – Не волнуйся. Это всего лишь бизнес. Мы должны быть жёсткие и сильные.

⁸ (англ.) – Это Блонди.

⁹ (нем.) – Что?

¹⁰ (англ.) – Кто это?

¹¹ (англ.) – Это Блонди.

¹² (англ.) – О, забудь это, я ненавижу это, я ненавижу!!!

¹³ (англ.) – Куда ты пошёл вчера?

¹⁴ (англ.) – Что!? Ты должен, ты понимаешь, ты должен помогать мне и днём, и ночью. Это твоя работа!

¹⁵ (англ.) – Почему ты кричишь на него?

¹⁶ (англ.) – Посмотри на этого каскадёра!

ВЕНГЕРСКАЯ ПОЭЗИЯ

ЗОЛТАН СОКОЛАИ

AZ ŐR

minden nap mécseszt gyűjt egy név alatt

leül kivárja mozdulatlanul
ahogy a szó felizzik mint a kő
s a ráhullt könny pörögve sistereg
mint tűzhely lapján forgó cseppgolyó

a nyelvben rejlő ősemlékezet
a karnyújtáson túli zárt idő
hogyan VAN perzsául hunul magyarul
mit tudni már csak legbelül szabad

minden nap mécseszt gyűjt egy név alatt

СТОРОЖ

зажигает свечу каждый день под одним словом

сидится и ждёт неподвижно
пока слово медленно осветится как камень
и слёзы упавшие на него будут вращаться и шипеть
как на плите капли воды

затаённые древние капли Праязыка
спеленатые временем не достижимы для рук
и смысла сказанного персами гуннами или венграми
можно рассмотреть только изнутри этих капель

сторож зажигает свечу каждый день под одним словом

PÁRBESZÉD RÚDAKIVAL

Nem lesz e világon homogén emberiség,
sírók sokasodnak, csak a zsarnok szeme ép,
bölcс Rúdaki mester, ne tetézd már a hiányt,
csarjad fel az égig a koporsód fedelét!

Золтан Соколай – поэт, переводчик, педагог, юрист, нотариус. Родился 9 сентября 1956 года в городе Ходмезовашархей (Венгрия). В юности много путешествовал по России, приезжал в Одессу. Был членом парламента Венгрии (1990-1992). Автор 9 книг. Стихи Андрея Вознесенского, Андрея Дементева, Булата Окуджавы и других русских поэтов перевёл на венгерский язык. Основатель и президент Общества венгерско-таджикских культурных связей. В одном интервью сказал, что его вторая родина – Таджикистан. Стихотворения опубликованы в автопереводе.



*Bár nélkülém elszállt az időből ezer év,
bű tadzsikok őrzik szavaim jó erejét,
élek! De te honnan kanyarodtál ide át,
ébreszteni engem, idegen, mondd ki, miért?!*

Futtam, menekültem maradék sorsomon át,
fennsík magasában kicsi nép asztala várt,
hajdan Magyarisztán fia voltam, de hazám
űzött a Pamírig, s lelek Nálad majd nyugovást.

РАЗГОВОР С РУДАКИ

В этом мире человечеству
никогда не быть единым,
народы плачут, только глаза тиранов нетронуты слезой.
Мудрый мастер Рудаки, не стой на стороне беды,
Крышку гроба своего забрось на небо!

*Тысячи лет исчезают в небытии без меня,
Но верные таджики стерегут магию моих слов.
Я жив! Но откуда ты пришёл сюда, незнакомец,
И зачем разбудил?*

Я убегал от судьбы, и многие бежали за мной,
На вершине горы меня ждало племя...
Когда-то я был сыном Мадыаристана,
Но был отправлен на Памир,
дабы найти у Тебя успокоение.

SZERPENTIN

Isten tenyeréből eledelt senki se kap,
áhítsz a nagy égről pici pont csillagokat.
Főntebb a Pamírnál soha nem lesz a tiéd,
izzó köveket látsz, meg az Isten tenyerét.

Fényes bizonyosság, feszülő hajnali ég
Rádbízta ma lelkét ez a jámbor kicsi nép,
kátyús hegyi úton zötyögünk át az időn,
békélj meg a sorssal, ne szidalmazd, ami jön.

ИЗВИЛИСТАЯ ДОРОГА В ГОРАХ

Никто не получает пищи из ладони Бога.
Ты тянешься к крохотным блёсткам –
звёздам на бездонном небе.
Всё, что выше пиков Памира, – никогда не будет твоим,
Смотри вверх, на светящиеся камни в ладонях Бога.

Яркая уверенность, тугое небо при рассвете.
Хрустальные души людей
принадлежат теперь тебе.
И когда – вокруг тебя – ямы на горной дороге,
Ты должен смириться с тем, что тебя ждёт впереди.

ЭДВИГ АРЗУНЯН

МОЙ ДЯДЯ БЫЛ ШПИОНОМ

очерк¹

«Под колпаком». В формировании личности **ребенка** → **подростка** → **юноши** → **взрослого** составной частью входит пример его старших родственников: папы-мамы, дядей-тётъ, дедушек-бабушек. В моей жизни таким примером, наряду с другими, и был Дядимилик: с детства я так, одним словом привык называть дядю Милика – дядю Эмиля, брата моей мамы.

Что знает обычный читатель о шпионах? Во-первых, то, что придумывали о них писатели-детективщики; во-вторых, то, что сообщают о них журналисты; в-третьих, то, что сами шпионы рассказывают о себе в своих мемуарах (в тех редких случаях, когда руководство спецслужбы позволяет им раскритиковать свою деятельность). Но существует и ещё один вид сведений о шпионах: то, что знают их родственники, от которых, конечно, тоже все секретится, – но какая-то часть сведений по разным причинам всё-таки доходит до них.

Вот я и предлагаю читателю те скудные, зато весьма достоверные сведения, которые дошли до меня, – о моём Дядимилике. И которые повлияли в какой-то мере на формирование моей личности.

Когда 40 лет назад я писал черновик автобиографического романа, я не мог касаться данной темы, так как это, скорей всего, привело бы Дядимилика к военному трибуналу – за нарушение секретности, а меня, как минимум, – к конфискации черновика романа, а как максимум, к ГУЛАГу – за антисоветчину. Тем более, что значительная часть черновика писалась на бабушкиной даче, где каждое лето вместе с нашей семьёй отдыхали также и московские друзья Дядимилика – его коллеги по работе в ГРУ (Главном разведывательном управлении Министерства обороны СССР); так что дача наверняка была «под колпаком» ГРУ.

Поэтому я и написал данные страницы лишь сейчас, 40 лет спустя.

Стаж в НКВД. В 1941 году папа-мама вместе со мной, 5-летним, эвакуировались в Камбарку (Удмуртская АССР), а родители мамы, – мои дедушка и бабушка, – с двумя сыновьями, 29-летним Дядирудиком и 22-летним Дядимиликом, эвакуировались в Миасс (Челябинская область). Там этих двух моих дядей призвали было в армию, но так как в их советских паспортах писалось, что они – венгры, НКВД тут же арестовал их и интернировал. И это – несмотря на то, что, хоть они и были уроженцами Венгрии, но ещё в детстве (в 1922 году) оказались в Союзе (соответственно с 10-летнего и 3-летнего возраста) и являлись теперь советскими гражданами и комсомольцами. НКВД, видимо, просто перепутал тогда понятие «национальность» с понятием «гражданство».

Итак, это был обычный, тупой советский произвол, – когда двух граждан Союза вдруг интернировали, как граждан Венгрии. Кстати, их отца, моего дедушку Леопольда, в гораздо большей степени венгра, чем они, – ведь он переехал в Союз уже взрослым – НКВД тогда не тронул; может быть, из уважения к его заслугам в Венгерской революции 1919 года?.. (Правда, раньше тот же НКВД безуспешно пытался арестовать его, о чём я когда-то уже рассказывал в одной из моих статей³).

В Подмосковье, в Красногорском лагере для интернированных, узниками которого оказались дядя, многие погибали от недоедания. И тут помогла изворотливость Дядимилика: из каких-то обломков он сконструировал машинку для очистки картошки – и для экспериментов по её доводке кухня стала выдавать ему некоторое количество картошки. Машинка так и не стала удовлетворительно работать, и так и не была использована кухней, – но благодаря «экспериментальной» картошке братья выжили.

Позже, когда более прямолинейный комсомолец Дядирудик узнал об истинном происхождении той, дополнительной картошки, он возмутился:

– Если бы я догадался, как нечестно ты добыл её!.. В общем, я бы умер, но не ел бы её!..

Что же касается Дядимилика, то его предприимчивость и дальше не раз помогала ему выкручиваться из тяжёлых жизненных ситуаций.

После окончания войны советскому руководству необходимо было принять участие в организации Нюрнбергского процесса, – и понадобились переводчики, в частности венгерско-русские. И тогда моим дядям срочно надели форму младших лейтенантов НКВД, – в чьём лагере они были узниками, – чтобы отправить в Нюрнберг; вообще у советской власти всегда была склонность к таким вот парадоксальным маскарадам, как в данном случае: из бесправной касты узников репрессивного органа – в привилегированную касту его служащих...

Когда в этом, новом для себя качестве старший из дядей, Дядирудик, впервые попал в столовую для служащих НКВД, – где кормили тогда вообще бесплатно, – то официантка, подав ему меню, блюд на десять, спросила:

– Что будете заказывать?

А Дядирудик был по комплекции крупнее Дядимилика – и поэтому страдал от голода больше, чем тот; кроме того, как это бывает со старшими детьми иммигрантов, Дядирудик хуже владел русским языком, – и вот он ответил официантке так:

– Всю меню!

И она действительно принесла ему «всю меню»! И после голодухи он легко справился с ним!

Это «всю меню» Дядирудика навсегда стало у всех нас, его родственников, – фразеологизмом.

...Итак, дядя оказались переводчиками на Нюрнбергском процессе. А после окончания процесса были благополучно демобилизованы и отпущены домой, в освобождённую уже Одессу.

Впоследствии, где-то в 1970-е годы, когда они выходили на пенсию, пенсионные органы были озадачены: приплюсовать ли период пребывания их в Красногорском лагере к стажу работы в НКВД или считать, что в тот период они были заключёнными? Обратились за разъяснением в КГБ, которое являлось правопреемником НКВД, – и там ответили: приплюсовать этот период к стажу работы! Т.е. два узника НКВД как бы превращались и на тот период в его служащих.

Политех. Но вернёмся обратно, в 1946 год.

Приехав в Одессу, Дядимилик явился в политехнический институт, после второго курса которого, пять лет назад, отправился с родителями в эвакуацию. И тут он узнал, что архивы политеха сторели во время войны; и ещё – что политех, вместо 5-летнего срока обучения, временно ввёл ускоренный, 4-летний.

Сразу же после войны все жили впроголодь, особенно тяжело приходилось студентам. И, чтобы поскорее начать работать, Дядимилик, воспользовавшись отсутствием архива в Политехе, сказал там, что ушёл из него не после 2-го курса, а после 3-го. Таким образом, один год он замощенничал, а ещё один сэкономил из-за ускоренного срока обучения, – и в результате, вместо обычных 5-ти лет обучения, получил диплом инженера за 3 года!

Кроме того, что он был от природы мозговитый, – сдавать экзамены в политехе ему помогало, наверно, ещё и то, что по документам он был теперь демобилизованным лейтенантом НКВД, а значит, как бы «особистом», да к тому же как бы и участником войны. А ко всем недавним победителям гитлеровцев было тогда в стране особо уважительное отношение.

В общем, и в ускоренном получении образования – Дядимилику помогла его предприимчивость.

Окончив политех, Дядимилик оказался перед перспективой работать, как принято было тогда, на мизерную зарплату инженера (их иронически называли – «инженерё»). Желая как-то помочь карьере сына и не надеясь особенно на успех, бабушка Моника написала письмо в Москву – кажется, самому Молотову – о заслугах её мужа, отца Дядимилика, в Венгерской революции, и с просьбой помочь в трудоустройстве сыну революционера. И, как это ни странно, письмо не было положено чиновниками под сукно.

Тут-то и началась главная полоса в карьере Дядимилика.

Двойная бухгалтерия мышления. Кроме Дядимилика, у меня были и ещё знакомые, заполнявшие анкеты для агентурной работы, – и поэтому я знаю, что требования там были высокие: и в смысле интеллекта, и в смысле моральной устойчивости. Недаром ведь английская разведка называется Intelligence service, т. е. как бы – Интеллектуальная служба... Но дядя успешно прошёл отбор.

И дальше – я буду вспоминать ту отрывочную информацию о его секретной деятельности, которая в течение многих лет доходила до меня.

Ведомством, в которое дядя поступил на работу, было не КГБ, а ГРУ. И иногда дядя с гордостью напоминал об этом, – желая, видимо, лишний раз подчеркнуть, что не имеет никакого отношения к главному



репрессивному органу страны. Мне это, конечно, тоже было приятно; тем не менее, я с горечью сознавал, что и его ведомство – экстремистская организация, с той лишь разницей, что её экстремизм направлен не против народа своей станы, а против народов других стран.

Впрочем, по отношению, например, к собственным агентам методы ГРУ были тоже отнюдь не «вегетарианские». Например, как-то дядя рассказал мне:

– В процессе подготовки будущего агента обязательно показывают фильм о том, как наша разведка обходится с предателем... – дядя не рассказывал подробности этого фильма, но лицо его выразительно свидетельствовало о мученической участи предателя.

Тем не менее, человеческая потребность поделиться с кем-либо своими впечатлениями брала вверх, – и в результате до нас, его родственников, доходило немало недозволенной информации. К тому же у меня с дядей, который был старше меня на 17 лет, сложились доверительные, дружеские отношения; мы считали себя интеллектуалами и любили философствовать на разные темы. А то, что я рано определился как «писатель-нелегал, пишущий в стол», в надежде на то, что когда-нибудь придёт и моё время, – лишь обостряло моё любопытство к запретной информации.

Тотальное ханжество советской действительности порождало *двойную бухгалтерию мышления* (подобно тому, как нынешняя постсоветская действительность порождает *двойную финансовую бухгалтерию*: напоказ – для налогового управления; и тайно – для себя). В условиях холодной войны между социалистическим и капиталистическим «лагерями», по отношению к дяде моя личная двойная бухгалтерия заключалась в том, что, с одной стороны, я как бы гордился его романтической профессией, в то время как с другой – ощущал себя представителем противоположного «лагеря».

А в своих стихах я даже своеобразно идентифицировал себя с профессией дяди: *«я шпион среди них / всё записываю всё «фотографирую» / я шпион среди них / всех обманываю всех травмирую / им меня не узнать / я таким как они притворяюсь / им меня не узнать / я себе одному доверяюсь / я шпион среди них / презираю я глупых и слабых / я шпион среди них / а они полагают что раб их...»* («Фотографирую» употреблено тут в переносном смысле – в значении: «запечатлеваю в памяти»).

Хоть я писал стихи лишь в стол, но и это опасался делать без некоторой конспирации. Поэтому, в конце концов, я заменил слово «шпион» на более мягкое «сексот»; а ещё – в четвёртом четверостишии вообще свёл всё к области поэзии: *«им меня не узнать / если сам не скажу я об этом / им меня не узнать / ведь они не встречались с поэтом»* («Я сексот среди них»).⁴ Иначе говоря, в моём восприятии дядя был нашим шпионом там, а я – их шпионом тут.

В излишней для секретчика откровенности дяди играло роль, видимо, и то, что все родственники, кроме него, были невыездыми, – а значит, ему нечего было опасаться того, что недозволенная информация попадёт за рубеж. Он часто откровенничал со мной: иногда рассказывал сам, иногда отвечал на мои любопытные вопросы; но всё это до определенных границ: на некоторые вопросы отвечал уклончиво, на некоторые и вообще отмалчивался. Интересная информация о нём доходила до меня и от других: от моих папы-мамы, от его жены Наташи, даже от его друзей и коллег по секретности, с которыми я тоже иногда сталкивался. Всё это копилось в моей памяти, и теперь уже трудно было бы установить, какая информация пришла откуда. И поэтому я буду дальше излагать эту информацию, в основном, безлично – так, как она сохранилась в моей памяти.

Спецшкола. Года два Дядимилик учился в Москве, в секретной спецшколе – для людей, уже имеющих высшее образование. Там его обучали разным шпионским наукам: тайнописи, трудно разоблачаемым способам закладки и извлечения информации вне дома, изощрённым способам фотографирования, хитростям мимикрии и ухода от преследования и т. п. Были у них и довольно интенсивные занятия физкультурой, ведь разведчик должен быть физически развитым.

Несмотря на жесточайший жилищный кризис, слушателю спецшколы, с женой и маленьким сыном, недавним одесситам, сразу же дали комнату, хоть и в коммунальной квартире, но зато в доме с лифтом и мусоропроводом, что тогда было редкостью в Союзе, да ещё и в самом перспективном районе города, возле набережной Москвы-реки (обычно советские люди ждали своей очереди на гораздо более скромное жильё десятки лет). А вскоре вторая семья, жившая в этой коммунальной квартире, – тоже, видимо, семья работника ГРУ, – получила самостоятельную квартиру в одной из новостроек города и выселилась; в результате дядя получил ордер на всю просторную двухкомнатную квартиру.

Дядя бывал дома лишь в выходные дни; будни же целиком посвящались учёбе, и жил он в эти дни в другой, засекреченной, небольшой самостоятельной квартире возле спецшколы. Для покупки и при-

готовления пицци по выбранному им меню, а также для других хозяйственных дел приходила служащая спецшколы.

Я знаю, о чём ты сейчас подумал, читатель, – но нет, ты ошибаешься: о каких-нибудь сексуальных вольностях с этой служащей школы не могло быть и речи. Так как было очевидно, что главная её обязанность – отнюдь не приготовление пицци, а информирование руководства о каждом шаге своего подопечного.

Позже мой коллега по Одесскому нефтяному техникуму М.И. рассказывал, как его, призванного на срочную службу в советской армии, готовили для агентурной работы... в ГУЛАГе!⁵ Да, как видим, был и такой вид агентурной работы. И вот во время выполнения учебного задания – действие происходило в городском парке – его соблазнила молодая женщина. А расставшись с ним, тут же позвонила по уличному телефону-автомату его командиру, чей приказ она, оказывается, и выполняла, – и на этом агентурная карьера М.И. закончилась.

Дядимилик же был более твёрдым орешком. Впрочем, и ведомство, в котором он служил, было покруче, – что и обязывало соблюдать гораздо большую осмотрительность.

С этим житьём во второй, засекреченной, квартире связан некий трагикомический эпизод.

Жена Наташа заявила:

– Я не дура, чтобы верить в твои сказки о второй квартире, и прекрасно понимаю, что ты просто решил стать у меня «воскресным мужем», – было тогда такое выражение, – а пятидневку живёшь у какой-то шлюхи.

Никакие объяснения Дядимилика не помогали.

Более того: Наташа устроила слежку за мужем, – просто стала незаметно, как ей казалось, ходить-ездить за ним. Но дело в том, что слежку за ним вела, конечно же, и «конкурирующая организация». В результате, в отсутствие Дядимилика, – в один из дней пятидневки, – к Наташе пришёл человек из ГРУ и строго потребовал прекратить её «дилетантскую» слежку: под угрозой привлечения к ответственности за попытку незаконного получения информации о секретной квартире ГРУ.

Тут уж Наташа поверила, наконец, в реальность этой второй, засекреченной квартиры, – а значит, и в необоснованность своей ревности.

...Я виделся теперь с дядей и его семьей, лишь когда приезжал в Москву, и когда они летом приезжали в Одессу, на бабушкину дачу. Приезжая в Москву, я почти всегда останавливался у них; а на бабушкину дачу, вместе с дядей, приезжали также и его друзья, коллеги-секретчики, общение с которыми тоже добавляло мне информации.

Приезжая в Одессу, дядя – как военнослужащий в отпуске – обязательно шёл регистрироваться в Одесский облвоенкомат.

– А зачем нужна регистрация? – спросил я его.

– Ну как же, а вдруг я срочно понадобится руководству ГРУ.

Я никогда не видел дядю в форме, – разведчики ходят в гражданской одежде, – но вот эти его хождения в военкомат напоминали мне, что он – военный офицер.

И ещё – бритьё:

– Однажды, когда я пришёл на работу, – рассказывал дядя, – мой непосредственный руководитель спросил: «Вы когда брились?» – «Вчера». – «А почему не сегодня?» – «Но я ведь не сильно зарастаю, – на второй день ничего не видно». – «Запомните, на нашей работе вы всегда должны быть свежевобритым, независимо от того, видно это или не видно. А вдруг вас вызовут *наверх*, то есть к министру обороны или даже *ещё выше*? Или вдруг вас срочно отправят на задание?». С тех пор я бреюсь каждое утро, без исключения, – даже когда в отпуске, – заключил свой рассказ дядя.

Теннис.

– Ты знаешь, какой основной вид спорта у разведчиков? – как-то спросил он меня. И сам ответил: – Теннис!

– Большой или малый? – уточнил я.

Дядя улыбнулся:

– Во всём мире, говоря «теннис», имеют в виду то, что у нас называют «большим теннисом». А то, что у нас называют «малым теннисом», у них называют просто «пинг-понгом»...

(Полагаю, что советское деление на *большой* и *малый* теннисы произошло по трём причинам: 1. теннисный корт *больше*, чем стол для пинг-понга; 2. теннисная ракетка *больше*, чем ракетка для пинг-понга; 3. теннисный мячик *больше*, чем шарик для пинг-понга. Иначе говоря, пинг-понг – это как бы детский, настольный, уменьшенный вариант тенниса).



– При теннисе, – объяснял мне дядя, – задействованы все мышцы тела: во-первых, главная мышца – сердце; во-вторых, – мышцы рук, ног, спины, живота... В общем, в отличие от большинства остальных видов спорта, теннис гармонично развивает всё тело теннисиста.

– Но у нас в стране распространен только пинг-понг... – сказал я.

– Да. Потому что он занимает мало места, а для тенниса нужен корт, – стал объяснять мне дядя. – Причём на этом корте заняты только 2 игрока. А в нашей стране заинтересованы лишь в массовых видах спорта, в которых одновременно задействовано много игроков: в футболе – 22, в волейболе – 12, в баскетболе – 10...

...Когда в 1973 году на экраны вышел знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны», то слова дяди насчет значения тенниса для разведчиков подтвердились: герой фильма Штирлиц как раз и был чемпионом Берлина по теннису.

А я к этому времени, тоже вполне в соответствии с объяснениями дяди, стал перворазрядником по малому теннису, а на некоторое время даже и тренером по нему. Причём среди нас, любителей данного вида спорта, почти не употреблялось несолидное слово «пинг-понг» и нечасто употреблялся также термин «малый теннис»; а просто говорили «теннис», «теннисист», «теннисная ракетка», – тем самым как бы примазываясь к подлинному, недоступному нам теннису.

Английский язык. Одним из главных предметов в спецшколе был, конечно же, английский язык, – язык главного потенциального противника, Соединённых Штатов, – преподававшийся на более высоком уровне, чем даже в лингвинах.

Помню, дядя рассказывал о том, что одна из их преподавательниц, профессор Московского университета, была командирована в Лондон с весьма пикантным заданием: собрать фольклорные надписи на стенах общественных туалетов – для последующего обучения этой лексике будущих разведчиков...

И дело было не только в уровне обучения, но и в его интенсивности: первый год ежедневных, чуть ли не двенадцатичасовых занятий, был посвящён, в основном, языку.

Вообще английский язык, во всяком случае для русскоязычных, – весьма труден. Особенно разговорный язык.

Я изучал английский в Одессе: в школе, в университете на русском филфаке и дважды на государственных курсах иностранных языков; а потом ещё дважды на курсах в Штатах. И вот живу тут уже четверть века – наверно, раза в три дольше, чем жил тут Дядимилик (да, он «работал» потом в Штатах), – а понимаю по-английски, в среднем, лишь процентов 80.

Впрочем, несмотря на спецшколу, дядя тоже жаловался мне, что имел проблемы с языком в Штатах. И поделился со мной одной своей находкой, которая помогала ему в преодолении языкового барьера.

Находка заключалась в следующем. В американские кинотеатры можно было входить прямо во время сеанса и выходить в любое время, просидев на один билет сколько угодно сеансов. Вот он и высиживал подряд два-три сеанса одного и того же фильма – и с каждым последующим сеансом понимал в данном фильме всё больше.

Когда же через три десятка лет я тоже оказался в Штатах, – но уже не так, как дядя, а в качестве невозвращенца, – то учёл дядин урок; правда, несколько видоизменив методу в соответствии с изменившимися условиями. В отличие от подавляющего большинства наших эмигрантов, за четверть века мы с женой ни разу не подписывались тут на русское телевидение, а подписывались на американское, кабельное или спутниковое, ежедневно смотря днём Си-Эн-Эн, а вечером, с восьми часов, – один художественный фильм. Первые пару лет, из-за языкового барьера, это было нелегко, – но постепенно стало приносить свои плоды: сейчас мы с женой говорим по-английски не хуже большинства тех наших эмигрантов, у которых он был в Союзе профессией после лингвина: большинство из них тоже понимают язык лишь на 80 процентов; и нашим друзьям-сверстникам мы даже помогаем в качестве переводчиков (что же касается молодёжи, – то она, как известно, осваивает иностранный язык значительно легче).

В Венгрии. После окончания спецшколы Дядимилик был отправлен в «заграничную командировку», – мы не знали куда. А года через полтора он вдруг появился у нас в Одессе; и из его ответов на наши вопросы становилось ясно, что он ещё не получал разведывательного задания, а это была для него лишь практика привыкания: после нашей закрытой, тоталитарной страны («первой страны социализма») – к жизни в свободном мире («в капиталистических странах»). Ему положили на счёт в зарубежном банке громадную для советского человека сумму: что-то порядка 200 тысяч то ли долларов, то ли фунтов стерлингов – это, наверно, как сейчас пару миллионов; он не должен был работать, а должен был лишь жить на эти деньги, разъезжая по разным странам. И он послушно побывал тогда, насколько помню, во многих странах Европы, а может и Азии... Для нас, невъездных, такая возможность была пределом мечтаний.

– Я беседовал даже с Пием XII – Папой Римским! – рассказывал нам Дядимилик. – Но не думайте, что это благодаря каким-то моим заслугам. Дело в том, что в Ватикане существует система чисто коммерческих приёмов у Папы: любой – и, кстати, не только католик – может внести определённую сумму и получить получасовую аудиенцию; это один из известных доходов Ватикана. И не думайте, что я сделал это по своей инициативе: побывать на аудиенции у Папы порекомендовало мне моё руководство, – тоже для акклиматизации в качестве западного человека.

Одной из стран, где Дядимилик пожил некоторое время, была Венгрия, – в частности, Будапешт. Напоминаю: ему было три года, когда его семья эмигрировала из Венгрии, из Будапешта, в Советский Союз, в Одессу, – а теперь ему было примерно лет тридцать пять. В Одессе, дома, они всегда говорили между собой по-венгерски, так что и во взрослом возрасте он практиковался в этом языке. А тут он ещё пожил в Венгрии и имел возможность освежить язык, а также хоть немного вжиться в реальную венгерскую атмосферу.

Где-то в Европе он умудрился затеять небольшой бизнес и что-то заработать на нём. И с гордостью рассказывал нам, что его московские руководители были приятно удивлены, как мало он израсходовал из первоначально ассигнованных ему денег.

В выражении лица дяди, в его жестах и походке появился заграничный шарм. Он выглядел теперь человеком, сознающим, что кое-что успел в этой жизни, – но оставался таким же благожелательным и общительным, как прежде.

После его возвращения из Венгрии я задал ему вопрос:

– А вы нашли там родственников?

(Моя бабушка Моника была младшим, одиннадцатым ребёнком в будапештской семье, – но из «закрытого» Советского Союза она, конечно, не поддерживала никаких связей с венгерскими родственниками).

– Почти нет, – замылся Дядимилик.

И я не стал настаивать на своём вопросе, – видя, что это уже, наверно, за линией дозволенного для него.

– Но я посидел в библиотеке и почитал там в газетах 1920 года о судебном процессе над отцом, – добавил Дядимилик (Это когда хортистский режим судил дедушку Леопольда за участие в революции 1919 года).

– Ну и как, этот процесс был с антисемитским душком?

– Да, конечно.

Дело в том, что дедушка, – как и бабушка, – были евреями, да и фамилия у них была еврейская: «Макфеллер», которую в Союзе они сократили до «Маю».

Вообще сейчас публикуется всё больше информации о том, что, несмотря на советский государственный антисемитизм, разведку не очень-то ограничивали в использовании агентов-евреев. И Дядимилик – одно из подтверждений этого.

Письма. Наконец, Дядимилик отправился уже в настоящую «разведку» – и не появлялся в Союзе лет пять (в 1956-1961 годах). А его жена Наташа каждое лето с сыном и дочерью, – монми двоюродными братом и сестрой, – приезжала из Москвы в Одессу, к бабушке на (улицу – ред.) Баранова и на бабушкину дачу в районе Дачи Ковалевского (так называется один из пляжных районов Одессы).

Дядимилик и Наташа регулярно обменивались, с помощью ГРУ, письмами, – в частности, с поздравлениями ко дням рождения. А через много лет Дядимилик раскрыл мне подноготную этой переписки.

Ещё находясь в Союзе, по указанию ГРУ, он написал Наташе письма к дням рождения её и детей на несколько лет вперёд. И курирующий семью служащий в нужный день вручал эти письма его семье, поддерживая иллюзию, что это написано недавно. Таким образом, обеспечивалось спокойствие семьи.

А ответные Наташины письма просто скапливались в ГРУ, – и многолетняя пачка их была вручена Дядимилику лишь после возвращения с задания (Наташи к тому времени уже не было в живых).

«Беженец». Венгерское антисоветское восстание 1956 года. На некоторое время граница между Венгрией и Австрией оказалась открытой: с венгерской стороны – из-за забастовки пограничной службы, с австрийской стороны – по приказу правительства, для свободного потока венгерских беженцев в Австрию.

А у Дядимилика родной язык – венгерский (русский был вторым его языком). И вот среди беженцев оказался и он – с легендой о том, что он всю жизнь прожил в Венгрии и никогда не был в Советском Союзе. И теперь на протяжении нескольких лет выполнения задания он должен был скрывать своё знание русского языка.

В инструкции для разведчиков было такое: если ты почувствовал за собой слежку, забудь на время о задании – и делай всё, чтобы уйти от слежки. При необходимости, меняй даже страны пребывания; на



этот случай у Дядимилика были зашиты в водонепроницаемый (!) пояс трусов паспорта разных стран и пачки разной валюты.

И вот при переходе с группой беженцев в Австрию, Дядимилику показалось, что венгр – проводник группы – как-то подозрительно внимателен к нему: слежка! Тут же, в соответствии с инструкцией, Дядимилик поспешил отколоться от группы – и стал путать следы в поездках по Европе: из страны в страну.

А однажды случилась вот такая стрессовая ситуация.

Полиция остановила автобус и стала «шмонать» пассажиров-мужчин одного за другим, вплоть до прощупывания трусов.

«Наверно, напали на мой след! – решил Дядимилик. – Толстый пояс моих трусов, конечно же, привлечёт их внимание, а ведь там – паспорта...». Но, к счастью, оказалось, что полиция охотилась в данный момент не за ним: у одного из пассажиров вдруг что-то нашли, что искали, – и на этом шмон прекратился.

В другой раз он где-то загорал на пляже, в этих же трусах со специальным поясом. Пошёл поплавать, – и из воды увидел, что какой-то парень роется в его оставленной на берегу одежде. Если это вор, то полбеда, – а если контрразведчик данной страны?!

Пришлось, в соответствии с инструкцией, оставить вещи на произвол судьбы, – и выйти из воды в другом конце пляжа. А потом в укромном месте вынуть нужные деньги из пояса – и в припляжном магазине, сославшись на воровство, приодеться во что-то наскоро купленное.

В общем, всякого рода стрессы бывали постоянно.

А что касается группы, с которой Дядимилик переходил венгерско-австрийскую границу, то после его контакта, наконец, в одной из стран с советской резидентурой, выяснилось, – что вся группа, в том числе и её руководитель, были такими же советскими агентами, как и он. Но главное, руководитель оказался то ли предателем, то ли двойным агентом: он «заложил» всех участников; и, хоть они уже рассредоточились было по Австрии, – всё равно были быстро выявлены и арестованы австрийской контрразведкой. Все, кроме Дядимилика, – интуиция которого помогла ему вовремя смыться.

...После Венгерской революции 1919 года её участник, мой дедушка Леопольд Макфеллер вместе с семьёй оказались в Советском Союзе. С 1949 года Венгрия стала советским сателлитом, и в 1956 году дедушка и бабушка решились, наконец, посетить родной город Будапешт, чтобы повидаться с родственниками, – и угодили как раз в момент октябрьско-ноябрьского антисоветского восстания.

Повстанцы заходили в дома, спрашивая:

– Коммунисты есть?

А обнаружив таковых, выводили их на улицу – и расстреливали.

Формально дедушка не был членом КПСС, – но он был участником Венгерской революции, а теперь и гражданином Советского Союза. В общем, повстанцы вполне могли посчитать его коммунистом.

Поэтому родственники прятали его и бабушку в подвале, – и, благо, соседи не выдали их. А потом, как и других оказавшихся в Венгрии граждан Союза, – советский посольский автобус забрал их в охранявшееся советскими оккупационными войсками помещение посольства, где их встретил посол Юрий Андропов, будущий генсек.

И ведь как раз в это время в Будапеште находился их сын Дядимилик, агент ГРУ! Но родители и сын не знали о том, что находились тогда в одном городе.

В результате получилось так, что они все трое покинули Венгрию почти одновременно. Родителей, вместе с другими находившимися тут советскими гражданами, военный самолёт вывез в Союз; а в то же время их сын нелегально перешёл границу в Австрию.

Вот так жизнь преподносит иногда удивительные совпадения. Об этом своём одновременном пребывании в Венгрии как родители, так и сын узнали лишь пять лет спустя, после возвращения сына в Союз.

Саркис. Наконец, Дядимилик – всё-таки как беженец из Венгрии – оказался в Штатах.

Двоюродный брат моего папы Саркис Арцруни находился в Одессе во время гитлеровской оккупации. Воспользовавшись тем, что западной советской границы в период оккупации вообще не существовало, примерно 25-летний тогда Саркис бежал в Италию, а затем в Штаты (где достаточно много местных армян, а у Саркиса родной язык – армянский).

И вот, через пятнадцать лет, в 1956 году, в ресторане знаменитой нью-йоркской гостиницы «Плаза», в которой останавливались многие монархи и президенты мира, Саркис вдруг видит за столиком своего дальнего одесского родственника – через нашу семью – Дядимилика.

– Неужели это Милик?! – радостно-удивлённо кричит ему Саркис.

Разведчику Эмилино Маку деваться некуда:

– А-а, Саркис, – пожимая Саркису руку, он тоже симулирует на своём лице радость. И тут же переходит на шёпот: – Садись рядом. Только говори, пожалуйста, тише.

Уверен, что при той, первой встрече Дядимилик не раскрыл Саркису, в качестве кого он в стране, – но, во всяком случае, дал понять, что его нахождение тут не должно привлекать ничьего внимания. Бывший одесский кореш Саркис быстро схватил ситуацию:

– Да, конечно, ты ж меня знаешь... – сказал он, тоже перейдя лояльно на шёпот.

Саркис записал в записную книжку Дядимилика свой нью-йоркский номер телефона; а Дядимилик замаялся и сказал, что он тут проездом и у него пока нет телефона.

Естественно, Дядимилик сразу же после ухода Саркиса, – соблюдая все правила конспирации, – доложил в резидентуру ГРУ о непредвиденной встрече. ГРУ своими методами навело справки о русскоязычном армянине Саркисе Арцруни – и неожиданно дало Дядимилику приказ: попытаться завербовать Саркиса.

А Саркис всю жизнь был картёжником – и успел сообщить Дядимилику, что и тут, в Штатах, успешно подрабатывает своим полуплегальным мастерством. Поэтому, кстати, и околачивался он в «Плазе».

И, по указанию резидентуры, Дядимилик позвонил Саркису. И, встретившись с ним, повёл разговор так, – мол:

– Ну, как успехи на картёжном фронте?

Саркис пожаловался:

– Да как раз проигрался...

Этого и нужно было резидентуре:

– А я могу одолжить тебе деньги, – отозвался Дядимилик.

Одолжил он Саркису какую-то там сумму, – и, таким образом, тот был уже на крючке ГРУ.

Потом, обязанный Дядимилику, Саркис послушно выполнил несколько его простых «просьб»: передавать какие-то письма и пакеты по указанным адресам. Полагаю, что и на этом этапе Дядимилик не раскрыл Саркису, на кого он конкретно работает; хотя, впрочем, расторопный Саркис и без того догадывался уже, – что на какую-либо из советских спецслужб. А догадавшись, сказал, наконец, Дядимилику:

– Ты не обижайся, но я больше не могу выполнять твои поручения. Я чувствую, что это опасно и не хочу рисковать.

...Году примерно в 1980, при некоторой либерализации Союза, Саркис приезжал на несколько дней в Одессу – впервые после эмиграции (Дядимилик уже жил и работал тогда в Москве). А обратно в аэропорт Саркиса провожал мой папа, и по пути Саркис с сожалением сказал ему:

– Ты знаешь, я собирался теперь часто приезжать к вам, – но получилось так, что не смогу больше приехать. Когда наш друг Эмиль был со своим заданием в Штатах, я несколько раз выполнял его мелкие поручения; а потом, поняв, какого рода эта работа, отказался дальше выполнять её. И вот сейчас тут, в Одессе, ко мне пришли в гостиницу представители ГРУ и стали требовать, чтобы я и дальше работал на них, – а я отказался. В общем, не думаю, что я ещё раз решусь приехать сюда...

Но судьба бывает иногда по-своему иронична. Лет через пятнадцать, воспользовавшись распадом Союза, в 80-летнем возрасте Саркис всё-таки опять приехал в Одессу. Но тут его уже подстерегла более могущественная «Спецслужба» – тут, попросту говоря, он заболел и умер. И был похоронен в Одессе, на Родине.

Ремонт телевизоров.

– Каково было ваше задание? – спрашивал я Дядимилика.

– Было одно главное задание, и ещё бывали разовые. Главным было – составление обзоров по публикациям о новостях американской телевизионной техники, по которой американцы лидировали в мире. Телевизионную технику я изучал ещё в Одесском политехническом институте; а тут я устроился на работу в ателье по ремонту телевизоров, так что мой интерес к таким публикациям выглядел вполне естественным... Чтобы закрепиться на работе, приходилось быть усерднее других. Например, я обратил внимание, что в ателье пол всегда грязен и сказал хозяину: «Можно, я вымою пол? Для хорошей работы телевизионной техники необходима чистота в помещении». С тех пор я стал вообще поддерживать чистоту в ателье, и хозяин считал меня лучшим работником.

Дядимилика давно уже нет в живых. И вот недавно от его дочери я узнал – мне он этого не говорил, – что некоторое время он, в качестве телевизионного мастера, обслуживал нью-йоркскую гостиницу «Плаза» (ту самую, в которой встретился с Саркисом). Что Дядимилик делал с телевизорами в «Плазе», он и дочери не говорил, – но нетрудно догадаться, что он просто, видимо, устанавливал в них «жучки».

Азы агентурной работы. Дядимилик охотно делился со мной азами своей профессии.



Шпион ↔ разведчик:

– Шпион – это плохой человек, коварный и жестокий вражеский агент; а разведчик – это герой, который, рискуя жизнью, добывает ценную информацию для своего государства. В общем, один и тот же человек выступает как бы в двух противоположных ролях, – в зависимости от того, находится ли он в своей стране или в стране разведки.

Нелегальный разведчик ↔ легальный разведчик:

– Все тайные агенты – это нелегальные разведчики, а все работники дипломатических миссий в зарубежных странах, начиная с посла и кончая уборщицей – это легальные разведчики. Среди работников дипломатических миссий не бывает людей, не задействованных разведкой того государства, которому принадлежит дипломатическая миссия.

Пистолет:

– Неизбежная принадлежность кинематографических шпионов. В жизни же подавляющее большинство тайных агентов не имеют при себе никакого оружия. Да и подавляющее большинство их заданий не имеют никакого отношения к убийствам.

Уход от слежки:

– Тоже – чистая кинематография. Если уж власти напали на след агента, то шансов скрыться у него почти нет.

Доверие:

– Если агент хотя бы на короткое время попал под арест с подозрением в шпионаже, – то что бы он ни говорил потом о невыдаче секретов, ему всё равно не доверят больше продолжать агентурную работу.

Приключения:

– Кинофильм «Семнадцать мгновений весны» интересный. Но в нём собраны удачные эпизоды из практики нескольких разведчиков. Как правило, если разведчик выполняет хотя бы одно такой сложности задание, – это уже большое достижение.

Разведка сексом. Дядимилик рассказывал мне, что вообще сексуальные связи для советского разведчика запрещены – и допускаются только в тех случаях, когда это может способствовать выполнению задания. Пример Рихарда Зорге не опровергает этого: Зорге просто нарушал правила, – и если бы появился в Союзе, то его ожидал бы трибунал; а уж поскольку он стал знаменитостью, то власти впоследствии просто закрыли глаза на его грешки.

Так что в своих «производственных командировках» Дядимилик дисциплинированно воздерживался от сексуальных контактов. Но однажды такой контакт был ему санкционирован.

Советской разведке стало известно, что некой румынской разведчице удалось стать любовницей какого-то высокопоставленного американца и добыть от него ценную секретную информацию. Дядимилик получил задание закрутить любовь с этой разведчицей – и позаимствовать от неё данную информацию. Он принялся за дело: цветы, конфеты, ресторан – и вскоре, конечно же, постель. Как и ожидалось, разведчица не замедлила поделиться с обожаемым любовником ценной информацией. После чего любовь как-то сразу испарилась, и встречи прекратились.

– А она-то, дура, влюбилась... – ухмыльнулся в заключение рассказа Дядимилик.

Двойник. «Разведка» Дядимилика в Штатах закончилась в какой-то мере трагически. В Москве, в 1961 году, в возрасте 43-х лет, – кажется, от рака, – умерла жена Наташа, и остались двое детей; и его тут же вызвали в Москву.

Потом он рассказал мне о весьма любопытном эпизоде на пути в Москву.

Возвращался он из Штатов пассажирским самолётом с пересадкой в аэропорту Парижа. Во время пересадки советский агент забрал его документы с «легендой» – и вернул ему подлинные, советские.

А когда Дядимилик подходил к советскому самолёту, только что прилетевшему в Париж из Москвы, чтобы на нём лететь в Москву, – то тут и произошло самое интересное: с трапа сходил человек... копия его самого! Двойник!

Как объяснил мне Дядимилик, – по-видимому, ГРУ подготовило ему на смену очень похожего на него внешне человека, который должен был продолжать выполнение его задания, с его же документами и «легендой». Внедрение нового агента стоит государству больших денег и сопряжено с большим риском, – а тут полностью используется состоявшееся уже успешное внедрение.

Может быть, даже предполагалось, что двойник заместит его лишь на время, – до возвращения обратно в Штаты. Но потом получилось так, что он никогда больше не был в Штатах...

Проверки. После возвращения Дядимилика в Москву, начальство провело с ним множество бесе-

дований, – это, несмотря на то, что он написал многостраничный отчёт о выполнении задания. Подковыристые вопросы собеседований не вызвали сомнений в том, что направлены они были на выявление того, не стал ли Эмилий Мак двойным агентом.

А один генерал регулярно проводил с ним по много часов в разговорах на самые различные, казалось бы, не имеющие отношения к их работе темы. И задавал вопросы о мнении Дядимилика относительно явных пороков и провалов коммунистической идеологии – например, об отношении к культу личности Сталина и разоблачению этого культа Хрущёвым. И однажды Дядимилик честно и эмоционально высказался ему – *о несмыслаемом позоре сталинских репрессий!*

– Тут генерал, наконец, проникся полным доверием ко мне, – сказал Дядимилик, – и отвязался, наконец, от меня.

То ли из-за бюрократической опшибки, то ли из-за подозрений в двойной игре Дядимилику в годы выполнения задания в Штатах «забыли» присваивать очередные воинские звания; так он и вернулся в Москву в своём первоначальном звании – кажется, лейтенанта. Но после проверок (собеседований с ним; а также, очевидно, и сбора агентурных сведений о нём) ему вдруг присвоили звание, перескочив через несколько ступенек. Ну, может быть, перескочили через звания старшего лейтенанта и капитана – и сразу же присвоили майора...

Это было для Дядимилика верным знаком того, что его, наконец, «признали» непродавателем.

Увиливание от женитьбы.

Вскоре непосредственный его руководитель сказал ему:

– Руководство считает желательным направить вас на новое зарубежное задание. Но вы знаете наши правила: разведчик обязательно должен быть женат. Так что поскорее найдите себе невесту по душе и женитесь...

Мягкая форма начальственного пожелания не оставляла у Дядимилика иллюзий: это был приказ. А приказ должен быть выполнен во что бы то ни стало, – и майор ГРУ стал дисциплинированно искать себе невесту.

Однако – ох как не хотелось ему опять оказаться за рубежом! Опять будет весь букет этих проблем: ежедневный стресс от страха провала; аскетическая целеустремленность на выполнение задания; наконец, просто ностальгия по семье, друзьям, русскому языку, городам Одесса и Москва и т.д.

И вот невеста найдена. Женщина, привлекательная во всех отношениях.

Но Дядимилик сознательно тянет с предложением ей. А потом, воспользовавшись какой-то мелкой размолвкой, вообще перестает с ней встречаться.

– Но ведь не на ней одной свет клином сошёлся, – говорит ему его руководитель.

Новые знакомства, новые женщины, – «менял он женщин, как перчатки». Но до регистрации брака дело всё время так и не доходит, – всё время что-нибудь мешает этому... Уж очень не хочется Дядимилику за рубеж!

Наконец, руководство устало от явной Дядимиликиной обструкции. И – ура! – сжалилось: перестало женить его.

...Остальную часть жизни, ещё более трех десятков лет, Дядимилик прожил в Союзе: во-первых, – как холостяк; а значит, и во-вторых, – как невеждной.

Служба в Москве. С тех пор, оставаясь офицером ГРУ (дослужившимся к выходу на пенсию до полковника), Дядимилик продолжал жить со своими двумя детьми в Москве, а лето, как и раньше, они проводили в Одессе на бабушкиной даче.

Сначала он работал в журнале для иностранцев «Спутник» – и главной его обязанностью было сопровождение, в качестве переводчика, иностранных гостей редакции в их ознакомительных поездках по Союзу. Гости, разумеется, не знали, какой специфической работой он занимался в недавнем прошлом; но, наверно, догадывались, что с ними он играет роль не только переводчика.

Дядимилик объездил с гостями весь Союз. И говорил нам:

– Советские люди стремятся за границу, а у нас есть множество мест не менее интересных. Сначала поездите по нашей стране, – тут вам хватит, что смотреть, на много лет...

И ведь действительно: это было в эпоху, когда в Советский Союз, кроме интересной самой по себе России, – входили также и Прибалтийские республики, и Кавказские, и Среднеазиатские... Так что действительно было, что смотреть.

«Наверно, он прав, – думал я, – но всё-таки прав лишь наполовину! Хорошо ему, поездившему по многим странам мира, рассуждать так...».



...А потом он ещё и преподавал в той же спецшколе, которую сам когда-то окончил.

Без проявителя и закрепителя. Где-то годах в 1970-х Дядимилик показал мне небольшой фотоаппаратик.

– Техника будущего! – сказал он. – Понимаешь, у нас там, – дядя куда-то неопределенно указал пальцем, – имеется специальная лаборатория, разрабатывающая новейшую технику для разведки. Вот они дали мне этот фотоаппарат, чтобы я пофотографировал им некоторое время, а потом подсказал, что надо бы в нём доработать. И ты знаешь, какой это чудесный аппарат?

Тут, наведя его на меня, Дядимилик щёлкнул. Потом куда-то там запустил в аппарат указательный и большой палец и вытащил... нет, не негативную пленку, а готовый, позитивный – мой фотопортрет на бумаге!

– Это специальная бумага, – сказал он. – Никакого негатива, никаких проявителя и закрепителя! Щёлкнул, – и фотография готова!

А лет через десять я прочитал в «Технике – молодежи» о начале выпуска за рубежом (!) таких аппаратов. Данную публикацию Дядимилик прокомментировал так:

– Изобретатели у нас не хуже, чем у них. Но вот внедрить в массовое производство у них получается быстрее.

Да, дядя не был тупоголовым ортодоксальным коммунистом, – хотя членом партии, конечно же был, иначе его не взяли бы на агентурную работу. Но недостатки нашей советской системы он понимал не хуже меня. Может быть, лишь с той разницей, что он называл их недостатками, а я – пороками.

«Их нравы». Таковой была одна из распространённых рубрик советской печати – о пороках капиталистического общества. Но многое из того, что рассказывал Дядимилик, противоречило этой рубрике, – говорило как раз о достоинствах капиталистического общества.

Попав в Штаты, на первых порах дядя не рещался просто поболтать с американцами, – хотя для лучшей адаптации и тренировки языка это необходимо было делать. Наконец, он рещился: сел на скамейку рядом с интеллигентного вида американцем; а была жара, и американец потягивал из бутылки какой-то напиток. И, не успев Дядимилик заговорить с ним, – как тот протянул ему свою бутылку:

– На, попей!

Пить из одной бутылки, да ещё и с незнакомым человеком? Дядимилик замялся.

Тогда американец стал копаться в своей обширной сумке... И вытащил оттуда такую же, но ещё не раскупоренную бутылку:

– На!

Куда было деваться: эту бутылку дядя уже взял. После чего и начался их какой-то там бытовой разговор.

Таким образом, одним из первых впечатлений дяди было – непривычное для россиянина дружелюбие американца.

Надо сказать, что и у меня в первые дни пребывания в Штатах было аналогичное впечатление.

Жена вошла в магазин, а я не захотел входить и ждал её на улице. Рядом была какая-то забегаловка со столиками на тротуаре; в метре от меня, за ближайшим столиком, сидел грубоватого вида мужчина, явно необразованный, и ел свой ланч. А в первые дни мне было всё любопытно на улице, и тут я любознательно уставился на содержимое его тарелки с разными ингредиентами. Едок поймал мой взгляд, и с неожиданной на его грубоватом лице доброй улыбкой сказал мне:

– I can order for you too.

(– Я могу заказать и тебе тоже).

Т. е. он принял меня за бомжа (а в Штатах по одежде бомжи зачастую не очень-то отличаются от большинства остальных граждан) – и вот рещил накормить меня. Причём его предложение было сделано без всякой рисовки или подчеркивания широты своей природы, а просто как естественная реакция нормального человека на возникшую нужду другого человека. И, судя по его внешности и забегаловке, в которой он ел, он был явно человеком невысокого достатка.

Надо ли говорить, что для меня – «совка» – такая лёгкость и ненавязчивость человеческой щедрости на улице большого города выглядела необычной.

...В Союзе считалось, что бич капитализма – безработица, а при социализме её нет; хотя в скрытом виде она была и при социализме. На это дядя как-то рассказал:

– Во-первых, после потери работы человек в течение года получает пособие по безработице, достаточное, чтобы иметь крышу над головой и не быть голодным. Во-вторых, государство помогает ему трудоустроиться... Моим соседом по дому был безработный инженер. Так вот, государство оплатило ему

учёбу на бухгалтерских курсах, и специальное агентство нашло ему работу. Но ему не понравилось, что туда далеко ездить, – и он отказался. А агентство обязано трижды предложить работу...

Для нас, зомбированных советской пропагандой, такая информация была откровением.

В общем, дядя фактически был для нас чем-то вроде нашего семейного «Голоса Америки». Нет, он был более убедителен, чем «Голос Америки», – ведь это был голос близкого нам человека, да ещё и очевидца!

...А как-то на одном из одесских пляжей дядя вскинул руку, указывая на живописное побережье, – и сказал:

– Пустили бы сюда капиталистов, – они бы с удовольствием настроили тут многоэтажные санатории! И от туристов отбоя не было бы!

– Но при наших зарплатах, – скептически сказал я, – эти санатории были бы нам не по карману!

Дядя хотел что-то возразить мне, но благоразумно промолчал. И в его глазах я прочёл: «Жили бы вы при капитализме, – у вас и зарплаты были бы не такие нищенские...». Но, конечно же, он, – коммунист, офицер ГРУ, – не мог позволить себе произнести такое вслух.

Чехословакия.

– Так что, вы теперь совсем отошли от работы разведчика?

– Нет, кроме преподавания, я получаю ещё и разовые задания. Вот, например, мне было поручено составить справку о политической ситуации в Чехословакии. В этой справке я пришёл к выводу, что их генсек Александр Дубчек подрывает стабильность социализма в стране; а через несколько месяцев мой прогноз полностью подтвердился. И моя справка сыграла свою роль в решение ввести в Чехословакию войска Варшавского договора. А потом я был вызван высшим руководством, – Дядимилик не уточнил, каким высшим руководством: то ли ГРУ, то ли СССР – и получил благодарность за хорошую работу... – дядя самодовольно улыбнулся.

Этот факт о косвенном влиянии дяди на вторжение в Чехословакию в 1968 году лёг как бы тёмным пятном на моё отношение к нему. Ведь к тому времени я уже вполне сформировался как антисоветский стихотворец, «пишущий в стол» (*«богу Марксу я молился / верил в Ленина-Христа / жить счастливо научился / как в г... живет глиста»* («Я»); *«да здравствует КПСС / советский вариант СС!»* («Четверостишия 80-х»)⁶ и др.

Тогда в очередной раз я сделал для себя вывод: да, при всём своём интеллекте и всей своей симпатичности, Дядимилик всё-таки остаётся коммунистом! И мне не стоит забывать об этом и идеализировать его.

Генералы. Однажды я задал ему как бы провокационный вопрос:

– В нашей стране столько бардака; только у вас, военных, – порядок. Может быть, именно такая, военная организация государства – наилучшая?

Дядимилик ответил мгновенно, – поскольку он явно и сам задавал себе такой вопрос.

– Нет, ни в коем случае! – ответил он. – Мне приходилось сталкиваться иногда с тупоголовыми генералами. И представляешь: все их подчинённые вынуждены выполнять их тупые приказы!

Дядимилик горько усмехнулся.

– И знаешь, пришлось мне как-то побывать на приёме у ещё одной разновидности генерала. Представь себе: он всё время кланялся мне, имеющему более низкое звание, – да ещё и униженно улыбался! Дело в том, что он много лет служил адъютантом у маршала, ну и привык кланяться и улыбаться. А маршал, в знак благодарности за преданность, сделал его, в конце концов, генералом, – но лакейская его натура такой и осталась.

Так что дядя хоть и был в общем-то коммунистом, – но отнюдь не ортодоксальным.

Молотковы. После возвращения Дядимилика в Союз к нам на дачу стала постоянно приезжать с ним некая симпатичная, спортивная Настя Молоткова, лет 35-ти (а ему тогда было лет 42), с дочкой Таней, лет 14-ти. Вскоре мы узнали, что Настя преподаёт английский язык в известном Институте имени Патриса Лумумбы, а в недавнем прошлом работала в советском посольстве в Штатах; тогда и познакомилась с Дядимиликом.

При каких обстоятельствах они познакомились, они нам не говорили. Приходилось домысливать: по-видимому, легальный разведчик Анастасия Молоткова осуществляла связь между нелегальным разведчиком Эмилем Маком и резидентом ГРУ – тоже легальным разведчиком, официально работавшим в посольстве.

Была ли у Насти и Дядимилика в Штатах любовная связь, мы не знали. Но теперь в Москве, да и летом в Одессе было ясно, что они – любовники.

Настя жила сейчас в Москве, а её муж Алексей – да, она была замужем! – в одной из африканских стран, в качестве консула. Они не разводились, и в консульстве, очевидно, у него была любовница – а брак сохранялся, наверно, лишь для видимости. Конечно, на такой работе, как у них (она – в



ГРУ, а он – в МИДе) их начальству всё известно; но в данном случае начальство, видимо, не имело возражений против подобного расклада. Наоборот, любовные связи «на глазах у начальства» лишь облегчали задачу держать свои кадры «под колпаком».

Любопытно, что иногда Алексей, муж Насти, тоже приезжал на некоторое время к нам на дачу. И все трое – Настя, Алексей и Дядимилик – скучно симулировали, что Молотковы живут в обычном, нормальном браке.

Такой «треугольник», насколько помню, продолжался долго – наверно, лет пятнадцать.

В то время сексуальная революция XX-ого века, начавшаяся в Западной Европе, успешно захлестывала уже и Союз, – и данный «треугольник» был одним из примеров этой революции. Умная и образованная, спортивная и предприимчивая, Настя была современной свободной женщиной, – так что ничего удивительного не было в том, что и со мной, который был лет на десять младше её, она иногда без стыда заигрывала; а однажды как бы в шутку сказала Дядимилику, – но так, чтобы и я слышал:

– Эдвиг хороший парень, давай и его положим в нашу постель...

А что касается коммунистической ортодоксальности или неортодоксальности Насти, то как-то она при мне лягнула такое:

– Ну какой же нормальный человек будет слушать по радио ТАСС, лучше слушать Ассошпэйтед Пресс!

И Дядимилик, посмотрев ей в глаза, осуждающе покрутил головой, – мол: не трепись! И на мгновение скосил глаза в мою сторону, – думая, что я не вижу. Ясно было, что при всех своих откровенничаньях со мной, он не исключал, что и я могу быть сексотом.

В то же время критика Настей ТАСС стала для меня красноречивым доказательством того, что даже эти, идейные коммунисты, привилегированные солдаты тайного фронта, – тем не менее, невысокого мнения, в частности, о главном советском информационном рупоре.

Дипломатическая «Волга». Для номенклатурных работников существовала привилегия покупки новой «Волги», – кажется, раз то ли в три, то ли в пять лет. В связи с этими правилами, Алексею Молоткову подошло время сменить свою старую «Волгу» на новую. По понятиям советского рынка подержанных машин, которые бывали на ходу десятилетиями, «Волга» Алексея была почти новой, – и мой папа решил купить её.

В отличие от многих других владельцев «Волг», советский консул Алексей Молотков в деньгах не нуждался – и менял машину на новую с одной лишь целью: чтобы не иметь мороки с ремонтами. Поэтому он продал её моему папе, своему знакомому, по бросовой цене, – намного дешевле, чем была её реальная стоимость на рынке. А так как для рядовых граждан новые «Волги» вообще не продавались, то, сев за руль такой машины, папа как бы и сам приобрелся к номенклатуре; ведь по внешнему виду возраст «Волги», – а значит и принадлежность её к подержанным, – нельзя было определить.

Алексей почти всё время был за границей и долго не находил времени для оформления продажи машины. Поэтому несколько лет папа ездил на «Волге» по доверенности. И тут обнаружилось ещё одно достоинство этой машины.

Все гаишники в Союзе были хапугами-взяточниками. Причём, придирались они прежде всего к владельцам «Москвичей», «Запорожцев» и «Жигулей», – а с номенклатурными автомобилистами предпочитали не иметь дела. Но даже когда гаишник всё же останавливал моего папу на «Волге», то видел по предъявленным документам, что машина принадлежит не просто номенклатуристу, а дипломату, – представителю так сказать высшего слоя номенклатуры. И тут уж гаишник униженно извинялся, что остановил, – и папа спокойно ехал дальше.

В смысле взаимоотношений с гаишниками эти несколько лет оказались для папы самыми спокойными.

Несостоявшаяся протекция. В послесталинском Союзе, чтобы поступить в какой-либо из привилегированных московских вузов, а потом ещё и делать карьеру, связанную с работой за рубежом, – нужны были связи в верхах. Судя по специфической работе Алексея и Насти Молотковых, у них такие связи были, – но конкретно я об этом ничего не знал.

Но вот о двух их связях, причём в литературных кругах, я знал: поскольку я был литератором, то Настя неоднократно рассказывала мне об этих связях, как бы предлагая и меня тоже ввести туда. Это были, ни мало ни много – два классика советской литературы: Александр Фадеев и Мариэтта Шагинян.

Собственно, о родственной связи Насти с Фадеевым я узнал, видимо, уже после самоубийства его, 55-летнего, 13 мая 1956 года (через три недели после антисталинского XX съезда КПСС). От Насти я узнал то, что потом стало общеизвестным: Фадеев застрелен не столько от алкоголизма, как об этом было объявлено, сколько от угрызений совести:

– В эти недели после съезда он, как всегда пьяный, ходил по посёлку писателей, показывая всем свои руки, – рассказывала Настя. – И кричал: «Смотрите, смотрите – у меня руки в крови!». Ведь он неоднократно подписывал документы, приводившие к расстрелам писателей...

А вообще мне смутно помнится, что девичья фамилия Насти была Фадеева. И, кажется, она была его племянницей.

Что же касается Шагинян, то она была не родственницей, а давним другом родителей Насти, – и Настя неоднократно говорила мне, что хочет познакомить меня с ней. А умерла 94-летняя Шагинян в 1982 году, через 26 лет после смерти Фадеева.

Шагинян занимала какой-то там пост в журнале «Советский Союз»: то ли члена редколлегии, то ли заместителя главного редактора. И с её помощью Настя намеревалась устроить меня туда на работу.

Причём там речь не шла о том, что я армянин и Шагинян армянка и поэтому она окажет мне протекцию как соотечественнику, – речь шла лишь о том, что она друг родителей Насти. А о том, хватит ли у меня способностей для работы в таком журнале вопрос тоже не стоял, – поскольку у меня уже были серьёзные публикации в центральной печати, куда подавляющему большинству провинциальных литераторов путь был заказан.⁷

С Настей я общался в общем не так уж много, – и ясно было, что её желание способствовать моей литературной карьере подогревалось Дядимиликом, который был весьма высокого мнения о моих талантах. И так же, как бабушка Моника помогла когда-то ему «прорваться» в Москву, – он, видимо, считал теперь своим долгом помочь и мне «прорваться» туда.

Журнал «Советский Союз» был советским аналогом журнала «Америка». Такого же формата и такой же претенциозный: с цветными иллюстрациями и на дорогой бумаге.

Работа в этом журнале сулила мне интервью, а значит и знакомства с советскими сановниками; изобилие командировок по стране и за рубеж (т. е. я стал бы выездным); прописку, а потом и квартиру в Москве; и вообще богатые карьерные перспективы столичного журналиста-писателя. Но было во всём этом одно «но»: надо было вступить в партию.

И дело было не только в «членстве». «Советский Союз» был одним из главных пропагандистских рупоров советизма, – и, работая в нём, я должен был бы неизбежно переродиться в такого же, как *они*. А подобного перерождения я последовательно избегал всю жизнь.

Конечно, соблазнительно было бы попасть в касту ведущих журналистов одной из двух сверхдержав мира. Но не такой ценой, – такую цену я не готов был платить!

Я, естественно, не говорил всего этого Насте, а также и Дядимилику, который был в курсе её планов насчёт моей карьеры. И вполне в соответствии со своей стихотворной строчкой – «Я шпион среди них», – я каждый раз говорил Насте:

– Да, спасибо. Это было бы прекрасно – познакомиться с Шагинян, обязательно надо будет пойти к ней. И было бы отлично устроиться на работу в журнал «Советский Союз»...

Но всегда, когда я приезжал в Москву, – как правило, лишь на несколько дней – у меня была куча запланированных дел. И просто не оставалось времени на то, чтобы договориться с Настей о посещении старушки Шагинян.

Так я и не использовал тогда этот шанс – шанс не только личного знакомства с советским классиком, но и карьеры в престижном журнале.

Фрейлина.⁸ Несколько раз с Дядимиликом к нам на дачу приезжала пожилая женщина, лет на пятнадцать старше его. Она говорила мало, – но во всём, что она говорила, и во всём её поведении чувствовался какой-то особенный аристократизм.

– Кто это? – спросил я.

– Серафима Алексеевна, очень интересный человек, – ответил Дядимилик. – Ты знаешь, кто сейчас официально глава государства Австралия? До сих пор – английская королева! И в Австралии постоянно жила английская принцесса, сестра королевы, с семьёй. А Серафима с юности была другом этой принцессы, а в действительности была нашим тайным агентом, засланным туда из Союза. В общем, почти всю свою жизнь Серафима прожила в Австралии; даже официально стала там фрейлиной. Но вот принцесса умерла, да и Серафима постарела уже. И тогда её вернули на Родину... Сейчас она пенсионерка, живёт в Москве. Но ты знаешь, психологически ей очень тяжело, – ведь фактически она стала уже английской аристократкой. Да и принцессе, свою умершую подругу, она искренне любила... Представляешь: из английской аристократки – и вдруг превратиться в московскую пенсионерку, хотя и в хорошей квартире и с хорошей пенсией...



С самой молчаливой Серафимой Алексеевной никаких разговоров я не помню, – были лишь обычные реплики вежливости: доброе утро, пожалуйста, спасибо – и т.п. Но после объяснения Дядимилика я всё время присматривался к этой аристократической старушке, и в моём воображении возникали возможные картины её жизни в качестве фрейлины. Это было поразительно сознавать, что вот на нашей скромной дачке, среди нас, «простых советских людей», – живет английская фрейлина... то бишь заслуженная советская шпионка.

Заграничные вещи. Общеизвестно, что самые идейные советские коммунисты были в то же время и привилегированной кастой выездных, – причём, несмотря на свой громогласный патриотизм, они всегда не прочь были прибарахлиться за рубежом. И советские разведчики не были в этом исключением.

Кое-какое заграничное барахло – костюмы, футболки, обувь и др. – Дядимилик привёз с собой из своей тайной миссии. А потом разные вещи привозили ему по его просьбе друзья-секретчики, прежде всего Настя Молоткова.

Помню, у него, одного из первых в стране, была беспроводная электробритва – с подзарядным устройством от квартирной электросети. Её можно было брать с собой в командировку, в том числе и в места, где неоткуда подзарядить, – а таких мест в Союзе было много. Беспроводная электробритва воспринималась тогда как чудо техники.

Все радиоприёмники советского производства конструировались так, что они не могли принимать те короткие волны, на которых вещало большинство зарубежных станций, – чтобы «уберечь советских людей от лживой западной пропаганды». И вот, по просьбе Дядимилика, кто-то привёз ему портативный зарубежный приёмничек с полным набором этих дефицитных коротких волн.

Для тренировки своего английского, Дядимилик слушал зарубежные голоса на английском и читал книги на английском, – причём книги, изданные *у них*, а не *у нас* (а у нас достаточно всегда издавалось и на английском, – как правило, в пропагандистских целях). Эти заграничные книги ему тоже привозили его друзья-секретчики. Причём, Дядимилик читал их не только ради английского, но и ради не прошедшего советскую цензуру содержания; другим советским выездным такие книги не удалось бы провезти через советскую таможду, – а такую как Настя, с дипломатическим паспортом, видно, не шмонали.

...И ещё мне запечатлелось, как Тане, дочке Насти, понадобились для выпускного вечера в школе новые туфли. А девочка, хоть и окончила школу с золотой медалью, но была избалована как заграничными поездками, так и соответствующим уровнем жизни внутри Союза. И вот она по-своему возмутилась – это как раз происходило при мне:

– Неужели я должна быть на выпускном вечере в *наших* туфлях!

А *наша* обувь действительно была тогда образцом безвкусицы и неудобства.

И мамочка с папочкой, – который работал, как я уже говорил, консулом в одной из африканских стран, – организовали дочке поездку к папочке с пересадкой в Париже. Чтобы дочка могла в Париже купить себе туфли! Причём сам Париж был ей не очень-то интересен, так как она уже неоднократно бывала в нём проездом с родителями.

Данный эпизод наглядно проиллюстрировал мне ту социальную бездну, которая разверзлась между кастой, в которой находился Дядимилик, и «простыми советскими людьми», к которым относился я и все мои друзья и родственники, – кроме, разумеется, Дядимилика.

Надо сказать, что перед этим я претендовал было на вакансию корректора, с мизерной корректорской зарплатой, в армейской газете советских войск в Венгрии. И получил отказ Одесского областного военкомата, – так я практически впервые узнал о своей «невъездности».

А тут даже и не работник, а лишь дочка работника! И, пожалуйста тебе: едет в Париж – только для того, чтобы купить себе туфли!

Сейчас мне 78 лет, – и мне пока так и не пришлось побывать в Париже, одном из самых интересных городов нашей современной цивилизации.

Спасительное родство. Однажды я воспользовался родством с Дядимиликом в корыстных целях. А дело было так.

Мне стало известно, что зав. научной редакцией, в которой я работал – он тоже, как и Дядимилик, был полковником в отставке – пошёл с политическим доносом на меня в наш, одесский областной КГБ. Но это были уже «вегетарианские» 80-е годы, – и там ему сказали, что нужны не догадки, а факты. Так, во всяком случае, мне об этом рассказывали.

И вот, опасаясь дальнейшей активизации провокаций с его стороны, я как бы невзначай сказал ему:

– Вы знаете, мой дядя тоже полковник в отставке, – для большей весомости последующих моих слов я сделала тут паузу, а потом продолжил: – Он живёт в Москве. И работает в ГРУ.

А у советских коммунистов, особенно в эпоху «развитого социализма», было так: идейность идейностью, – но личные связи важнее. Зав. понимал: хоть он и сам полковник, но лишь провинциального уровня – и конфликтовать со столичным полковником, да ещё и из самого ГРУ, ему не по зубам. В общем, мой намёк зав. понял – и, насколько мне известно, больше не капал на меня в КГБ.

Мне часто приходилось так изворачиваться, и этот эпизод был одним из многих подобных.

Операция «В» в МГУ. Я как раз находился в очередной раз в Москве. Окончив школу, Таня Молоткова поступила на филфак МГУ, – самого престижного вуза страны, в который такие как я, даже не пытались поступать. А у Тани, казалось бы, были все шансы поступить: во-первых, золотая медаль, благодаря которой надо было сдавать лишь два экзамена – сочинение и русский устный, – вместо, кажется, пяти; во-вторых, её папа был советским консулом в одной из африканских стран, а мама – бывшим работником советского посольства в Штатах (хотя, скорее, именно это во-первых, а золотая медаль – во вторых).

Мама, Настя Молоткова, лучше меня, а тем более, лучше своей дочери Тани знала истинные пружины «конкурсных экзаменов» в вузы, – поэтому сразу же предупредила Таню:

– Сочинение попросим написать Эдвиг, он ведь журналист и преподаватель, а ты только перепишешь.

– Но я ведь и сама писала на пятерки... – пыталась возражать Таня.

– Я же тебе объясняла уже, – говорила мама Настя, – что это – конкурс генералов!

Имелось в виду, что в данном случае почти все родители медалистов – московские сановники: генералы, министры, дипломаты, академики и т. п.

Я сразу же согласился на предназначавшуюся мне роль, эта авантюра просто-таки заинтриговала меня: с одной стороны, мне льстило выступить в роли эдакого специалиста по сочинениям, с другой, – хотелось как бы взять реванш за мои бывшие абитуриентские неудачи. К тому же я давно был неравнодушен к юной блондинке Тане, а также немножко – и к её спортивной маме Насте.

А план операции «В», – как называла её Таня, – был такой.

Устный экзамен – не проблема. Молодой преподаватель, лет 35-ти, принимавший этот экзамен, был «куплен» мамой Настей, – причём создавалось впечатление, что она «купила» его не только за деньги. Этот 35-летний, с лицом пройдохи, по глупости даже похвастался мне, как «отсеивает» негодных абитуриентов: у него было несколько специальных заготовок из научной филологической литературы, на которые, не заглянув в литературу, не ответил бы и академик.

Ну, а письменный экзамен был возложен на меня, – хотя я и не был «куплен» Настей, а привлекался просто как знакомый семьи.

Когда в аудитории начался экзамен, – на улице, возле этого здания МГУ, я и мама Настя сидели в их «Волге». Тот же «купленный» преподаватель контрабандно вынес нам тему сочинения, – и я, обложенный в машине учебниками и справочниками, часа за полтора накатал профессиональное журналистско-преподавательское сочинение. Настя, тоже по образованию филолог – специалист по английскому языку, – отыскивала для меня в литературе нужные места и была дополнительным, кроме меня, корректором сочинения. Так же контрабандно, тот же «купленный» преподаватель отнёс и как-то там передал написанное мной сочинение золотой медалистке Тане, – что она послушно и переписала своим почерком.

Через день-два стало известно: Таня получила за сочинение четвёрку. И хоть за устный экзамен у неё пятерка, поставленная тем, «купленным», – поступление в МГУ оказалось теперь под вопросом.

Не знаю, какие ещё там тайные пружины использовала мама Настя, с её высшими московскими связями, – но ещё через день-два пришла радостная весть: Таня всё-таки – и с четверкой – зачислена!

Я был, конечно, удовлетворён, но не полностью: как так – мне, журналисту и преподавателю, поставили за сочинение не пятёрку, а четвёрку! Больше того, сочинение консультировала и проверяла ещё один филолог с высшим образованием, а переписывала и опять-таки проверяла – золотая медалистка!

Ну, можно ли после всего этого всерьёз воспринимать разглагольствования о честности советских конкурсных экзаменов? Причём даже в этом – советском вузе №1!

Вряд ли в то сочинение проскочила хоть одна орфографическая или пунктуационная ошибка, – а на балл могли снизить, придравшись, например, к якобы «недостаточному раскрытию» какого-либо аспекта темы. Впрочем, и прямую ошибку мог «для засыпки» внести проверяющий экзаменатор; позже мне стали известны такие доказанные случаи.

Боже, каким же донкихотом я был, когда пятикратно поступал в вузы, теряя драгоценные годы юности! (Причем 3 раза не поступил и 2 раза поступил).



...Зато теперь, после всего этого, я иногда мог этак небрежно бросить при разговоре:

– А на филфак МГУ я написал сочинение на четвёрку.

Ведь всё-таки, несмотря ни на что, МГУ – солидная фирма.

Зарплата Дядимилика. Я понимал, что зарплата разведчика должна быть, наверно, в разы больше, чем зарплата моего отца, главного инженера СМУ, – но Дядимилик никогда не называл мне размер своей зарплаты. Однако кое-что он объяснил:

– Когда разведчик – на задании в зарубежной стране, все затраты оплачиваются ему отдельно; а зарплата целиком остаётся в Союзе. Каждый месяц определённый процент зарплаты переводится по почте семье, а остальное – на счёт разведчика в банке. На тот же счёт начисляются и всякого рода премии. К тому же моменту, когда разведчик возвращается с задания на Родину, у него там скапливается солидная сумма... Кстати, это дополнительный стимул, – кроме любви к Родине и к своей семье, – не стать предателем-невозвращенцем.

Зная о моих журналистских публикациях, Дядимилик не преминул сообщить мне, что он тоже регулярно печатается: в журнале разведки ГРУ, который, разумеется, – лишь «для служебного пользования».

– А о чём вы там пишете?

– Делюсь опытом агентурной работы.

– Под псевдонимом?

– Конечно.

– А гонорары за эти публикации вам платят?

– Да, там неплохие гонорары. Так что это получается ещё добавка к зарплате.

И тут я задал нескромный вопрос:

– Так у вас, наверно, уже хорошие деньги на счёте?

– Да, и мне на всю жизнь хватит, и моим детям останется.

...Надо сказать, что тут Дядимилик немного ошибся. На его жизнь денег действительно хватило – он умер в 1995 году; а вот у его детей-наследников почти все эти деньги «сожрал» дефолт 1998 года. Часть элиты бывшего Союза обокрала другую её часть, своих же.

«Наследил». Когда Дядимилик вышел на пенсию, то я, – не лишённый несколько романтического представления о его профессии, – задал ему вопрос:

– А вы не напишете книгу воспоминаний разведчика?

– О том, какой я оставил след в истории? – иронически спросил он.

– Да.

– Ну, а если я *не оставил след*, – а *наследил*? – сказал он. – Зачем это афишировать?

«Конечно, – решил я для себя. – Он же рассказывал мне лишь самое безобидное из своей жизни разведчика. И вполне возможно, что там были гораздо более неприглядные эпизоды, о которых ему действительно не хотелось бы никому рассказывать».

С возрастом я понял и другое. На завесу неизвестности обречено подавляющее большинство советских разведчиков – из-за неприглядности политической позиции суперагрессивного Союза, на который они работали, и вообще из-за того, что тёмные дела не любят освещения. Иначе говоря, Дядимилику власти просто не разрешили бы рассказывать в открытой печати о своей работе.

Так навсегда и запечатлелась мне тогдашняя позиция Дядимилика:

– Лучше не описывать то, как ты *наследил*...

Разумеется, у Дядимилика «за успехи на тайном фронте» имелись ордена и медали, – не помню уж, какие; помню лишь, что самых высших наград – звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина – у него не было... И, конечно же, имелись какие-то награды у «фрейлины» Серафимы Алексеевны; а может быть, – и у Насти Молотковой. Впрочем, о Насте не знаю: всё-таки она числилась не за Министерством обороны, как мой дядя и Серафима, а за Министерством иностранных дел.

...В 1995 году (в возрасте 76 лет) полковник Эмиль Мак умер в Москве, за его гробом шли пару генералов ГРУ в форме – его учеников, на поколение моложе его. Это было, конечно, почётно и трогательно, но я сразу же подумал: а не потому ли ученики обошли его в звании, что они – этнические русские, а он – еврейского происхождения? Советская власть – даже и тогда, когда использовала евреев на ответственных работах, – почти всегда обходила их в званиях и наградах.

Дядимилик был лично знаком с коллегами: с Рамоном Меркадером, Героем Советского Союза, «ликвидатором» Льва Троцкого; с Рудольфом Абелем, прототипом персонажа известного кинофильма «Мёртвый сезон» – и другими знаменитостями «тайного фронта». Хотя сам так и остался на всю жизнь в тени секретности.

Примечания:

¹ Все имена и фамилии в данном очерке изменены.

² Интернирование – «*в международном праве – принудительное задержание одним воюющим государством граждан другого воюющего государства*». – «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (компакт-диск на базе «Большого энциклопедического словаря», в 2-х томах. – М., «Большая российская энциклопедия», 1996), словарная статья «Интернирование».

³ См.: «Пепел Изидора стучит в моё сердце». – «Вечерняя Одесса», 11 июля 1988 (<http://edvig.narod.ru/pepel.jpg>).

⁴ См.: http://edvig.narod.ru/staroe-vino-stihi-v-stol.htm#_ftnref8.

⁵ См. также мой размышлизм «Пахан-резидент» – <http://edvig.narod.ru/razmyshlizmy.htm>.

⁶ См.: <http://www.поэма-ya.narod.ru/ya.htm>; <http://edvig.narod.ru/staroe-vino-stihi-v-stol.htm>.

⁷ См. об этом «Список публикаций» – <http://edvig.narod.ru/spisok-publikacij.htm>.

⁸ Фрейлина – «*в некоторых монархических государствах: звание состоящей при императрице (царице, королеве, принцессе) придворной дамы*». – «Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой», компакт-диск (в электронном сборнике «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»), словарная статья «Фрейлина».

⁹ О моих взглядах на еврейство – см.: «5-я графа» (<http://edvig.synnegoria.com/>), «Происхождение моих родителей» (<http://edvig.narod.ru/proishoghdenie-moih-roditelej.htm>) и др.

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

ДОНСКАЯ ВОЛНА У ОДЕССКОГО БЕРЕГА

Одесса и Ростов-на-Дону – родство по духу очевидно. Оба южных города своеобразны, славятся только им присущим колоритом, темпераментом, ароматом... Кому не известны одесский привоз и ростовский базар?! Вот куда надо идти, если доподлинно «город хочешь узнать», как поётся в одной песне! Там живая жизнь, вольная и настоящая.

Одессит и ростовчанин – братья, какой бы национальности не были. Они в любые времена деятельны, самодостаточны, легко разделяют вечное и сиюминутное. Посему и смотрят на мир житейски мудро, реально оценивая его и не отстраняясь при этом от высших смыслов. На такой почве, конечно же, произрастает талантливая литература.

Издаваемый с 1925 года легендарный ордена Дружбы народов литературно-художественный журнал «Дон», шолоховский, по сути, пребывает также и под сенью великого Чехова, чей Таганрог, равно как и Вёшенская, являются маяковыми знаками для редакции. Издание числится не только по факту ростовской регистрации, а является и общероссийским.

Отсюда самая широкая география авторов, как образно говорят на Дону, «принятых в казаки». К слову, в прошлом году литераторы из Одессы и близлежащих к ней мест публиковались на донских страницах в специальном выпуске «Одесса-на-Дону», который был благосклонно встречен читателями и прессой, размещён в электронной версии на портале «Читальный зал». Кстати, это не первый подобный выход одесситов в журнале «Дон».

Да и донские авторы ответно уже являлись гостями «Южного сияния» под рубрикой «Дружба журналов». На сей раз представляется творчество тех поэтов и прозаиков, чьи имена знакомы читателю как по публикациям в журнале «Дон», так и в других известных изданиях России.

Виктор Петров,
главный редактор журнала «Дон»

ДИАНА КАН

Новокуйбышевск, Самарская обл.

ЛЕТИ СКВОЗЬ КОЛЬЦО

Ты, кого я высотой окрыляла,
 Далью манила, дразнила, влекла...
 Ты, для кого я однажды упала
 В мир, где царил полночная мгла.

Ты, для кого я сквозь сумрак окрестный,
 В вечность сбежала строптивой водой,
 Не уловима тщетою телесной,
 Не побеждаема смутой мирской.

Ты, для кого я себя создала –
 Жгла, леденила, сводила с ума.
 Даже глагольной рифмою стала,
 А ведь была от рожденья нема!..

Ты, в небеса выводящий из комы
 Души несчастных собратьев моих,
 Вечно и всюду исконно искомый –
 Несокрушимый классический стих!

Блинный дух и дух былинный
 Поизветрились Постом...
 Раскалённая калина
 Кровянеет под окном.

Раскалилась, словно печка,
 Власть отведавшая дров.
 Бабка Настя теплит свечку,
 Взгляд серьёзен и суров.

Свежей сдобой тянет сладко.
 Скоро Пасха. По ночам
 Непоклонистая бабка
 Бьёт поклоны куличам.

На муку слегка подует.
 Бухнет масла дюжий ком.
 И колдует, и волхвует,
 И орудует пестом.

На пасхальной на неделе
 Не из нашей ли печи
 Куличи в трубу летели,
 Золотые куличи?

...С бабой Настею не спорьте,
Хоть она добра на вид.
«Масло печива не портит!» –
Баба Настя говорит.

Из печи кулич достанет.
Цыкнет: «Рученьки уйми!»
И, возрадуясь устами,
Опечалится очми.

Ах, как пахнут сладко-сладко
Золотые куличи...
Что ж печалуется бабка,
Пригорюнясь у печи?..

Почему она печальна,
Если с самого утра
Благолепно-величально
Льют елей колокола?..

Не с того ли, что былинный
Дом вот-вот пойдёт на слом?..
...Сгустки ягоды калины
Кровянеют под окном.

Караван-Сарайская – не райская!
Улочка горбата и крива.
Но цветут на ней сирени майские –
Так цветут, что кругом голова!

А неподалёку Растаковская
(Баба Настя так её звала) –
Улица с названьем Казаковская
Муравой-травой поросла.

Так живут – без лести, без испуга! –
Приговорены, обречены,
Улочки, что в центре Оренбурга
Детские досматривают сны.

Им не привыкать! Иль это снится мне:
Жили-выживали, кто как мог,
Хлопавшие ставнями-ресницами
На ветрах неласковых эпох?..

...Дерзости училась я у робких
Улочек, знакомых наизусть...
Железобетонные коробки
Выгесняют из России Русь.

Сторона моя обетованная –
Оренбуржье! Всё ты тут, как есть!
Дремлющая Азия саманная
И казачья яростная спесь.

Оренбургский хрен, ты не слаще самарской редьки,
Сколько липовым мёдом тебя и её ни сласти...
Разведусь я с поэтом, и уйду я в народ,
то бишь к дворнику Федьке...
Надо ж как-то свою одичалую душу спасти!

Буду двор с ним мести по утрам, собирать стеклотару,
Звать по имени-отчеству всех безымянных жильцов...
Один хрен Оренбург променяла на редьку-Самару
И в ломбард заложила венчалное чудо-кольцо.

Буду лестницы мыть и, быть может, однажды забуду
Малахольного мужа-поэта, что в мире продрог...
Ты катись-ка, кольцо, по пустому фамильному блюду.
Ты лети сквозь кольцо, оренбургский пуховый платок.

Ты прости,
Ты прости,
Ты прости меня, сирое сердце,
Что навек заблудилась однажды на грешной земле.
Коли счастья уже не догнать,
Так хотя бы согреться,
В остывающей мгле на чилижной летая метле.

Неужель ты дожил до седин
И не вспомнил ни о чём ни разу,
Милый мальчик Женька Чикильдин
С вечным синяком под левым глазом?

Помнится, я бешено тебя
Ревновала к белобрысой Ленке –
Вот уж где разлучница-змея
С пятнами зелёнки на коленке!

Только Ленке ты всю грубил,
Дёргая за жидкую косицу.
Лишь её одну портфелем бил...
Тоже мне, подумаешь, царь-птица!

Ни излом своих крутых бровей,
Ни души лирическую замять
Той любви возвышенной твоей
Не смогла я противопоставить.

И казалось – это на века...
Но уже, вальяжный, как сановник,
В пыльных палисадах городка
Наливался кровушкой терновник.

И покуда мы – то ох, то ах! –
Ревновали, плакали, любили,
Мальчиков в запаянных гробах
По Термезу ночью провозили.

И врывались в наш застойный плен –
Детский плен, с которым жаль расстаться –
Ветры эпохальных перемен –
Дикие угрюмые афганцы.

Городок обетованный,
Ты по-детски сладко спишь...
Волокнистые туманы
С городских стекают крыш.

На излёте долгой ночи
В первозданной тишине
Ты обиженно бормочешь,
Разметавшийся во сне.

И текут твои туманы
Разомлевшим молоком.
И неведомым обманом
Ты таинственно влеком.

Ветерок бездомный рыщет...
А вокруг – куда ни глянь! –
Всё глаза домов – глазищи,
Тьмою залитые всклянь.

Что ж, поспи ещё немножко!..
Время есть ещё вполне.
Не затепливай окошки –
Подрастёшь авось во сне.

Городок обетованный!
Пусть тебя на карте нет,
Здесь восходит несказанный
Победительный рассвет.

Вглубь подъездов, подворотен
Прячет лапы лунный страх.
В пустырях, где воздух плотен,
Вольный ветер не зачах.

Без ухода, без полива
Я – заложница эпох –
Здесь сумела стать счастливой,
Как во рву чертополох.

ВАЛЕНТИНА ЕРОФЕЕВА

Москва

ДЖО ДАССЕН

рассказ

Пел Джо Дассен.

– Великий карлик, – развернувшись к ней слегка со стула – она сидела справа и немного сзади, – сказал Меля.

– Почему карлик?! – изумилась она.

– Ну, конечно же, он высок ростом, но узкие хрупкие плечи – во-первых, и – весьма опосредованное отношение к Франции, во-вторых. Одесский еврей, попавший в Штаты и лишь затем проявившийся во Франции...

– Меля, сынок, ты ничего не путаешь? Да, родился он от одесских евреев, но всё же, кажется, уже в Канаде – не в Одессе? – вмешалась Ленка.

– Мама, я не путаю, да и не столь это важно. Главное – никакой он не француз. Но парадокс налицо: высшее выражение французской эстрады шестидесятых – он... Именно он – Джо Дассен. Как это удалось безголосому шансонье?! Оттого и великий... карлик...

«А может, это французы – карлики, если позволили одесскому еврею занять свой музыкальный Олимп?» – подумала Алька, но ничего не сказала, потому что вообще рассуждать на эту тему как-то сразу расхотелось: завораживающий дассеновский шёпот обволакивал – и утягивал, отводил ото всех проблем этих, наносных и надуманных сейчас, когда голос так блаженно и радостно купался в своём *l'amour*.

Она встала и подошла к двери – нужно было выйти в соседнюю комнату, к телефону, и заказать такси, но развернулась внезапно: к Елене, Костику, Емельяну – и ахнула. Живопись, да и только... Сюда бы сейчас хоть одного из двух Ленкиных любимых – художников: мужа её первого – отца Емельяна, или другого – большого, быть может, даже великого, по-настоящему великого русского художника, которого, пожалуй, и сама Ленка любила гораздо сильнее, чем отца Емельяна. Хотя где эта самая грань в любви: больше-меньше, сильнее-слабее, кто знает?

Но любила она его именно за первородность, неординарную настоящесть – за что и ценят обыкновенно мужчин женщины типа моей блистательной Ленки, подумала Алька с лёгкой нежной завистью к подруге. На стенах Ленкиного дома, большого, наследственного, висело немало картин её первого мужа. Они не были особо выдающимися, скорее, по ним определялся человек одарённый умеренно, с синицей в руке – не с журавлём. Потому и сохранились в таком изрядном количестве, хотя художник умер – и достаточно давно.

Но картины висели, и никто не торопился скупать их. А вот работы другого Ленкиного любимого, тоже уже отошедшего в мир иной (сегодня как раз пятая поминальная годовщина, потому они и здесь, за этим столом), – не сохранились, да и не могли сохраниться в Ленкином доме. Многие из них были скуплены, вырваны чуть ли не из рук сразу же после сотворения (ах, слово-то какое – *сотворение!* – изумилась Алька, отыскав именно его в своих размышлениях быстротечных), а оставшиеся – тоже не задерживались в доме. Уходили, утекали... То ли за границу, в Германию более (по созвучию души, что ли?), то ли здесь в России расхватывались мгновенно. Потому в печальном Ленкином доме после смерти второго мужа картин его – не осталось. О величине дарования ушедшего догадывались, конечно же, ещё при жизни, но говорить стали, хором, – после смерти. Впрочем, это общая норма бытия русского творческого – до гениальности – человека: слава догоняет – но чаще после смерти, не раньше...

Ленка – душа добрая, заботливая, все последние годы жизни с ним была более занята вытаскиванием мужа из алкогольных теней, сама периодически, за компанию, запутываясь в них. Только после его гибели – случайной и жуткой, и вовсе не связанной с этой бедою-болезнью, а скорее, со всё более и более возрастающей известностью его, – она очнулась, наконец, через несколько недель и с ужасом увидела, что пока балансировала между разумом и мутными провалами в нём, родственники: дальние, ближние, и вообще все, кто мог поспособствовать этому разбою, – ему и поспособствовали, растащив всё оставшееся – хотя и в весьма скудном количестве – из его работ из дома, да и из мастерской...

И вот сегодня – в день поминовения, в день пятой годовщины ухода его – они и собрались здесь в полном составе. Те, кто был почти кровно связан с ним: Емельян – не сын его, но ребёнок, с малого воз-

раста к нему приросший; Елена – жена и муза последних лет, блиставшая несравненной красотой своей со многих, теперь уже неизвестно где находившихся его полотен; и Константин – единственная родная кровь – внук от дочери первого брака. Костик был несказанно юн, и в свои двадцать выглядел уменьким, красивым, аксельрированно вытянувшимся тонко-звонким подростком. Ленка любила его как родного и затевала ежегодный день поминовения ещё и для того, чтобы увидеть лишний раз похожего на деда как две капли воды сына чужой, в общем-то, женщины, с которой они так и не смогли сблизиться за эти годы ни под каким предлогом. А ведь причин для этого было множество. Зато Костик с Емельяном смотрелись сейчас здесь за столом братьями. «Странно... – подумала Алька, единственно посторонний здесь человек, знавшая лишь первого, а не второго мужа Елены, но ставшая в последние годы столь близкой и необходимой ей, что вот сподобилась быть приглашённой в такой день в столь тесный, родственник круг лиц. – Странно, как похожи они – эти два юных создания...».

Да, они были действительно похожи друг на друга – как братья, – несмотря на разницу в возрасте, умственном потенциале и, главное, несмотря на отсутствие кровного родства. Костик звёзд с неба не хватал: природа, скорее всего, отдыхала на нём, наделив его проникновенной душевной красотой – и полным отсутствием каких бы то ни было талантов. Зато на Емельяне – отыгралась за недостаток внимания к его отцу, отметив сразу таким количеством и качеством разнообразных дарований, что Ленка, всматриваясь в него с любовным материнским сиянием, часто, может быть даже слишком часто, повторяла с восхищённым придыханием: «Сыночек ты мой!..».

Вот эту живописную троицу объединённых общей любовью, дорогих друг другу людей увидела сейчас, обернувшись у дверей, Алька. «Художника бы сюда, чтобы диво это отобразить, – вздохнула она. – Хотя бы одного... из двух, живших в этом доме...».

Застолье длилось уже четвёртый час... Да и какое там застолье – обыденный, приземлённый смысл его здесь не срабатывал... Дом, в котором десятилетиями звучали стихи и пелись песни, свои и чужие, дом, в котором жило, не умирая, искусство, – никого не хотел так быстро отпускать, никаких гостей своих, случайных ли, полуродственных, всё равно... Ах, как любила сейчас Алька этот дом, как жалела, что не одарённая никакими, ну совершенно никакими талантами, не владеющая ни одним видом искусства – вечного золотого искусства (*du goldte Kunst* – преклоняются перед ним даже неромантические немцы), – она так никогда и не сумеет остановить мгновенья. Того самого, которое прекрасно, но – неостановимо... Только искусству, «золотому искусству», и то лишь изредка, далеко не всегда, удаётся свершить этот подвиг: остановить, зафиксировать...

А Джо Дассен пел, растворяясь в простоте и одновременной сложности вечной неутолённой страсти своей – не страсти, нет, скорее, беспредельно-безграничной нежности... И, забыв на время о живописной триаде сидящих за столом дорогих ей людей, она вдруг закрыла глаза и, откачнувшись слегка назад, провалилась в головокружение ритма – сладостного ритма музыки и льнущих к ней неизменно чувственных вибраций голоса «великого карлика».

И голос этот стал мягко раскачивать угловое усталое судёнышко её. Так мать укачивает буйного, накричавшегося младенца своего – вибрациями рая... И ей стало понятно вдруг, отчего Джо Дассен не задержался на этом свете долго – так долго, как умеют это делать другие... Ему тяжёлы были, неподъёмны попросту эти вечные переходы из рая – в обыденность, из обыденности – в рай. Он надорвался в мимикрии, в подстраивании под жизнь, в пристраивании к ней. И не захотел больше – устал...

И как она понимала его сейчас, плывя по этой вот – его – музыке... И она тоже вдруг расхотела жить вслед за ним – устала: не желала больше тянуть эту лямку любви-нелюбви, навязанную ей невольно человеком, ставшим близким и дорогим в эти последние годы, человеком, занявшим огромное место в её диковато-одиноким столичной жизни... Вчера произошло их последнее – самое обнажённое по накалу объяснение, расставившее, наконец, все точки над i... И она переживала его сейчас – переживала эту боль заново. И боль эта некоей тягостной мазохистской сладостью вливалась в дассеновский рай, наполняясь в нём новыми красками, оттенками чужих чувствований, чужих страданий и томительно-страстно насыщаясь ими.

Кто-то коснулся руки её... Она с трудом приподняла веки и, никак не желая возвращаться из омута райских вибраций, переплетённых с очищающей решимостью своей, медленно, почти вслепую ещё, но на каком-то смутном уровне подсознания расшифровав прикосновение, протянула руки навстречу коснувшемуся – и волны иного мира, созвучные в эти секунды её, уже сдвоенным, троекратно усиленным наложением друг на друга, долгожданным внутренним всплеском рванулись в ней. И мгновенно впад в эту нежную струящуюся чуткость, она подалась к ней и – отдалась ей... И её обвило, обняло, потянуло

властно и уверенно... но – это был не Дассен. Это было нечто иное, нарушавшее первоначальную гармонию её с «великим карликом». И отчего-то очень не понравившееся ей. Не понравившееся не потому, что иная гармония, к которой её приглашали, настойчиво подталкивая, была хуже. Нет, вовсе нет. Не понравившееся потому, что всё же это была гармония разрушения, диссонанса с уже созданным – сдвоенным – новым её миром. А это был мир страсти, нежной, осторожной, но – страсти. И внедряться в него, пытаться разрушить, присвоить, – занятие опасное, губительное не столько для самого этого мира, сколько для того храбреца, который посягнёт на это, какими бы благими намерениями ни был оправдан такой шаг.

И ей стало жалко Мелечку – а это был, конечно же, он. Жалко в его торопливо неуместной сейчас, в эти секунды, самоуверенности. Она знала его иным. Ленка, милая её Ленка, несколько лет назад приютившая её, покинувшую один из отделившихся обломков полуразвалившейся империи (не южный даже, а один из северо-западных, особенно зло и яростно отвергавший и сдравивший с себя бывшее имперское величие, сдравивший лишь оттого, что величие это не его, а русское, чуждое, видимо, генетически, из века в век, – и никуда уже от этой зависимости генетической не спастись, не деться), поселила её у себя. Поселила надолго. Ровно настолько, чтобы ей, Альке, успеть выяснить все имущественные и иные отношения с мужем, теперь уже бывшим, – яростным патриотом оставаемого имперского обломка. Вернее, не обломка уже теперь, а нового, резво рвущегося в самостоятельность государства. Она, наверное, так и осталась бы там около него, своего милого доброго мужа, в сущности, неглупого и тактичного человека, к которому привязалась за долгие годы совместной жизни и которого – любила. Он был таким для неё до тех пор, пока не налетел этот смерч разлома и распада. В этом вихре на её глазах за кратчайший временной срок из творческой элиты его вознесло в верхние политические слои и вбросило чуть ли не в эпицентр обновленческого раскола. Она, не испытывая ни малейшего желания участвовать в этом безумном, всё отторгающем сюрреализме, уехала сначала на время – отдохнуть, набраться сил – либо на возвращение, но уже в новом смиренно-сознательном качестве, либо на расставание... Она выбрала второе, застряв у Ленки – столичной, университетской подружки своей – сначала на год, а потом – и ещё на полтора.

Имущество и всё остальное нажитое вместе были, наконец, поделены. Вернее, не поделены, а с лихвой подарены в большей части своей: муж тоже был привязан к ней и долго ждал, когда она одумается, оттого и оттягивал сроки окончательного развода и раздела. Вскоре она купила на подаренную им сумму домик – небольшой загородный домик. Он мог быть и побольше, этот домик, если бы не провальная разница цен на жильё в минигосударстве, которое она покидала, и в самой столице бывшей империи...

День переезда в собственный дом – уже почти два года тому назад, ах, как быстро летит время! – запомнился ей событием весьма необычным...

Елена была в отъезде. Бархатный сезон она обыкновенно проводила на море, с добрым своим другом-приятелем. Ждать её возвращения не имело смысла – нужно было устраиваться до осенней слякоти на новом загородном месте. И они договорились с Мелечкой дежурить в Ленкином одиноком доме по очереди через каждые три дня: московские квартиры нельзя было оставлять без присмотра, хотя бы видимость проживания в них гарантировала большую их неприкосновенность: грабили вроде тогда реже.

День отъезда совпал с днём рождения Емельяна. Вернее, день его рождения был накануне. И Алька, поздравив его утром по телефону, никак не ожидала ещё и этого заполуночного явления.

Она уже проваливалась в сон за цветаевскими яростными письмами: только что выпешедший юбилейный двухтомник их вместе с толстенным «Избранным» и ЖЗЛ-овским исследованием ночевали в её необъятной постели уже несколько месяцев. Она даже пошутила как-то, что спит последнее время только с Цветаевой. «Надеюсь, вы не заменили ей Софию Парнок?» – иронично заметил Емельян...

Но сегодняшнего засыпания с Цветаевой не получалось – вмешался Рильке, тот самый Райнер Мария Рильке. «Как же так, я его не знаю совсем! – ужаснулась Алька, дойдя до писем Марины умирающему австрийскому поэту. – Надо завтра же поискать. У Ленки, скорее всего, есть». Да, у Елены и впрямь всё могло быть. От отца – известного литературного критика – осталась богатая библиотека, хотя и поделённая после его ухода на две равные части между Еленой и Емельяном, единственными его наследниками. «Отыскать завтра же и прочитать», – решила она, напроочь забыв, что ей будет уже не до чтения – завтра день отъезда. Рука уже сонно тянулась к выключателю, как вдруг странный звук заставил её насторожиться. В замочной скважине проворачивался нехотя и с великой пробуксовкой ключ. Определив источник звука, она тотчас и успокоилась: ключ – значит, кто-то свой. Мелечка?.. А может и сама непредсказуемая Ленка, которая могла перессориться с другом своим и примчаться досрочно, оторвавшись ото всех морей и океанов, невзирая на степень их приятности и отдалённости от дома...

Но вошёл Емельян – и не один. «Емельян – слегка пьян» – хотелось, выйдя в коридор, пошутить



Альке. Вторым – слегка пьяным – был друг и бывший одноклассник его – Лёничка. С гитарой... «Та-ак, ночь – кошечке под хвостик», – с неудовольствием проворчала Алька. Можно было не беспокоиться, что её услышат. Имитация почтительной осторожности Емельяну с Лёнкой удавалась с трудом. Холостяцкая вечеринка где-то, видимо, уже славно погудела.

Притвориться спящей и не выйти; или всё же выйти и хотя бы ещё раз, уже не по телефону, а живые, – поздравить с днём рождения?.. Совместное сидение за кухонным столом, пожалуй, сегодня исключается. И вовсе не потому, что завтра трудный день или ей непривычны такие вот ночные посиделки. Вовсе нет. Здесь, в доме у Ленки – вольного художника в душе, и она, по-северному сдержанная вначале, могла так же вольно и свободно расслабиться и даже слегка похулиганить, играя столь диковинную для неё роль непослушной девочки. Но сегодня, честно говоря, она слегка побаивалась Емельяна – именно сегодня, не понимая пока, отчего вместе со скрежетом ключа в замочной скважине к ней пришла и эта легкая боязливая оторопь. Она боялась мальчика, подумать только! – великовозрастного Ленкиного сына, которому исполнилось сегодня двадцать семь. Всего лишь двадцать семь! И именно сегодня, накануне ухода её от Ленки – ухода навсегда, в свой собственный дом.

Они старались, они очень старались проделывать всё бесшумно – тихо, совсем тихо... Они даже из кухни ушли, забились в дальнюю балконную комнату: у Ленки их было четыре; в одной из них, самой большой и устроенной почти как отдельная квартира – это и была когда-то отдельная квартира, во времена коммуналки, – Алька и жила сейчас. И мальчикам это удалось – она почти перестала слышать и треньканье гитары, и их слаженное негромкое пение. Емельян, как обычно, пел и свои собственные песни, и чужие, близкие ему, а Лёнька – подтягивал: Пат и Паташенок – вечные вторые роли, которые, тем не менее, доставляли ему – при Емельяне – явное удовольствие.

Проснулась она внезапно – от тревоги и странной глубокой тишины. Даже с улицы не доносилось ни звука. «Утомонились, наверное, добры молодцы, и спят», – подумала она. Но Лёнька, живший в соседнем подъезде, обычно здесь не ночевал. Как бы долго и бурно они ни засиживались, спать он всё равно стремился домой. Так что? – она просто не услышала, что ли, из глубокого сна Мелечкиных проводов загадочного друга: двери, грохота выпадающего лифта?.. Это как же нужно было осторожно – мышкой – пробраться мимо её комнаты и выскользнуть вон. А может быть, выскользнули оба? Емеля в таком состоянии часто оставался ночевать у Ленки, которая в воспитательных целях ворчливо отчитывала его, что опять перебрал, что завтра трудный день и рано на работу, и как же ему встать с больной головой, и как работать потом весь день. «Ма-а!.. – обнимал он её. – Ты у меня самая красивая, самая талантливая и самая мудрая матушка на свете. Не волнуйся, я взрослый давно... Встану утром, встряхнусь, аки конь ретивый, и в поле – на дозор... Соловья-разбойника не пропущу – клянусь!.. А это – главное...». Ленка улыбалась, счастливая и довольная, а он, забирая со стула гитару, удалялся в балконную комнату – спать.

Так-так, надо проверить дверь... Может, богатыри и закрыть её забыли?.. Она подняла сонную ещё голову с подушки и тотчас же её и опустила. Сквозь коридорный молочный, с лёгкой уличной подсветкой, полумрак проявилось нечто, заставившее её мгновенно и тревожно затихнуть.

Там кто-то был... Сквозь плотно закрытую дверь её, верхняя половина которой состояла из толстого армированного и слегка затемнённого стекла, – высвечивался силуэт. Но это был силуэт не стоящего, а сидящего в очень странной, почти роденовской – она высвечивалась даже сквозь затемнённость – позе человека. Спиною к ней, на мягком пуфике, прислонённом к двери, кто-то сидел...

«Мальчик мой! – пронзённая догадкой, восхитилась Алька. – Ты *так* прощаешься со мной... Ради этого ты затеял ночные посиделки... Чтобы проспиться хотя бы *так*... Роденовский мыслитель ты мой...».

Лишённая возможности иметь детей: муж как известный режиссёр был в вечном творческом экстазе, и дети помешали бы наполеоновским планам завоевания высот элитных театральных подмостков, впрочем, детей он всё же имел от первого брака, – она боялась привязаться к этому взрослому мальчику ещё и потому, что видела в нём скорее не сына, хотя и Ленкиного, что было бы вполне естественно, но видела взрослого, умного и весьма интересного мужчину. Не только интересного, но и талантливого. Талантливого с лихвой. В свои двадцать семь он имел уже вполне сложившееся творческое имя. Авторские песни его вышли двумя дисками и звучали, правда, больше на радио, которое всё реже и реже стали слушать очастливленные демократией граждане, но и телевидение вдруг в последнее время несколько раз интересовалось его песнями, среди которых была и серия духовных. И появились они – эти духовные песни – не на голом, хотя и конъюнктурном в последние годы месте, а родились после пребывания его в монастыре. Он провёл там почти два года. Там же получил и имя своё новое – Травник, Емельян Травник. Так стали называть его монахи, распознав в нём талант собирателя лечебных трав. «Откуда это

в нём?» – удивлялась Ленка. Ведь уже три родовых его колена жили в городе и только в городе – не в деревне. Не могла же быть такая глубинная память, недоумевала она, от прапрабабушки – травницы и ведуньи, жившей аж в середине девятнадцатого столетия?..

Мальчик ты мой, мальчик... что же ты сидишь там, за дверью стеклянную, спиной ко мне?.. Что плещется сейчас в твоей буйной головушке, какое море любви ли, а может просто приязни к человеку, к которому ты привык и который покидает завтра эту маленькую временную пристань, хозяином которой ты продолжаешь себя чувствовать, хотя и живёшь уже несколько лет в холостяцкой своей, небольшой, по сравнению с матушкиной, квартире?..

Что делать, дорогой мой, – выйти ли к тебе?.. В качестве кого?.. Тётушки, невольной родственницы почти, благодарной за твоё терпеливое прощальное сидение?.. Или в ином качестве предстать – скользяще неопределённым? Недаром однажды на одной из традиционных Ленкиных вечеринок – переполненных по обыкновению поэзией, музыкой и просто трепетом тончайшего русского слова, от которого в чистом виде его уже почти отвыкла Алька там у себя, на полужудо-прохладном северо-западе, – Емельян не выдержал и произнёс странную, весьма странную и показавшуюся ей горько-несправедливой фразу: «Вы боитесь жить!..». Мальчик позволил себе роскошь оценки чужой жизни, о которой почти ничего не знал, возмутилась про себя Алька. Но вслух отчего-то робко и неуверенно стала оправдываться, определяя себя как наблюдателя, но вовсе не активного участника этой вот, предположим, как минимум, вечеринки. «Мне нравится смотреть на вас, – сказала она тогда. – Нравится, как вы танцуете, поёте, читаете стихи, спорите, радуетесь. Но не надо вовлекать меня, насиловать участием... Для меня действие – и есть вштыгивание всего этого. Это и есть – жизнь, моя жизнь». – «Нет, нет, вы и на самом деле – боитесь жить!» – обиженным тоном, как будто она оправдывалась в чём-то ином, несущественном и постороннем, а вовсе не в том, в чём её упрекнули, возмутился Емельян – этот великовозрастный юнец, этот монашек несостоявшийся!.. На что он-то обижен так? На чужое непривычное ему наблюдательное бездействие? На чужую непохожую жизнь?..

И вот он опять побуждает её – к действию. Побуждает сидением своим прощальным перед дверьми. Что? – что она должна сделать?.. Выйти ли к нему, или притвориться мышкой серой, ничего не видящей, не слышащей, не желающей – спящей? Впрочем, притворяться спящей немудрено. Ведь она на самом деле вовсе не проснулась ещё, а спит и спит себе, вопреки сидению некоего прекрасного юноши перед дверьми. Вопреки любви ли его, простому ли плотскому желанию. А может быть и духовной некоей жажде о ней – вопреки...

И она бессовестно быстро, отключившись от этих сложных – не для ночи – размышлений, заснула. Крепко-крепко, сладко-сладко, будто убаюканная этим странно-прекрасным Ленкиным чадом. Мальчиком – юношей – мужчиной...

А Джо Дассен пел... Нет, в пении его не было воспалённости и раскалённости страсти. Это была лишь бесконечная нежность и бесконечное постоянство этой нежности в протяжённом пространстве любви. Неужели так бывает?! Ведь это так странно, так неправдоподобно странно, чтобы *так* было в живой любви. Остановленное мгновенье, даже прекрасное, гибнет. Только искусству позволительно экспериментировать над ним, мгновением. А жизни – нет! Но почему таким постоянством веет от этой французской мелодии? И куда из постоянства этого тянет её милый Ленкин мальчик, которого она не видела целую вечность – почти два года. Куда он тянет её из мира двоянной, строенной уже кажется гармонии – дассеновской мелодии и мелодии внутри них самих? И она воспротивилась этому насилью.

Активно воспротивилась, и плавно, но решительно выскользнув из крепких объятий высокого, красивого, бесконечно милого ей человека, вдруг слегка изогнулась сама, как бы поднырнув под наплывающую негу мелодии, и повела её одна, без партнёра, впрочем, как это без партнёра? – партнёром был он, «великий карлик». Сейчас она принадлежала ему и только ему, шла по изгибам только его скольжений и только его касаний... И сотворилось чудо: мальчик её, самоуверенный и сильный мальчик, вдруг понял всё. Понял тонко-тонко, глубоко-глубоко всю прозрачность её и затаённость – всё... в ней... понял... И не стал мешать... Он сам впал в их общую музыкальную реку, в их бездонное море – в их океан... И они поплыли по нему – этому океану – втроем. И в плаванье этом, с закрытыми, ничего не видящими глазами, но скользяще нежно и безошибочно, как зрячая, она касалась его плеч, груди, лица, пушистых густых волос, на мгновенье нежно и страстно смякая руки на высоком и далёком от неё затылке – вытягиваясь для этого в струночку перед ним. Он позволял ей всё – даже быстротечные всплески кончиками пальцев по его щекам. Он мал, растекался нежностью. И это апофеозное касание – лёгкое и быстростремительное, опять поднявшее её на цыпочки, – касание кончиком носа о его нос... Оно ошеломило их обоих и



показалось блаженством, не изведанным никем из них никогда, и они, плавно и в такт мелодии покачиваясь в своём строенном океанском движении, ещё раз – повторили его... Закрепили... Присвоили...

Она вела – он был вторым сегодня. Непривычно для него – вторым. И он принимал от неё всё, и позволял ей – всё...

«Вот так, милый мой мальчик, – плавилось в ней, – а ты упрекал меня в боязни жить... Нет, дорогой, я вовсе не боюсь. Я, может быть, слишком бережно – по капле – стягиваю все ощущения свои, не торопясь растратить, растратить их тотчас же, по первому желанию и хотению. Так истинный ценитель пьёт настоящее вино – впитывая его аромат и лишь затем смакуя на вкус. Ты отвык от этого, мальчик мой, в свой стремительный век, который тебе достался весь. А может быть, и не привыкал к этому, не случилось такого в твоей жизни, но интуитивно и бесконечно ты желаешь этого, жаждешь, – оттого и одинок до сих пор: нет около тебя этого неспешного вечного источника. В век жажды овладения всем – здесь и сейчас – источники такие не перевелись, но затаились глубоко и, быть может, надолго...

Мальчик мой, но всё равно ты, именно ты, спасашь меня сейчас. Спасашь от переполненности, перезагруженности скопленным, стянутым, нереализованным... Я задышалась, оказывается, от этого переизбытка, была на грани, на пределе. Ещё немного и пошла бы с этим грузом на дно, как с камнем на шее, – перегорела бы, превратилась в почерневшую бесчувственную головешку... Кто подарил мне сегодня тебя? Какие силы небесные соединили нас здесь, на этом бесценном вечере у твоей матушки?..

Смотри, танец наш заканчивается и я, счастливая, переполненная, но одновременно и опустошённая всеми этими оттенками эмоций, всеми дарами твоими, милый мой мальчик, и дарами французского «великого карлика», сажусь рядом с ней – рядом с твоей матушкой. Смотри, как наклоняюсь к ней, обнимаю её осторожно... Пристраиваюсь сбоку... Наши волосы смешиваются: её, соломенно-золотистые, – какие красивые волосы у твоей мамы! – и мои, темного, почти чёрного, неславянского – восточного, и откуда только? – оттенка. Мы сидим с ней приобнявшись и смотрим на тебя. И Ленка, милая моя Ленка, шепчет мне на ухо: «Какой страстный танец танцевали вы сейчас с Емелюшкой!..»

Что тебе ответить, дорогая моя?.. Что ответить!..»

АНАТОЛИЙ АВРУТИН

Минск

ГЛУБИННЫЙ ТОК

НОЧНЫЕ СТИХИ

Напрасно... Слова, как «антонов огонь»,
Сжигают души не сгоревшую малость.
Уже из ладони исчезла ладонь,
Что, вроде, пожизненно мне доставалась...
А следом поношенный плащик исчез,
Что вечно висел на крючке в коридоре.
Ни женских шагов, ни скрипучих завес,
И сами завесы отваяются вскоре...
Всё стихло... Лишь полночью схвачен этаж
За меркнувшей лампочки узкое горло.
И чувствуешь – всё, что кошилось, отдашь,
Чтоб только мгновения память не стёрла,
Когда в глубине потрясённых зрачков
Растрепанный облик спешит проявиться,
И сам ты в зрачках отразиться готов,
И платье вдоль ждущего тела струится...



Как всё это призрачно... Тени спешат
 Впечататься в бледную кожу обоев –
 Туда, где впечатан испуганный взгляд,
 Один на двоих... И предавший обоих...
 Причём здесь трагедия?! Горе уму...
 Здесь даже Шекспир разберётся не шибко.
 И тьма обращается в новую тьму,
 И щепками сделалась звучная скрипка.
 Её все вертели – опять и опять, –
 С осиною талией божью милость,
 Её разломали, пытаясь понять,
 Откуда же музыка в ней появилась?..
 Разломана скрипка... И взгляд оводвел...
 И надвое полночь в тиши раскололась.
 Всё в жизни предельно... Иду за предел...
 На тень от беззвучья... На голос, на голос...

Эта робкая сирость нищающих тихих берёз...
 Снова осень пришла... Всё опять удивительно просто –
 Если ветер с погоста печальные звуки донёс,
 Значит, кто-то ушёл в ноздреватое чрево погоста.

И собака дичится... И женщину лучше не трожь –
 Та похвалит соседку, потом обругает её же...
 И пошла по деревьям какая-то странная дрожь,
 И такая же дрожь не даёт успокоиться коже.

Только женские плачи всё чаще слышны ввечеру...
 Увлажнилось окно... И я знаю, не будет иначе –
 Если в стылую осень я вдруг упаду и умру,
 Мне достанутся тоже скорбящие женские плачи.

Постоишь у колодца... Почувствуешь – вот глубина!
 А потом напрямки зашагаешь походкой тяжёлой.
 Но успеешь услышать, как булькнет у самого дна
 Та ночная звезда, что недавно светила над школой.

Вслед холодная искра в зенит вознесётся, слепя
 Обитателей тёплых и похотью пахнувших спален...
 И звезду пожалеешь... И не пожалеешь себя...
 Да о чём сожалеть, если сам ты и хмур, и печален?

По раскисшей тропе, оступаясь, пройти
 И в конце зарыдать почему-то.
 Оттого ли, что прочие сбились с пути,
 Оттого ли, что в памяти люто...

Ну а следом, упав на жестокий песок,
 Пропускать сквозь тшедушное тело
 Тот глубинный, колючий, но сладостный ток,
 От которого высь закипела.



И когда все терзания вверх воспарят,
Все метания, стоны и плачи,
Ты оставишь себе только память и взгляд,
Чтобы взгляд этот память иначе.

Пусть замечется он, робок и одинок,
Чуть отметив, что дождик закапал,
Чтобы выхватить чёлку... И пальчики ног...
И одежду, упавшую на пол...

Только миг просветленья... А после – провал,
После – чёрная эта минута.
Будто брёл человек и куда-то пропал,
И забыли его почему-то...

Глухари токуют в глухомани...
Пробубнив до самого темна,
Глухариха вскрикнет... И обманет...
Потому, что женщина она.

И к ночи в притихшем перелеске,
Где ты, зачарованный, стоишь,
Только тишь да этот свет нерезкий...
Свет нерезкий... И ночная тишь...

Захлебнётся фонарь,
осторожная тенькнет синица,
Неподкупные звёзды
уйдут в непроглядный зенит.
И стрела полетит,
Чтоб назад уже не возвратиться...
А вослед ей вторая – сквозь время! –
Стрела полетит.

Будет вещий ворчун
ворожить среди сизого мрака,
Доставая уголья
худой пятернёй из костра.
И по-волчьи завост
молчавшая долго собака,
И утихшая боль
Вновь окажется так же остра.

Измождён и не сыт,
Будто воин, бредущий из плена,
Чахлый куст осторожно
уронит дрожащую тень
На ночных ходоков –
и у тех посинеют колена,
На горбатый плетень –
станет только горбате́й плетень.

Заалест восток...
 И слегка просветлевшие лица
 Обратят на него
 сильный сторож и жалкий ходок.
 И тому ходоку
 вадрут стрела меж лопаток вонзится,
 Ну а следом – вторая...
 И почва уйдёт из-под ног...

Сторож спятит с ума –
 жил приятель и вмиг его нету.
 Кто убил его в спину?..
 За что?.. За какие дела?..
 Как ему объяснить,
 что стрела обогнула планету –
 Это души пустеют,
 Планета всё так же кругла...

Всё эта тишь не кончится... Не всхлипнет
 Шальная птица в девственной тоске.
 Калитка не закрытая не скрипнет,
 Задвижкой не шаркнет по доске...

Всё эта ночь не кончится... Во мраке
 Обочины почти что не видать.
 Не слышно птиц... Давно молчат собаки...
 На всём – забвенья горькая печать.

А ты стоишь, затылком осязая
 Забора непоструганную суть...
 И тщится всё душа твоя босая
 Больной луной глаза ополоснуть...

Пока луну за тьмою тьма не скрыла,
 Пока ещё тревогу не унять,
 Пока ещё таинственная сила
 Тебе велит и плакать, и дышать...

Который день, который год,
 Труд не сочтя за труд,
 И в урожай, и в недород
 Их сумрачно ведут.

Штыками тени удлиня,
 Ведут, как на убой.
 Лениво чавкает земля
 От поступи больной.

Лениво падает лицом
 Один – в сплошную грязь.
 О нет, он не был подлецом,
 Но жизнь не задалась.



Лениво обойдёт конвой
Обочиной его.
Лишь ворон взмлет по кривой,
А больше – ничего...

И снова, унося в горбах
Свою Святую Русь,
Идут кандальники впотьмах
И шепчут: «Я вернусь...».

И снова падает другой
На этот грязный снег.
И год иной... И век иной,
Но тот же – человек.

Негромкий выстрел... Глохнет тишь
От поступи колонн.
Куда отсюда убежишь? –
Из плена да в полон.

Да и не думают бежать
Бредущие толпой.
Они и есть – Святая Рать,
Когда нагрянет бой.

Им просто выдадут штыхы,
Ружьё на восемь душ...
И станут звёзды высоки,
И враг бит к тому ж...

И, значит, тень свою влача,
Топтать им мёрзлый наст.
А орден с барского плеча
Страна конвойным даст...

Постою... Помолчу...
Постелю в головах полотенце,
Полувysохшей веткой
вокруг очерчу полукруг...
И услышу далёкий, тревожащий голос младенца,
И просыплются крошки
из влажных и вздрогнувших рук.

Как тревожно душе
среди этой тоски голубиной,
Как светло и печально
врастают в закат дерева!..
И калина-малина вновь стала калиной-малиной,
И седую травую
вновь стала седая трава.

Этот брезжущий свет...
 Эти листья в багровых накрапах,
 Эта тихая нежность,
 что тайно щекочет гортань...
 Этот чахлый птенец на подкрыльях своих косолапых,
 Что забился в кустарник
 и смотрит: «Попробуй, достань...».

Как пронзительно всё!
 Как мучительно всё и напрасно!
 И душа вечереет,
 и дымка вползает во взгляд...
 Но струится над болью таинственный свет непогасный
 И согбенные птицы
 куда-то летят и летят...

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Кореновск, Краснодарский край

ТОЛЬКО МОЙ ОСТРОВИК И ОСТАНЕТСЯ

Меня учили: «Люди – братья,
 И ты им верь всегда, везде...».
 Я вскинул руки для объятия
 И оказался... на кресте.

Но я с тех пор об этом «чуде»
 Стараюсь всё-таки забыть.
 Ведь как ни злы, ни лживы люди,
 Мне больше некого любить.

Эх, подкачу-ка я штанины,
 Несите ноги, вы вольны,
 Куда хотите гражданина
 Несуществующей страны...

Ну что же, нет страны, и ладно,
 Выходит, кончилось кино.
 Зато пока ещё прохладно
 В бутылке терпкое вино.

А если я при всём при этом,
 При всём при этом да при том
 Не стану даже и поэтом,
 То точно сделаюсь шутом.



Я бубенцами стану звякать,
Глотну вина и брошусь в пляс,
Чтоб ненароком не заплакать.
Навзрыд... Беззвучно... Как сейчас.

За рекой звонят к вечерне.
Ставят сетку мужики;
Шнур, натянутый теченьем,
Потопил все полавки.

У насосной сыч хохочет,
Он нашёл себе приют
Под задвижкой, старый плут.
Где-то женщины поют...
Умирать никто не хочет.

Сердце ноет от разлада,
Ум собой по горло сыт.
И туман на сучьях сада,
Как повешенный, висит.

Как привычны мысли эти,
Эта боль на склоне дня,
Если некому на свете
Помолиться за тебя.

Не потому, что вдруг напился,
Но снова я не узнаю:
Кто это горько так склонился
У входа в хижину мою?
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в стружьях и с клюкой.
Да если б мы её любили,
Могла бы стать она такой?!

Не понимаю, что творится.
Во имя благостных идей
Ложь торжествует, блуд ярится...
Махнуть рукой, как говорится?
Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на людей?..

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Вполне понятное явление:
Портвейн мы пили, а не квас,
И вот теперь с недоуменьем
Глядит Христос: куда деть нас?

В аду мы вроде бы как были,
А в рай? Не место нам в раю.
И Он нас, отряхнув от пыли,
Засунул в пазуху свою.
А по земле пошло волненье:
Куда пропало поколенье?

Дорогой мой современник,
Что так сгорбился убого?
Либо очень мало денег,
Либо денег слишком много.

Этих крайностей опасных
Избежать – тяжёлый труд.
Грустно в лагере несчастных,
А счастливых стан не тут...

Сколько помню, он такой:
Редкая бородка,
Грязный, серенький, сухой.
Лёгкая походка.
Допотопный армячок.
Детская улыбка.
– Здравствуй, Ваня-дурачок.
Как дела? – Не шибко.
– Издеваются ли, бьют?
Что тому виною?
– Больно много подают...
Как перед войною.

О, дни лукавства! Злобы лета!
Лжи и предательства стезя.
Отрадной в дуло пистолета
Взглянуть, чем ближнему в глаза.

Тут даже мало быть поэтом,
Здесь только Богом надо быть,
Чтобы людей за всё за это
Не ненавидеть, а любить.



Я помню всех по именам,
Кто нас учил, что труд – награда.
Забудьте, милые, не надо...
Труд – наказание Божье нам.

Как может быть мой дух высок,
Когда до поту, до измору
Я за говядины кусок
Дворец роскошный строю вору?

Ведь я потворствую ему,
Ведь я из их, выходит, своры...
О век! Ни сердцу, ни уму,
Ни духу не найти опоры.

ХУТОРОК

Не голодный, не богатый,
Но кой-что запасший впрок,
Разбросал сады и хаты
Вдоль речушки хуторок.

Без особых изменений
Жизнь течёт тут без прикрас.
Здесь без всяких извинений
Хлеб привозят в месяц раз.

А ещё привозят творог,
Или правильно – творог?
Я не знаю. Но мне дорог
Этот тихий хуторок.

Нет, не тем, что ивы гнутся
Так картинно у пруда.
Дед мой именно сюда
Должен был с войны вернуться.

ПОЭТ

Все в мире заняты делами.
Какое множество судеб!
Кто камни делает хлебами,
Кто в камни превращает хлеб.

Найдите дело мне, поэту:
Лишь я один – ни то ни сё,
Сижу, верчу в руках планету,
Где происходит это всё.

Равнодушный к бесславию и славе я,
По родимой пльву стороне
На своём островке православия,
Подгребайте, кто хочет, ко мне.

На земле всё сторит и расплавится,
Всё сожрёт ненасытный огонь,
Только мой островок и останется,
Потому что он – Божья ладонь.

ДРУЗЬЯМ

Пусть мы в пророки не годимся,
Но чтоб не так хамели хамы,
Друзья, давайте созвонимся,
Как храмы...

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

Москва

ТО ТЬМА

рассказ

Сумерки ещё только потихоньку обозначились, словно художник карандашом аккуратно обвёл контуры, дорога вяжет петельки, свиваясь в клубок. По обочинам – лесок, словно подшёрсток.

Промокшая осень заглядывает в глаза брошенной собакой. Разве что не лает и не воеет.

Мост через реку, как будто бы через время.

Сухона.

Под мостом, как под ладошкой, когда пристально вглядываешься вдаль, не в силах различить предмет, который расплывается в глазах: домики, прижавшиеся к воде, догнивающая лодка, убежавшая из сладостно томящего стихотворения Рубцова «В горнице мой светло...», а где-то чуть повыше, там, под облаками, подведёнными синькою снизу, бледный островерхий отпечаток, неясный, словно промельк и коричневая кровля.

Отпечаток, убежавший от старой фотографии. Лист осенний, жёлто-зелёный, словно прочерк над бездонным или бездомным простором. И я, словно выглядываю из-за угла. Из-за края картины. С другого берега, из другой, нетутошной, нетотемской, жизни.

Тишина, как будто ватой обложили. А я будто шёл сюда, к этому мосту, к этой гниющей на берегу лодке, всю жизнь обходными путями, по болотам и редколесьем, вынюхивая тропу, тревожно втягивая в себя ноздреватый воздух, опасливо озираясь по сторонам, к этому вот месту над рекой и отражённым в реке куполам.

Я бежал, шёл, спотыкаясь, падал, а отражение жило здесь всегда. Ещё до моего рождения или смерти. И так будет всегда.

Но вот время застыло, или его не стало, словно отменили декретом совнаркома.

Под мостом – Тотьма. И над – отражённая в тёмном влажном и невесомом зеркале – она же.

А всё вокруг, как подрамник.

Мгновение, подстреленное, как вальдшнеп, на лету.

Под мостом капит свои воды Сухона, в которую где-то тут впадает Пёсья Деньга.

День на исходе, как будто жизнь. И Пёсья Деньга – потом увяжется за тобой, обязательно увяжется, как нищенка, или, как эхо, а быть может, словно протяжная печальная песня о несчастной любви или

доле, и уже не отстанет. Побегит, потрусит за тобой – на край света, словно собака с влажными от грусти глазами. И даже за край. За рамки, за подрамник и горизонт. Теперь всё это – и твоё. Во всяком случае, не чужое.

Попробуй распутать клубок этой тайны, выпустив на волю финно-угров, которые еле слышно шепнут на ушко: Тотьма.

На языке коми «год» – «сырое место, поросшее елями и кустарниками», а «ма» – «земля, место».

А может всё и не так. Согласно ещё одной версии «Тотьма» переводится как «город, колдующий воду».

Город, колдующий пространство, распростёрся возле отдающей свинцовым холодом Леты. Избушки с зелёными крышами, деревянные заборы, мокрые сосны, ажурная вязь времён. Грубо вытканная холстина, схваченная суровой ниткой, чтобы всё это не разлетелось от дуновения ветра по сторонам света.

Очутиться в Тотьме, слово в книге. В старой книге с потёртым фаянсовым корешком. Страшно и странно.

А вдруг не пустит? Вдруг всё это – сон, мираж и от одного неосторожного движения, шороха шагов, рассыпется, растает, испарится, словно пар со стекла, в которое надышали.

Но – нет!

Дорога стелется под ногами, выгибая спину. Тут всё так округло, без острых углов и прямых линий, как будто художник, не дорисовав свою акварель, ушёл и запил.

Шорох, запахи листвы, и слоистого, холодного, плотного воздуха, зовущегося тишиной, оживляют старинную открытку.

Я пробую войти в Тотьму, как пробуют войти в холодную воду, поёживаясь, и вот это пространство начинает разворачиваться, как старинная скатерть, которую достают из старого, пропахшего лавандой платяного шкапа, со скрипучими ящиками, поддающимися туго и нехотя. Жизнь, спрессованная веками. Скатерть, шитая белыми нитками.

А город околдовывает пространство и время.

Ещё не темно, лишь облака темнеют, но будто сумерки, то – тьма, и картинка уже неотчётливая, как будто выдуманная, приснившаяся тому, кто остался на мосту, зачарованный этой блёклой акварелью, этим серо-фисташковым сфумато, очарованный прибрежной заводью, его наваждением.

Может быть, оно и лучше – и не нужно приближаться к предметам, дабы не запутаться, словно мушка в паутине деталей.

Не нужно торопить время и лишать, словно фотоальбом, виды города.

Дни сочтены. Всё прошло...

Где-то чуть выше дороги, словно отражение в Сухоне – светлая Выходо-Иерусалимская.

Погрузиться в Тотьму, словно войти в Иерусалим. Почти, как первые христиане, с оглядкой и опаской: а не рассеется ли всё это, не провалится ли земля под ногами?

Всё это было, есть, но будет ли ещё?

Светлый призрак, он будто парит над серой гладью асфальта, окантованный печалью. Гирлянды, многогранники башен, ромбы и треугольники, словно вышивка на кружевной скатерти.

Такую вот празднично накрахмаленную скатерть домохозяйки поди вынимают на торжества или поминки. И узор вроде бы незамысловатый, не вычурный, немногословный, словно устыдившаяся собственной красоты молодка с пунцовым румянцем.

Заплаканные фонари, остывающий день, серое, выметенное ветрами и промытое октябрьскими дождями полотно, словно пол в избе.

И – никого. Никто не нарушает это зыбкое и зыбкое состояние грусти, тщеты и счастья.

Но счастья ли?

Не будет больше счастья, если эта сотканная добрыми руками скатерть русского простора за спиной не повторится. И всё исчезнет, если я вдруг отвернусь. Как будто эта широкоскулая молодка предпочла не тебя, а парня местного и простого, но моложе и лучше, честнее. А тебе дали от ворот поворот.

Начинается потихоньку, словно нехотя, смеркаться. Тотьма блестит ещё в своём отражении, присутствует в нём, как будто старинную вазу мейсенского фарфора разбили вдребезги, и ты стараешься по частям собрать её хотя бы в памяти, и не умеешь, не можешь: тонкий, полупрозрачный грифель, напоминающий графин, церковь Рождества Христова, разноцветные избушки с белыми наличниками, кот, который прямо из сказки, сидит и смотрит, кто тут ходит и зачем, оранжевый, словно после обжиги,

кирпичный особняк, бронзовый поэт на берегу и знак, запрещающий машинам сгять с берега в реку, в белое парное молоко остывающего вечера.

Но как же тут ни сигануть?

Жизнь такая. И нет уже бела света, ни Вологды нет. Смеркается, словно смежили веки и разомкнуть уже нет сил.

Всё разбито вдребезги истлевающим, словно ненадёжная память, вечером. Истекающим временем. Тени глотают большими голодными кусками последние остатки этих воздушных, паутинных, парящих в небе, пауз и интервалов.

Всё истончается до писка, как будто гармонист взял верхний регистр.

В ресторане под люминесцентный всполохи лампы или сварки, под неунывающее бумканье, с пиканьем и свистом танцует свой последний танец парочка толстух, повернувшись друг другу кустодиевскими силуэтами.

«Позишен намбер ван...»

Не было ничего в прошлом, и не будет ничего впереди. На выходе бодрячок в белом костюме командированного выпускает колечки дыма.

«Позишен намбер фри...»

Фонари тускло мерцают, словно подбитый глаз.

Пьяная машина сиганула с набережной в реку. И река поглотила город, который до наступления тьмы, как Нарцисс, любовался, не мигая, своим отражением.

Но его больше нет. А возможно и не было. Не было холма, моста через Сухану. Утонувших в парном молоке тёплого осеннего огородного духа и домишек. Художник вышел куда-то и больше не вернётся.

Ничего не осталось.

Тишина, звуки и краски истлевают в ночном безмолвии.

Ни-че-го.

А – всё же?

Что это за почерневший от времени офорт? Чьё всё это?

Ничьё. Во всяком случае, уже и не моё.

То – тьма...

НЕТ ВЫХОДА

рассказ

У марта бледное лицо, чреватое истерикой. В марте всё блёкло, бескрыло. Бескровно.

По стеклу бегут мурашки, а я сижу и смотрю на серые, текучие блики прохожих, которых вбирает витрина кафе, и размениваю остатки здравого смысла на мелочность деталей: застиранное небо, проспект, в неизбежной спешности фасующий рекламные щиты, газетные киоски, плотные коробки домов, автобусы и прочая.

Готовый заразиться этой истерикой без слёз, я глотаю медленно и вальяжно невыплаканное горе зимы. Или весны?

Довольно дрянное, надо сказать, состояньице, в придачу к ещё более дрянному кофию в псевдоитальянском кафе Sbarro.

Но эта собачья вывеска, как будто дворовая псина, привыкшая получать тычки, ластится, катаясь на спине по сухой и слегка влажной прошлогодней траве, и рычит от удовольствия, не способно никого ввести в заблуждение.

Апеннины сокрыты плотной мглой.

Самое лучшее, что можно разыграть в этих декорациях – это роль автора, пропивающего аванс. Голова его пуста, словно поляя тыква, которую в качестве украшения торжественно водружают на холодильник. Ему не пишется и не думается. Ни о том, что середина марта, что вроде бы пора теплу, а его нету. И не о том, куда бегут люди, чем они так озабочены. Хотя, может, они боятся, что их наступит размеренная, словно Командор, железная поступь времени.

Он жадно глотает невыплаканные слёзы. Лишний человек русской литературы. Ему недужится, как и его соседу по дому Тимофею, который вот уже месяц вешает ему книжные полки.

В образе Тимофея должна быть заключена пружина понимания всего, что обычно случается в марте.

Тимофей – символ марта!

Обычно он звонит поздно в пятницу вечером, когда мгла вместе с Апенниннами заодно поглощает и район Бирулёво. Из трубки долго слышится сипенье, как будто кто-то на том конце света пробует открыть бутылку шампанского, чтобы отпраздновать новолуние, но пробка не выходит. Или уже давно вышла. Потом вдруг весело начинают прыгать чёртиками всякие звуки. Хаотично и в беспорядке.

Автор пробует сложить из них, как из азбуки Морзе, что-то внятное, но у него ничего не получается. На том конце беда звуки пляшут, как пьяный матрос враскорячку. *Свобода – разгульная девка на пьяной матроса зруди.* И ему даже чудится, что бедово крякнула всеми своими продранными боками и простуженным нутром трёхрядка. Потом кто-то хрюкнул или облепчённо засопел.

Тимофей – это русский народ во всей своей сложной многоцветности или многосложной цветистости.

Вернее, та половина Тимофея, которая вместе со всеми погрузилась в глубокий и беспробудный мрак. А вторая, значительно меньшая, но светлая, которая пообещала полки повесить, в борьбе с превосходящей по мощи и численности первой, пытается донести до сведения человечества в лице автора какой-то чрезвычайной важности глагол. Но не может. Силы не равны. Миссия невыполнима.

И вот, *пожалуйста*, Тимофей Иванович, как жертва обстоятельств. Страдательный, понимаете ли, залог. И автор иже с ним. Ведь он себя не отделяет от Тимофея. Да, если бы и захотел отделиться, не получилось бы.

Мы вместе!

В субботу борьба Тимофея с обстоятельствами продолжается с прежней мощью и отчаянием. Впрочем, с переменным успехом.

Вторая, светлая, половина Тимофея уже на подступах к *фатуре*, где книжным полкам не быть. Бои местного значения ведутся то на втором, то на девятом этажах.

Пятый, автора, пока в руках супротивника. Но это – явление временное. Враг будет, *естественно*, разбит, и победа будет за нами. За пассионариями!

Прощённое воскресенье целиком посвящено с одной стороны молитвам во спасение души заблудшей овцы Христовой Тимофея Ивановича, с другой – очищению организма от токсинов и шлаков.

Воскресенье – постный день. Чай, они с Тимофеем не нехристь какая-то!

В понедельник, понятное дело, Тимофей, бодрым путем добравшись до ближайшего ларька, пытался тут же на местах покончить с гидрой алкоголизма и силами тьмы. Но был бит по причине легкомыслия и упадка сил.

Бездыханное тело воителя Тимофея было подобрано гастарбайтерами из солнечного Таджикистана. И он, словно с сарацинами, пытался вести с ними борьбу. Второй фронт...

Да, вот так не задался март, чирикай – не чирикай. Вымарывай его из календарей. Но ведь надо как-то продолжать тянуть лямку дальше.

А как? Чем? Где она – пьянящая свежесть жизни и лёгкость бытия?

Тимофей, по сути, прав. Жизнь – это не только трали-вали. Но и ещё беспрестанная борьба с обстоятельствами. А это уже серьёзно. Тут не расслабишься. Тимофей, он только с виду такой тульский пряник. А на поверку глубина его падения в беспримерном следовании высокой букве закона и логики архетипа. Попробуй тут не запей, когда – метафизика!

Так что весь вторник был отдан повторению пройденного. На то он и вторник – повторник. И среда в придачу.

Ну не начинать же жизнь сначала – в среду. Это как-то глупо и неделикатно. А – похмелье? А – конец рабочей недели?

Словно в утешение, автор слушал *Ныне отпущаеши* Рахманинова и понимал, что это и про него с Тимофеем. Только уже после второго пришествия, когда всё трин-трава.

Правда, в четверг Тимофей уже видел свет истины в конце тоннеля.

Поначалу это были какие-то маленькие всполохи. Маленькие вспышки, как будто кто-то, очень далёкий и незнакомый, балуется вдали зажигалкой. Собравшись с силами, Тимофей понял, что – нет. Не видимость это, не кажимость, а действительно во тьме что-то поблёскивает, точно зарница. Как будто кто-то знак даёт: мол, не дрейфь, выплывем. И Тимофей Иванович пошёл на этот свет. Поначалу робко, ноги его не слушались, подкашивались, но вот всё лучше и лучше. Уже и с пятки на носок нога ступать стала. А там, глядишь, уже до земли обетованной и рукой подать...

Но тут совсем некстати, приехал брат из Стародуба. А брат из Стародуба, он ведь – известное дело. Он, как в античной драме, бог из машины.

В Стародубе том живут не люди, а все богатыри и пассионарии. Это вам не Москва с её хлюпиками и неврастениками. В Стародубе все сплошь ядрёные и сочные, как хрустящий яблок. В скрипучих ботинках они входят в дом, кепка заломлена на затылок, они излучают бодрость и оптимизм. Об них хоть спичку зажигай. И прикуривай об вихор.

– Вот, значит, как оно! – голосит Стародуб на весь дом, – и прихожая оглашается звонким залихватским лошадиным ржаньем.

А как зачнут по плечу друг дружку хлопать, то затрещит тот, который не богатырь и не из Стародуба. Москвич, хлюпик паршивый, кисель овсяный. И по колено в землю уйдёт.

Вот что такое Стародуб. Стародуб – это, в общем и целом – ни какой-нибудь вам перфоманс.

И тут борьба добра со злом разгорается с новым ожесточением...

Тот, с кем я договаривался о встрече, не Тимофей и не его брат из Стародуба, но и он весь из противоречий. Может быть, придёт, а может, и нет. Лучше бы, конечно, не пришёл. Тогда, правда, смысл моего тут существования исчезнет, как сизый дымок из выхлопной трубы. По своей воле я бы в кафе Sbarro вряд ли очутился. Или от этого пёсего рыка быстро бы скатился к скучному скулежу.

Вот бы он не пришёл. Зато я буду избавлен от огромного количества слов, которые не произнесу в ответ на его рассказ о себе, своей работе и т.д. Рассказ, который бы охотно забыл задолго до того, как он начал его рассказывать.

Эти мне братья из Стародуба, эти мне друзья из ниоткуда и в никуда идущие, словно пилигримы.

А я – маленький, отверженный и слабый, кисель овсяный. Хлипкий и одинокий. Нечто спрятаться под столик? Но это не поможет.

Они ведь – дух. Ты под столик, а они из-под столика. Ты – в Sbarro, а они уже тут как тут. Кофием меня притравливают. Щитами с девками окружают...

Может, перелистнуть март и попробовать где-нибудь раствориться сразу в мае. Или вот снова тусклая осень, ноябрь – близнец марта, а потом пусть опять зима, выпадет снег. А там и до Нового года совсем близко. И я заболело, буду, ожесточённо чихая в трубку, лежать в кровати с забинтованным горлом. Буду хрипеть, как будто на горло наступил собственной песней, что никак не могу, что вот кашель замучил.

Но зачем же он так отчётлив, этот март, и все эти прописные истины о том, что от прошлого не уйти. Ни вперёд, ни назад. Ни в бок.

Прошрое, когда я его уже почти забыл, решило послать мне Севу, с которым мы когда-то работали в одной газете, а потом его унесло куда-то на Урал, а теперь он вот развёлся с женой и вернулся.

Но зачем?

Жена Севы в потоке мутных моих воспоминаний – ударила о водную гладь русалочьим хвостом. Посмотрела на меня налимьим взглядом, пустым и грустным, с кровавой поволокой. И была такова.

Ну, хорошо, положим: Сева, русалка, проспект Мира, кафе Sbarro, а я-то что же? Почему мне надо замкнуть собой этот ряд дурной бесконечности?

Бред какой-то: главная редакторша с бородавкой во лбу, бывшая телятница, Ольга, по-моему, Тимофеевна, а может быть и не Тимофеевна никакая вовсе, а Яковлевна. Хотя какая теперь разница? Потом – какая-то судорожная рябь, будни, застолья с ликёрами, кажется, Журавченко, не то Галя, не то Нина, которая метила на место бывшей телятницы. Тучная, как свиной окорок, Галя-Нина прибывала в газету на маленьком запорожце. Запорожец издавал какие-то жалобные стоны. И все смеялись: лягушонка в корбочёнке приехала...

И всё неизбежно и неизбывно. А на улице узкобёдрая девица прижала к щеке мобильник. Она пронзает толпу насквозь, а толпа идёт сквозь неё. Такая вот изгнанная из Севиной жизни жена Севы, как Ева из рая, тусклый осклизлый налим с кроваво-грязной поволокой. Она плывёт в потоке дней за Севой. А Сева от неё, как от судьбы. А я пытаюсь смыться от них!

Сплошной Стародуб.

Ещё немного, и я заору откуда-то из темноты хриплым и простуженным басом, что я, мол, не верю! Ничему и никому не верю. До испуга, до истерики, чтобы все бегали вокруг меня и прыскали водой, охали и ахали. И вызывали скорую. А она выла под окнами сиреной. А я всё равно отказывался верить или не верить во все эти декорации, пепельные панельные дома, киоски с газетами, курами-гриль, во все эти уютные фонарные столбы и рекламу на обочине. А потом бы плаксиво хныкал между приступами, просил водички.

Но что самое ужасное. Очутись я в какой-нибудь средиземноморской кафешечке... Ну там, столик



на набережной, о графитовый гранит которой плещет и пенится, словно шампанское, вальс Шопена. И чтобы – никого! Хотя, нет, пусть вдали движутся какие-нибудь силуэты. Смутные, туманные, как хорошо забытое прошлое. Какие-нибудь пилигримы, бредущие из романской эпохи в готическую. Пусть где-то возле поросшей диким кустарником и польнью скалы маячат мачты какой-нибудь бригадины. Или курится лёгкий дымок буксира. Но всё пусть будет смутно и неправдоподобно. Чтобы я и сам не верил, что всё это возможно и невозможно. И пусть я пойду за ними в Иерусалим. Просто поплыву тихонько и медленно в этом мягком и кисейном облаке грёзы или мечты. И совершенно фатально забуду проспект Мира, кафе, столик, гадкий кофе и то, что я кого-то вот сижу и жду. Забуду, что в мире существуют газеты, в которых иной раз случается необязательная завязь, люди, вроде моего приятеля, который спешит навстречу ко мне, а я от него убегаю.

От Sbarro! А он, зверь мой, век мой этот, за мной... Так вот, очутись я вдали от Sbarro, как тотчас захочу обратно, где нет Иерусалима и пилигримов нет.

Март, кафе Sbarro, проспект Мира, аптека. Наша общая с ним знакомая, которая рассказала, что Сева приехал с Урала и как само собой разумеющееся «брякнулся» у неё на десять дней.

Она не может ему сказать, чтобы он избавил её от этого счастья. А ещё, чёрный со включенными волосами, в очках, с судорожно и неудержимо играющими бликами, Сева по вечерам подолгу сидит за столом, кушает, как щи, водку и читает свои рассказы. А потом, зевая, говорит, что там, где он живёт за Уралом, все умирают со смеху.

В это я охотно верю, видимо, все, кому он это читал, давно померли, и теперь он приехал в Москву. Благо, народу тут хоть отбавляй.

Моя знакомая потом жаловалась, что, если бы он спустя два дня не убрался обратно восвояси, на Урал, она бы умерла от идиосинкразии.

Нет, тут всё уже вовлечено в какой-то бурный и никому, кроме одного Севы, Тимофея, брата из Стародуба и иже с ними, ненужный временной поток. И железный этот поток несёт вдоль проспекта дома, людей, которые пребывают в какой-то загроможденной пустоте, выплясывая своими сапогами и ботфортами чёрти знает что. И несть этому конца.

А может, надо просто ударить по этой наглой напудренной физиономии?

Представляю, как нервно задёргается сазаний зрачок благообразного буржуа с аккуратной бородкой. Как он, словно попавшаяся на крючок рыба, начнёт наливать тревогой. И как он поперхнётся сосиской. И как вдребезги разобьётся купель тишины. И осколки покоя разлетятся по сторонам. И зазвенят, как архангел на трубе. И всё: дядечка с сосиской, телятницы, Сева, Тимофей Иванович, братья из Стародуба, Севина жена со своими любовниками, куры-гриль с Урала, – вдруг задвигаются в каком-то хороводе. Всё тронется со своих мест и закружится. Всё быстрее и быстрее, как центрифуга. А в центре я, ничего не понимающий, маленький и несчастный, наивный и смешной. И слабый, как кисель.

А надо мною лишь небо, и Сева так смешно хлопает глазами, увеличенными диоптриями очков до размеров махаона. И потом вдруг сам Сева превратится в махаона. Да будет светла его простая душа!

Зачем это всё? Кто даст ответ?

Тимофей?

Тимофей вот уж неделю погрязший в тщётности. В своей бурой шубе возле подъезда он, словно старый с облезлыми боками медведь в клетке из цирка-шапито. И клыки у него жёлтые. И жизнь разбита вдребезги. И – нет выхода!

НЕ НАШЕ ВСЁ

рассказ

Чай – невесом и лёгок, как пух или пёрышко, которое обронила чайка, летящая во времени, на извилинах пути эволюции превращаясь из ящера в символ.

Чай – способ постижения пространства и времени. Уход и выход. Чай выдумали философы, чтобы ничего не делать. Поэтому человек, пьющий чай наедине с собой, немного философ, лентяй и немного маньяк.

Раньше было множество чайных. Счастья было немного, а чайных много.

Но исчезли чайные, и не стало счастья.

Чай – это счастье, участие и заодно причастие.

Человек, пьющий чай, он ведь не просто хрюкает губами, а словно постигает мудрость, причащается

мудростью. И даже если ничего не постигает, то всё равно ловит эти мгновения, хватается их за рукав, чтобы спрятать голову в песок.

Чаепитие – путешествие вглубь себя!

Чаепитие – это русский садо-мазо-буддизм.

Без бога и паствы.

Один на один.

Только ты и чай.

И никого.

Чай – это выдох, воспоминания. Бесконечные воспоминания, которые кружатся, как снежинки или листики чая, раскручивая спираль памяти, разворачивая, словно женщина, высвобождающая волосы из бигудей, холодные ладони, возвращаясь к солнцу, свету из первозданной темноты. Из небытия.

Чай – это возрождение.

Или – смерть, когда на дне чашки с драконами одна заварка, словно неубранная постель...

Сколько помню себя, или даже не помню, а знаю, что не одно и то же, я всегда пил чай. В советское время – со слоником, индийский, грузинский, краснодарский, но самый лучший – цейлонский.

Я пил чай, как будто читал «Книгу джунглей» Киплинга. В прозрачном стакане с подстаканником в поезде «Москва – Ленинград» заваривался густой, тёмно-жёлтый сюжет, опалённый полуденным солнцем, взмывали в небо орлы, мельтешили экзотические бабочки, чёрный сумрак ночи вспарывала улыбкой Багира, мчался сквозь мрак куда глаза глядят Маугли.

Потом цейлонского не стало. Маугли вернулся к людям. Не помню точно, что я пил: какие-то пакетики, из прорех которых сыпалось время, но чайных аромат исчез.

Да и время было мусорное, мрачное, безликое, пустое.

Но вскоре вроде бы отпустило, чай начал возвращаться. Не сразу, но, словно сны, которые долгое время прятались в отдалённых уголках памяти.

Вернулся аромат, я въехал в другое государство, сыграв новоселье, но не сделал и шага. Просто меня настигло, словно буря, другое время. Но для меня было важным, чтобы был чай.

Чай – это воздух.

Я глубоко вздохнул и очутился на чайной церемонии в Смоленске.

Случилось это пару лет тому назад. В небольшом заведении с иероглифами, красными драконами, ароматическими запахами и прочими псевдо-восточными атрибутами. На Рождество!

Правильно пить чай – это всё равно что начинать новую жизнь с понедельника. Никто не умеет пить правильно, но зато все знают, как неправильно.

Драконы дружелюбно испускают огонь, звенят нежно и звонко колокольчики: инь и янь!

Поднебесная приняла под своё крыло.

Под серебристый, но мягкий звон, словно ты божок, а с тебя смахивают пыль бархатной тряпочкой, мандарин разорвал чёрный полог ночи белозубой улыбкой, а джонка отправилась сквозь камыши...

Чаепитие – дело тонкое, почти как любовь!

Мы сняли обувь, черноволосая русалка в чёрном кимоно попросила выключить мобильные, я бы не удивился, если бы нас заставили разоблачиться от одежды.

А впрочем?

Русалка отводит почти виновато взгляд, как будто предупреждая, что между нами уже возникла тайна. А затем повелительным жестом указывает на циновки.

Зауток немного напоминает хлев, с той разницей, что в хлеву не зажигаются ароматические свечи, и никто не изгоняет вредоносных духов.

Самый вредоносный из духов – человек.

Душно и приторно от запахов, кружится голова, кружится снег, шар земной оборачивается вокруг своей оси.

Чайная церемония непрерывна. Она длится всю жизнь. День и ночь!

Спустя какое-то время, почти вечность, когда мне уже показалось, что чая не будет, а весь смысл жизни в том, чтобы сидеть на циновках и ни о чём не думать, пришла русалка с чайником.

Пришла, словно запоздалая любовь. И встала передо мною на колени.

Но!

Надо думать о чае, надо думать о дао, дано-ума-ча!

Большие чёрные листы, чёрные лопухи, распутившие чёрный полог ночи над нами. Я знакомаюсь с заваркой, как наркоман с кокаином.

Названия чая вполне соответствуют китайскому эротическому роману: «нефритовый стержень», «лилия, распутившая лепестки».

Китайка, русалка, наяда, распушив надо мною тёмный полог волос и ресниц, словно фокусник в цирке, достаёт деревянный ящик и начинает долгое путешествие вглубь себя.

Её шёлковый пояс скользит неслышно, словно змея и осыпается к ногам. Так осыпается чайный лист, когда солнце устало закатывается за горизонт, и небо охвачено заревом.

Охвачено пожаром.

А потом и туника её, чёрная туника, скользит вниз. И уже пересыхает горло, словно пустыня. И жажда путника, который шёл на хрустальный звон ручья, уже неутолима.

Её нагота одинока и незащищена...

И вот совсем, однако, не к месту появляется пластмассовый чайник. С другой стороны, он ведь тоже из Китая, так что чего уж тут?

Я подолгу, словно вытягивая губы в скептической ухмылке, тяну чай из стеклянных плошек, пью вечность, а она слегка копчённая на вкус.

Но кто сказал, что у вечности должен быть другой вкус?

Восток – дело щекотливое!

Но вдруг русалка исчезает, также внезапно, как и появилась. Любовь прошла. Русалка тает в воздухе, тлеет ароматическая свеча, оплывая. Остаётся лишь пар, но ничего и никого больше нет, нет этого заведения с драконами, нет Смоленска, и вот я уже бреду в солнечный мартовский денёк, прихваченный накрепко морозцем к асфальту, с кое-где не растаявшими кучками всяческого мусора, незнамо куда.

Город Жуковский просыпается и устремляется на борьбу с обстоятельствами.

Чай – это воспоминания, вечные воспоминания, которые преследуют, когда ты уже всё почти забыл.

Чай – это вольная борьба!

...И вот этот странный человек в тёмной куртке и шапке, наполозшей, словно тень, на глаза, направляется дворами, вроде бы и сам не зная, как следует, куда.

Походка у него, как во время качки, взгляд сосредоточен. Пальто двигается направо, его хозяин налево, ноги несут его прямо.

Возле магазина «24 часа», который ещё пару лет назад был «Детским миром», стайка подростков с гаджетами и вынырнувшая стремительно, будто щука, Лолита в короткой юбке.

Девочка с глазами зацветающей ромашки делает то, что, видимо, привыкла делать, будучи ещё маленькой, озаботившись тем, что колготки сидят не вполне комфортно. Лицо розовое, серые глаза устремлены глубоко вовнутрь.

Такое выражение лиц ещё бывает у кошек, когда они вычёсывают блох!

И этот жест, будто бы наездница прищипорила свою кобылку, вполне привычный. В начале марта жизнь выворачивается наизнанку.

Провинциальный город, словно женщина с прошлым, оборачивается выгодными для себя местами.

Голые ветки осин, будто древко, цепляют голубое полотнище весеннего неба. Галка выпархивает из помойки с сухой коркой и счастливой улыбкой.

Типовые кирпичные пятиэтажки щурятся близоруко, виновато и интеллигентно. На балконе полонятся знамя коммунального быта: распашонки, пелёнки, похожие на знамя чьи-то трусы.

Дворы аккуратные, бледные тени, мягкие в голубизну.

Ранняя весна, тепло только что вышло из подполья. Тепло мелкими перебежками, словно партизан, продвигается по незнакомому городу.

В городе белые!

В обычные дни марта в разные эпохи и годы странствий об эту пору ещё снег и холодно.

Что ещё может быть лучше, чем с каждым шагом погружаться в эту милую провинциальную прощальную, замечая повсюду разноцветные стёклышки льда, расколотого, словно кусковой сахар.

Далее в реестре достопримечательностей числится малолитражка, вросшая в землю и набитая до отказа вещами: рюкзак, сдувшийся мячик, свёрнутый в трубочку атлас, старые, сморщенные по-старушечьи сапоги.

Странная кладовая – вещи выставили на всеобщее обозрение своё посконное, домашнее нутро.

Жизнь, вывернутая наизнанку, как та, давешняя девочка у магазина «24 часа».

Ребёнок за 24 часа только должен оборотиться девочкой, но пока ещё – в пути.

Улица Станкявичуса, несмотря на свой упрямый перпендикуляр по отношению к главному проспекту, довольно спокойная и тенистая заводь с камышами и лягушками.

В подвальчике букиниста, который придавили пять этажей сталинки, можно всю жизнь рыться в старых книжках, потёртых от времени обложках, чьих-то судьбах. Запах чужой жизни, жилья, вместе с книжной пылью обволакивает здесь каждого книгоеда своим облаком.

Книжный червь примеряет на себя чужой облик: Достоевский, Ницше, Де Сад...

Он листает эпохи, страны, стили, блуждает по лабиринтам чужой мысли, куда почти случайно не наткнется на ненужные ему книги. Но он уже заранее уговорил себя, что ему нужно что-то купить.

Скорее по инерции, чем по ещё бог знает каким там причинам, которых, быть может, и нет.

Покуда хилый провинциальный интеллигент листает Лагерквиста, не находя в этом никакой аллитерации, до него долетает разговор двух продавщиц о чае...

Всё повторяется, движение минутной стрелки вокруг циферблата, солнца вокруг своей оси, всё циклично. Лао Цзы, кажется, говорил об этом. Или не говорил, какая, в конце концов, разница.

Лао Цзы – это сорт чая!

И вот из чада книжной пыли возникает чайный магазинчик на Энергетической. Возникает, словно запах чужого жилья, книжной пыли, томик Сталина 33 года издания со старой орфографией: *ummi!* – или – вещи, выставленной напоказ, чужая судьба в нагрузку к книге, которая вроде бы и не особо нужна...

Девочка с глазами кошки вычёсывает блох!

Заглянуть за кулисы этого действия всё равно, что подсмотреть в замочную скважину.

Жизнь выворачивается наизнанку...

Но мне пора *ummi!*

...А на выходе мы наткнемся на журнал с надписью «Джаз». И ввязываемся в разговор с продавцом. Под его могучим весом весь кислород выплёскивается из подвала наружу, толстячок торгует разной старой рухлядью: пластинки, отжившие свой век проигрыватели, абажуры, книги «все по 50», кружки, значки, тарелки с советской символикой, сочинения Сталина издания 33 года.

Оказывается он, как и все, то есть, мы – двое, большие любители джаза. Он знает все те места в Москве, которые знаем и все мы. Он призывает нас купить проигрыватель, потому что слушать джаз можно только на виниле.

На виниле можно не только слушать джаз. Его можно ещё запускать в ночь, словно НЛО!

На виниле можно жить лениво!

И мы клятвенно обещаем подумать. И уходим. Уходим вроде бы за чаем, хотя и не собирались за чаем, а шли к букинисту.

Но цепь событий непреклонна, мы ведь и сами иной раз не понимаем, прочему всё произошло так, а не иначе.

Почему мы свернули в этот переулок, а не в другой, пошли мимо дома, из окна которого нам упал на голову кирпич? А ведь можно было свернуть направо или налево? И тогда – другой сюжет, другая история.

А пока в голове вертится все эти проклятые вопросы, мы плывём в марте вместе с действующими лицами этой драмы мимо бетонной совы, врытой по голове в шар земной.

Над головой кружат счастливые галки.

Я плыву по направлению к Энергетической, где книголюбы отродясь не водились.

На углу Энергетической и Дзержинского давным-давно был хлебозавод и баня. Но времена меняются столь стремительно, что от хлебозавода остался только запах закваски, а баня, испустив дух, превратилась в Торговый центр.

Имени Дзержинского или уже не Дзержинского.

От Торгового центра, почти вслепую, на ощупь, так как точного адреса никто не знает, поворачиваю направо. Вдоль бетонного забора идут люди с вросшими в туловище головами, без шеи, как давешняя сова. И мы идём вдоль, пока суть да около...

– Тебе надо пить полтора литра в день!

– Я пью!

– Ну и что?

– И ничего!



Ничего, надо пить. Всё равно – пить, раз сказано кем-то, что надо. Или – не пить, но – вот песочного цвета двухэтажное здание с надписью *Ренессанс*. Для весны – в самую точку. Возродиться, так именно здесь, где на втором этаже массаж и эпиляция, а потом можно и чаю откушать, если живым оставят.

Табличка с чайником взгромоздилась на второй этаж, хотя сам магазин на первом.

Чай – это конец пути.

На первом этаже Ренессанса ресторан, из которого вас окликает знакомый голос:

– Кум!

Надо же. С этой субтильной барышней, с узким лицом, смуглой, которую задуло попутным ветром в этот городишко из Житомира, мы когда-то крестили свою или чужую племянницу. Мы не виделись лет десять...

– Божишь ты мой!

И всё это, заметьте, уже почти чайная церемония, которая вроде бы и не была запланирована. Или была, но мы не знаем, кем и когда, мы ведь просто поплыли по течению медленной реки в бамбуковой джонке.

И вот, на склоне дня, когда мы уже почти достигли просветления, нирваны, чья-то кума, недавно окликнувшая нас, также окликает и продавца чая:

– Валера!

Культурно допивая кофе, мы расспрашиваем куму, раз уж она подвернулась под руку со своим ренессансом об Украине. И она, сразу поскучнев, старается уйти от разговора. Она говорит о саде, доме, собачке, хозяйстве и т. д.

Кума обосновалась в новой жизни, а Украина ушла на дно...

Украина теперь здесь, на Энергетической, в торговом центре, и массажем и эпиляцией.

Но мы уже не помним или не слышим, как там и что там. Впереди маячит чайная лавочка, которая вроде бы как предназначена нам судьбой.

Небольшое помещение со стеклянными стенами. По стенкам полки с красными и коричневыми баночками: Да Хуан Пао, Дянь Хуан Мао Фэн. У потолка – крути прессованного чая: Пуэр!

В центре стол с чайными приспособлениями, деревянной плиткой – чабань, исинские глиняные чайники, сливники, полотенца, кисточки и гайвани.

Словом – Шанхай!

Продавец, соскучившийся по обществу, суетится, рассказывая долгие и бесконечные истории про чай, а потом начинает готовить Да Хуан Пао (Большой красный халат).

Он кипятит воду, как китаец, покуда я опять нюхаю чай, словно наркоман, пытаюсь насладиться ароматом Дао, и вспоминаю Смоленск, русалку...

Вот тут бы и забыться. Навсегда. С чаем, русалками или без них, закатиться за полки с банками, как пяточок, вдыхать аромат чая, попробовать его из маленькой стеклянной плошки, не понимая решительно ничего. Но всё же, углубляясь и погружаясь в этот запах соломы, всё дальше, всё глубже, чтобы потом и вовсе исчезнуть.

Чай – это ничего!

Раствориться в игре света, проникающего сквозь стеклянные витрины, умиротворяющих жестов хозяина магазина, на лысину которого весенний лучик посадил светлую кляксу.

Да, Да Хуан Пао похож на солому, ломкую весеннюю траву, пригретую солнышком, лучи которого растопили снег. И мы завариваем его снова и снова, а на пятой заварке, как правило, должно, нет, просто обязано наступить просветление.

И оно наступает ногой на горло, но чай от этого не становится ни лучше, ни хуже.

В чае надо прибывать, а не пить!

А может быть, это мы ещё не готовы стать лучше? Быть может, это мы не годимся для этого божественного напитка императоров?

Тогда давайте попробуем Пуэр?

Давайте попробуем Пуэр!

И мы пробуем Пуэр.

И это тоже – чай императоров, как и весь чай. Китайский и некийтайский.

Пуэр отдаёт мастикой. Возможно, это и есть мастика. Но, какая, в конце концов, разница?

Мир – это кажимость. Это – наша воля и представление. Самое главное, найти соответствие. Почти

как в подвальчике букиниста, когда пожилая женщина, склонная к полноте и бесконечной грусти, искала книгу о похудении.

Продавщица, напоминающая бабу на чайнике, в ответ на вопрос: а эта книга поможет похудеть, – скептически заметила:

– Если и поможет, то не мне!

Она или похудеет, либо ещё более раздастся вширь. Но все останутся при своём. Результат не важен.

И поэтому мы сидим на бамбуковой кушетке и вкушаем божественный аромат китайской соломы.

Да, китайцы знают толк в культурном проведении досуга, а мы не знаем. И не хотим знать.

Для нас вся жизнь борьба с обстоятельствами, а китайцы их научились обманывать.

Мы, ежели и пьём, то наспех, второпях, куда-то улетая или на минуту приземляясь, словно рейсовое НЛО. Мы ничего уже не понимаем. А они постигают вечную мудрость: никуда не надо спешить!

Чай – это начало и конец!

А мы уже дошли. До ручки. До точки.

Чай – это ренессанс!

Торговый центр, где торгуют вечностью, на вынос и по заказу, оптом и в розницу. А потом массаж и русалки.

Чай – это не наше, но – всё!

«ФОНОГРАФ»

*От редакции. В нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «Фонограф»
приурочена к 125-летию со дня рождения Веры Инбер.*

О Вере Инбер сегодня почти забыли. Если и вспоминают, то как единственную выжившую в Советском Союзе родственницу Льва Троцкого и автора поэмы «Пулковский меридиан». Но есть и другая, ещё более забытая Вера Инбер, Vera Litt, автор очаровательных статей о парижской моде 1910-х, избалованная дочь одесского книгоиздателя, счастливая молодая жена одесского журналиста Натана Инбера и автор тоненьких книг стихов с изысканными названиями. Первая книга «Печальное вино» вышла в Париже, в городе, столь притягательном для художественной и литературной публики, где прошли четыре, пожалуй, самые счастливые года её жизни.

Потом были «Горькая услада», «Бренные слова» – странно печальные названия для счастливой жены и молодой матери. Но, как писала она сама «Не то, что я жена и мать, / Поит души сухие нивы. / Мне нужно много тосковать, / Чтоб быть спокойной и счастливой». Что ж, всё это было впереди – разрыв с мужем, блокадный Ленинград, смерть дочери и внука. А пока всё же беззаботные стихи о маленьком Джонни, Вилли-кучере, сороконожках, и ещё одни – неожиданно ставшие песней и утратившие автора – о девушке из Нагасаки. Их поют с середины двадцатых, начисто позабыв, что написала эти строчки очаровательная женщина, губы которой пахли «малиной и Парижем». Женщина, которая тогда писала о любви, а не о политике.

Алёна Яворская

Вера Михайловна Инбер родилась 28 июня (10 июля) 1890 год в Одессе. Её отец, Моисей Липович (Филиппович) Шпендер (1860-1927), был владельцем крупной типографии (с литографией и бланкоиздательством) и председателем товарищества научного издательства «Матезис» (1904-1925), купцом второй гильдии. Мать её, Фанни Соломоновна Шпендер (в девичестве Гринберг), была учительницей русского языка и заведующей казённым еврейским девичьим училищем. В их семье с 9 до 15 лет жил и воспитывался Лев Троцкий (двоюродный брат отца) в пору своей учёбы в реальном училище в Одессе в 1889-1895 годах. Вера Инбер краткое время посещала историко-филологический факультет на одесских Высших женских курсах. Первая публикация появилась в одесских газетах в 1910 году («Севильские дамы»). Вместе с первым мужем, Натаном Инбером, жила в Париже и Швейцарии в течение четырёх лет – в 1910-1914. В Париже она издала за свой счёт первый сборник стихов. Сотрудничала с рядом столичных и провинциальных русских изданий. В 1914 году вернулась в Одессу, а в начале 20-х переехала в Москву. В начале двадцатых годов, как и многие другие поэты, принадлежала к литературной группе, в её случае, к «Литературному центру конструктивистов». В 1920-е годы работала журналистом, писала прозу и очерки, ездила по стране и за рубеж (в 1924-1926 годах в качестве корреспондента жила в Париже, Брюсселе и Берлине). Второй раз с 1920 года была замужем за знаменитым электрохимиком, профессором А.Н. Фрумкиным. В 1927 году приняла участие в коллективном романе «Большие пожары», публиковавшемся в журнале «Огонёк». Одна из авторов книги «Канал имени Сталина» (1934).

Проведя три года в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной войны, Инбер отобразила жизнь и борьбу жителей в стихах и прозе. Во время блокады в 1943 году стала членом ВКП(б). Третий её муж, профессор Илья Давидович Страшун, был ректором 1-го медицинского института в осаждённом городе. Переводила поэтические произведения Т. Г. Шевченко и М. Ф. Рыльского с украинского, а также таких зарубежных поэтов, как П. Элюар, Ш. Петефи, Я. Райнис и других. В. М. Инбер умерла 11 ноября 1972 года. Похоронена на Введенском кладбище в Москве. Именем Веры Инбер назван бывший Стурдзовский переулок в Одессе.

НАТАН ИНБЕР**ПРОСТО О ПАРИЖЕ**

1

Одна маленькая женщина, у которой были свежие, немного припухлые губы (от них пахло майской малиной) и настоящий поэтический талант, очень часто и очень мило удивлялась:

– Скажите, почему никогда, никогда не надоедает слышать: «Я люблю вас?».

Те, которых спрашивали, тихо бледнели и хватались за сердце. За бедное девятнадцатилетнее сердце, которое готово было разорваться от счастья, – простого, горячего, старого, любовного счастья. А она, маленькая женщина с малиновыми губами, запрокидывала голову и спрашивала наивно и лукаво:

– Скажите, скажите, почему никогда не надоедает говорить: «Мой милый, мой самый, самый милый?..».

2

Это была, конечно, очень глупая женщина. Потому что кто же не знает, что всему миру – и, в особенности, читателям романов и лирических стихотворений, – давно уже надоели любовные излияния.

– Опять! – говорит господин, у которого прекрасная библиотека и диплом мукомола, – опять эти соловьиные трели... – И с досадой бросает на стол тонкий томик с чёрной розой и веером на обложке... – В миллион первый раз! – возмущённо восклицает он и идёт под душ Шарко.

Опросите всех ваших соседей. Опросите всех ваших друзей, опросите весь город или, по крайней мере, всех умников города, и я уверен, что девяносто девять человек из ста скажут:

– Маленькая поэтическая женщина наивна. Она страшно ординарна и консервативна. Она топчется на захоженной большой дороге.

– А мукомол с дипломом?

А мукомол – умница и человек культурный. Он знает настоящую цену романтической рухляди. Он враг шаблонов, он... Так скажут девяносто девять из ста умников города. Я поэтому последую примеру маленькой наивной женщины.

3

Я последую примеру этого милого, свежего существа, которому никогда не надоедают вечно-новые и вечно-сладкие слова любви. И расскажу вам о том, что так же старо, как любовь, и так же прекрасно, как сонет Петрарки, что так же знакомо, как поцелуй – Жуану, и всегда неожиданно, и всегда необычно. <...> Я расскажу вам, нет, не о любви, а о Париже. Просто о Париже – <...> просто о парижских камнях, женщинах, кошках, цветах, оконных витринах и облаках. <...>

4

<...> ...Недавно, в тёплый и тихий, и вкрадчиво ласковый апрельский вечер я шёл по Люксембургскому саду. Впереди себя я увидел тоненькую маленькую фигурку, такую гибкую и такую изящную, какие бывают только у парижских девушек. В тёмной сини вечерних сумерек я различил мягкую черноту бархатного платья и яркую ослепительность белого боа. Девушка весело болтала с двумя высокими юношами. Когда я поравнялся с ней, я увидел длинную белую кошку, обвившуюся вокруг её шеи.

В этом году в Париже страшно в моде было blanc et noir. Ну и вот...

5

Вы видите, только молодые парижанки не боятся кошек. Или, вернее, боятся, боятся пуще старости, но храбрятся – ради прекрасной «Принцессы Модь». Ради той Владычицы, чьи скорпионы слаще тёмно-алых роз.



Конечно, и это не ново, – что мода царствует в Париже. Но всё же почему-то никто не написал до сих пор (у нас в России, по крайней мере) апологии этой великолепной царнице. Хуже того: едва ли не девять человек из десяти, из породы всё тех же высокоумных жизненных практиков, обладают вас обильным фонтаном презрительных слов, как только вы всерьёз заговорите с ними о дамской моде.

– Тряпки и разврат! Разврат и тряпки! – с упрямством и простодушьем дятла будут повторять они в ответ на все ваши доводы.

Но правы и умны, конечно, будут не они, а те немногочисленные чудаки, которые понимают, какие прекрасные достижения, какие радостные возможности заложены в моде – в парижской моде в особенности. Я не собираюсь писать здесь социально-психологических исследований, но, безусловно, следовало бы кому-нибудь заняться этим интересным вопросом: парижанка и мода. Мне кажется, это два живых существа, совершенно друг от друга не отделимых. И я решительно не понимаю, как это такой самородной, такой тонкой, такой умной, такой очаровательной, такой парижской парижанке, как Коллет Вилли, до сих пор не пришла в голову идея написать книгу о Модае.

Это была бы чудесная, восхитительная, душистая и одна из самых поэтических в мире книг. Это была бы книга, в которой душа современной из женщин была бы обнажена до дна.

Это была бы книга-сказка о самых ярких, горячих и самых тихих, и жемчужно-бледных, и изысканно-холодных красках; о линиях, таких пленительных, как очерк андрогинного рта, таких утомленно-длинных, как ноги берн-джонсовских муз, таких плавных и ломких, и гибких, и острых, и певучих, и пьяных, как аластеровские пунктиры; о декоративной фантазии, перед которой влюблённо немеет самый мечтательный вкус.

Но самое волнующее в этой глубоко и бесконечно-нужной книге было бы пронизывающее её ощущение сегодняшнего дня. Потому что, в самом деле, нет, кажется, ничего, что полнее, вернее, острее выразило бы современность, чем силуэт парижанки! Современность в самом огромном значении этого слова – со всеми изломами нашей беспорядочной культуры, со всем непостоянством, со всеми метаниями наших больных сердец, со всей пестротой нашей жизни, в которой восторг и скорбь плетут странный венок, пахнущий сладко, но ядовито. В этой книге рассказано было бы о том безумии, которое охватывает вас в пять часов дня на Больших бульварах, – когда вы стоите, прислонившись к старому каштану, и видите сон, нервный и опасный. Мчатся, сверкая медью фонарей и рыча сиренами, автомобили, красные колеса фиакров ведут быстрый хоровод, газетчики яростно бросают в солнечный воздух стеклянные осколки своих криков. И безвольно и улыбочиво побеждая Улицу, зажигая самые тусклые глаза и останавливая все сердца, мимо вас проходит парижанка. Вы бросаете на неё беглый взгляд – и мгновенно понимаете, что она – последний светозарный мазок на волшебном полотне нашей красивой жизни; что в ней сказано самое верное, самое искреннее, самое сильное слово нашей эстетической современности; что она – дневная явь наших вечерних грёз, магическое зеркало, в котором дрожат наши бреды, хрупкий титан, счастливый своим интимным очарованием.

Очень жаль и очень странно, что Коллет Вилли не написала ещё книги о себе. Это была бы книга, которая раскрыла бы самую душу Парижа, которая опьянила бы, как тонкий силуэт парижанки, одетый в blanc et noir.

Я хотел рассказать вам о парижских кошках, женщинах, оконных витринах, цветах, облаках и переулках. Но когда начинаешь говорить о Париже, стрелки часов останавливаются – и застывают. И решительно не замечаешь, как быстро тает время.

Я в следующий раз расскажу вам об остальном. Обо всех этих знакомых прелестных вещах, о которых никогда не надоедает слушать, – как о поцелуях маленькой женщины, у которой губы пахнут малиной, грехом и Парижем...

ВЕРА ИНБЕР

«СТАТЬ СМУГЛЕЙ КОФЕЙНОГО ЗЕРНА...»

Из раннего

ПЕТРОНИЙ

Неясный свет, и запах цикламены,
И тишина.
Рука, блее самой белой пены,
Обнажена.
На длинных пальцах ногти розоваты
И нет перстней.
Движенья кисти плавны и крылаты,
И свет на ней.
В руке дощечка, залитая воском,
В цветах – окно.
На мраморном столе, в сосуде плоском,
Блестит вино.
Зачем здесь я, в ночи и неодета,
И кто со мной?
Библиотека древнего поэта
Полна луной.
Я подхожу, дрожа, к столу со львами
И говорю:
«Привет тебе!.. Я не знакома с вами», –
И вся горю.
Склонившись в непривычном мне поклоне,
Я слышу смех.
Из непонятных слов одно – «Петроний» –
Яснее всех.
Далёкий век, другая жизнь и вера...
Я говорю:
«Я помешала. Ты читал Гомера
И ждал зарю...»
В саду вода лепечет монотонно,
Шуршит лоза.
Эстет и скептик смотрит удивлённо
В мои глаза.

1913

Из книги «Бренные слова» (Одесса, 1920)

Не то, что я жена и мать,
Поит души сухие нивы:
Мне нужно много тосковать,
Чтоб быть спокойной и счастливой.

Мне нужно, вставши поутру,
Такой изведать страх сердечный,
Как будто я сейчас умру
И не узнаю жизни вечной.

Но через миг опять жива,
В размере до сих пор не петом,
Смогу я бранные слова
Осеребрить нездешним светом.

июль 1917 г., Одесса

Мне не дано быть розой без шипов.
В густом снопе я лишь смиренный колос,
И растворяется мой слабый голос
Среди ему подобных голосов.
Но всё же я пою по мере сил,
Без гнева, не ища сокрытой цели,
Чтоб после смерти ангел не спросил:
– Где ты была, когда все пели?

Хорош воскресный день в порту весной:
Возня лебедек не терзает слуха,
На тёплом камне греется, как муха,
Рабочий, оглушённый тишиной.

Я радуюсь тому, что я одна,
Что я не влюблена и не любима,
Что не боюсь я солнцем быть палима
И стать смутлей кофейного зерна.

Что я могу присесть легко на тюк,
Вдыхать неуловимый запах чая,
Ни на один вопрос не отвечая,
Ничьих не пожимая нежно рук.

Что перед сном смогу я тихо петь,
Потом сомкну, как девственница, вежды,
И поутру нехитрые одежды
Никто не помешает мне надеть.

Лучи полудня тяжело пламенеют.
Вступаю в море, и в морской волне
Мои колена смутло розовеют,
Как яблоки в траве.

Дышу и растворяюсь в водном лоне,
Лежу на дне, как солнечный клубок,
И раковины алые ладоней
Врастают в неподатливый песок.

Дрожа и тая проплывают чёлны;
Как сладостно морское бытие.
Как твёрдые и медленные волны
Качают тело лёгкое моё.

Так протекает дивный час купанья.
И ставшему холодным, как луна,
Плечу приятны тёплые касанья
Нагретого полуднем полотна.

июль 1919 г., Константинополь

Бог повелел: явился лев и кролик,
И реки протекли на дне долин,
И год распался на двенадцать долек,
Как апельсин.

И шар земной медлительно свернулся,
Полустывший, в бездне бытия.
Бог повелел, быть может, улыбнулся,
И появилась я.

И вот живу. Вкушаю сон на ложе,
Хмелею в полдень, никну ввечеру.
Бог повелит, нахмурится, быть может,
И я умру.

март 1919 г., Одесса

Увы! На жизни склоне сердца всё пресыщённей,
И это очень жаль:
У маленького Джонни горячие ладони,
И зубы, как миндаль.

У маленького Джонни в улыбке, в жесте, в тоне
Так много острых чар.
И чтоб ни говорили о баре Пикаддили,
Но это славный бар.

Но ад ли это, рай ли, сигары и коктейли,
И кокаин подчас,
Разносит Джонни кроткий, а денди и кокотки
С него не сводят глаз.

Но Джонни – он спокоен. Никто не удостоен,
Невинен алый рот,
В зажжённом им пожаре в Пикадилли баре
Он холоден – как лёд.

Но хрупки льдины эти! Однажды на рассвете
Тоску ночей гоня,
От жажды умирая, в потоке горностая
Туда явилась я.

Бессонницей томима... Усталая от грима...
О возраст, полный гроз!
О жажда (ради Бога), любить ещё немного
И целовать до слёз

Кто угадает сроки! На табурет высокий
Я села у окна,
В почтительном поклоне ко мне склонился Джонни,
Я бросила: «Вина»,

С тех пор прошли недели, и мне уж надоели
И Джонни, и миндаль.
И выгнанный с позором, он нищим стал и вором...
И это очень жаль!

июнь 1918 г., Одесса

Он юнга. Родина его Марсель.
Он обожает ссоры, брань и драки.
Он курит трубку, пьёт крепчайший эль,
И любит девушку из Нагасаки.
У ней такая маленькая грудь,
На ней татуированные знаки...
Но вот уходит юнга в дальний путь,
Расставшись с девушкой из Нагасаки.
Но и в ночи, когда ревет гроза,
И лёжа в жаркие часы на баке,
Он вспоминает узкие глаза
И бредит девушкой из Нагасаки.
Янтарь, кораллы красные, как кровь,
И шёлковую кофту цвета хаки,
И дикую, и нежную любовь
Везёт он девушке из Нагасаки.
Приехал он. Спешит, едва дыша,
И узнает, что господин во фраке
Однажды вечером, наевшись гашиша,
Зарезал девушку из Нагасаки.

Рубрика подготовлена Алёной Яворской

«ЛИТМУЗЕЙ»

От редакции. В нынешнем номере «Южного Сияния» рубрика «ЛитМузей» приурочена к 150-летию со дня рождения известного фельетониста и журналиста Власа Дорошевича.

«КОРОЛЬ» И ЕГО СВИТА

...Ему приходилось работать в самой незащищенной области одесской жизни. В одесской журналистике!

В. Дорошевич

Влас Дорошевич приехал в Одессу в 1893 году начинающим журналистом, а уезжал из Одессы в 1898 году «Королем журналистов». За что же короновали его одесские газетчики и читатели, имеющие особый вкус к газетному слову, который начал воспитываться ещё с 1827 года, с момента выхода «Журналь д'Одесса», в скором времени переименованного в «Одесский вестник».

В конце XIX-го века газетный маховик Одессы раскручивается. Газетное дело вкупе с обилием рекламы становится делом прибыльным. Основная конкуренция за душу и кошелек одесского обывателя в это время развернулась между тремя одесскими газетами: «Новороссийский телеграф», «Одесский листок» и «Одесские новости». Каждая из этих трёх газет метила в передовые органы края, добиваясь этого всеми возможными средствами.

«Многострадальным одесским журналистам, – вспоминает редактор газеты «Одесский листок» А.Е. Кауфман, – приходилось выбирать темы для своих статей с большой опаской. Им разрешалось писать только о погоде, о внешней политике, о театральных зрелищах». Одесские цензоры были буквально завалены замечаниями по поводу нарушений со стороны одесских газет. Немало нареканий было и на старейшую одесскую газету «Одесский вестник».

«Одесский листок» вырос из незначительного «Одесского листка объявлений», который был основан в 1872 г. А. Серебрянниковым. В 1874 г. газету приобрёл Василий Васильевич Навроцкий и в 1880 г. сменил её название на «Одесский листок». Газета выходила ежедневно, имела иллюстрированное приложение, пользовалась в городе большой популярностью. Освещая местную и общероссийскую жизнь, «Одесский листок», будучи изданием, либеральным по духу, время от времени позволял себе помещать большие критические статьи на экономические и политические темы.

Влас Михайлович Дорошевич (5 [17] января 1865, Москва, Российская империя – 22 февраля 1922, Петроград, РСФСР) – русский журналист, публицист, театральный критик, один из известных фельетонистов конца XIX – начала XX века. Учился в нескольких московских гимназиях, откуда неоднократно исключался; гимназический курс завершил экстерном. Работу в газетах начал, ещё будучи учеником московской гимназии. Был репортером «Московского листка», «Петербургской газеты», писал юмористические заметки в «Будильнике». Известность его началась со времени работы в 1890-х годах в одесских газетах. В 1897 году Дорошевич предпринял путешествие на Восток. Издал книгу очерков о Сахалине и о Сахалинской каторге. С 1902 по 1917 годы редактировал газету И.Д. Сытина «Русское слово». В этот период издание стало самым читаемым и тиражным в Российской империи. Первая жена – актриса Клавдия Кручинина, работала в провинциальных театрах. Дочь от этого брака, Наталия Власовна Дорошевич (1905-1955) воспитывалась в Керченском девичьем институте, оставила «Воспоминания». Отец навещал дочь в Керчи. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.



Редактор-издатель «Одесского листка», Василий Васильевич Навроцкий, был «самородком в полном смысле этого слова», – как назвал его одесский писатель Игнатий Потапенко в посвящённом ему очерке – никогда ничему не учился, не умел грамотно писать, но зато обладал необходимыми энергией и издательской сноровкой. Около 40 лет он издавал газету и был её руководителем и вдохновителем. Навроцкий был первым одесским автолюбителем. Ещё в 1891 г. он удивил всех, выехав на улицу в автомобиле «Панкар – Левасор». Был очень предан своему делу и такой же преданности требовал от своих сотрудников. О неграмотности Навроцкого ходили легенды, которые приводят в своих воспоминаниях его современники. Вот несколько из них. Василий Васильевич, находя в газете неверное сообщение, делал на ней собственноручную отметку: – «чипуха и юрунда, штраф в три рубля». Один из одесских генерал-губернаторов, назначенный в то время, полюбопытствовал, где учились редакторы одесских газет. Редактор «Одесского вестника» сказал, что он окончил университет, редактор «Новороссийского телеграфа» сказал, что окончил строительное училище.

– А вы? – обратился генерал-губернатор к Навроцкому, – где кончили?

– В Полтавской губернии, – был ответ.

Одному из своих фельетонистов он рекомендовал однажды отметить заслуги старейшего присяжного поверенного:

– Вы так и пишете, – он был «ветеринаром» сословия присяжных поверенных.

Ко времени приезда в 1893 г. столичного журналиста, 29-летнего Власа Дорошевича, Одесса представляла собой крупный капиталистический город, – одеситы без ложной скромности считали, что живут в столице России и даже всего мира. «Маленький Париж» – так называли они свой город. Главным девизом Одессы было: «Деньги могут все!». И сама она была «городом – маклером», занимавшимся главным образом экспортом пшеницы.

В Одессе в то время выходили кроме «Одесского листка», «Одесских новостей», «Новороссийского телеграфа» ещё четыре крупных газеты: «Одесский вестник», «Одесская газета», «Южное обозрение» и «Театр». В 1894 г. «Одесский вестник» прекратил своё существование.

Развитие капиталистического хозяйства требовало развития службы информации в виде торгово-промышленной рекламы, вследствие чего укреплялось материальное положение хилых местных изданий. Становится обязательным подзаголовок «Общественная, политическая и литературная».

Мелкую хронику начинают теснить большие экономические, политические и литературные «обозрения». Заветной мечтой издателя провинциальной газеты было, как уже говорилось выше, подмяв конкурентов, сделать её «органом края». Во имя этой мечты издатель мог пойти на многое, вплоть до приглашения известного столичного фельетониста, которому помимо твёрдого гонорара обещалась определённая творческая свобода. Именно так и поступил В.В. Навроцкий, пригласив в «Одесский листок» Власа Дорошевича.

«Одесский листок» по своему культурному уровню был выше остальных одесских изданий. Газета позволяла себе критику грабительской экономической деятельности иностранных и русских промышленников на юге. «Одесский листок» выступал за разрешение преподавания в школах Украины на родном языке. К моменту прихода Дорошевича газета издавалась уже 13-ый год и завоевала определённую популярность не только в Одессе, но и на всём юге России. Воскресный фельетон вёл блестящий журналист Семён Титович Герцо-Виноградский (Барон Икс), печатались стихи Л. Ратгауза и рассказы С. Юшкевича, статьи известного музыковеда В. Ребикова и популярного одесского адвоката Л. Куперника. В 90-е гг. в газете сотрудничали такие столичные литераторы, как А. Амфитеатров, Л. Оболенский, В. Минаев, В. Чуйко, Г. Градовский, И. Василевский (Буква).

Буква, как и Дорошевич, был московским журналистом, редактором журнала «Стрекоза». В газете «Одесский листок» он вёл провинциальное обозрение. И.Ф. Василевский был большим знатоком провинции. «И провинция хорошо знала Букву и zelo его побаивалась», – вспоминал А.Е. Кауфман. Но газета имела особенный успех, когда в ней ежедневно начали печататься фельетоны В. Дорошевича. Барон Икс (Герцо-Виноградский) – признанный патриарх одесских фельетонистов заявил: «Вот это мой наследник. Только я был барон, а он станет королём».

Барон Икс был широко известен в одесской культурной жизни тех лет, как журналист, литературный и театральный критик. Двадцать пять лет он отдал своему делу, проработав все эти годы в различных одесских периодических изданиях, таких как «Одесский вестник», «Новороссийский телеграф», «Правда», «Одесские новости», «Одесский листок», сатирический журнал «Пчёлка» и т.д. Трудно переоценить его роль для одесской читающей публики того времени. Фельетоны Барона Икса были для газеты «основным

блюдом», которое придавало необходимые вкус и остроту. Вот почему за Семёном Титовичем так гнались газетные издатели. Переманить Барона Икса – это была *idée fixe* каждого издателя.

Пожалуй, не было в Одессе человека, который не хранил бы у себя дома газетных вырезок с его фельетонами. Ежедневно он получал массу писем. У него искал защиты простой народ, обращаясь к нему с жалобами. На конвертах чаще всего было написано: «Его сиятельству, барону Герцо-Виноградскому». В своё время вокруг него группировалась вся передовая одесская интеллигенция. На его фельетонах воспитывалась молодёжь, для которой он был кумиром. «Иеремией развратной Ниневи, города, где всё продается и всё покупается...», – назвал Барона Икса Дорошевич в посвящённом ему очерке. Дом его в конце Херсонской улицы, напротив городской больницы, всегда был полон народу: друзей и поклонников. В своё время там бывал и Влас Дорошевич, а также такие видные представители печатного слова, как А. Попандопуло, В. Стефановский, А. Бутович и мн. др.

Если Дорошевича называли «Королем журналистов», то Барона Икса называли «Королём одесских журналистов». Его обличительные, бичующие общественные пороки публикации вызвали ненависть к нему со стороны официальной журналистики. Новороссийский историограф А.А. Скальковский, например, называл Барона Икса «исчадьем ада, порождённым на гибель славного края». Известно, что в конце 70-х гг. Герцо-Виноградский сблизился с одесскими революционными кружками, был обвинён в связях с народниками. Даже был выслан из Одессы и какое-то время сидел в Мценской тюрьме. В 1881 г. журналист вернулся в Одессу и продолжил свою работу в одесских печатных изданиях.

В 70-80-х гг. Герцо-Виноградский не имел себе соперников в провинции, «да и в столицах, – пишет А.Е. Кауфман, – мало было подобных ему: лёгкость пера, редкое остроумие, язвительность делали то, что Барон Икс мог или поставить на пьедестал, или убить и лишить гражданства. Одни его боялись, другие раболепствовали, многие ненавидели. Не было такой театральной труппы, представители которой, прежде чем начать представление, не явились бы к Герцо-Виноградскому и не предложили бы в его распоряжение лучшие места в театре».

Более всего Барон Икс боялся умереть от паралича, но умер он именно от него, тяжело заболев в начале 90-х гг. Постепенно отказывал мозг, и к концу жизни журналист не мог написать даже коротенькой заметки в несколько строк. Свою литературную деятельность Барон Икс окончил в «Одесском листке», уйдя из газеты в 1897 г. Его уход из «Одесского листка» является иллюстрацией вопиющей несправедливости судьбы. Он заложил фундамент материального успеха «Одесского листка», но затем оказался лишним человеком в возведённом им же здании.

Отношение читателей к его личности выразили наборщики «Одесского листка» в адресе по случаю 25-летнего юбилея журналистской деятельности Барона Икса: «Сеятель на литературной ниве правды, добра и любви к малым сим». А на праздновании юбилея звучали стихи:

*«Рыцарь дела, рыцарь слова
и борец за идеал!
Много честного, святого
в четверть века ты создал».*

Не менее известно в Одессе было имя младшего брата Семёна Титовича – Петра Титовича Герцо-Виноградского, писавшего под псевдонимом Лоэнгрин. Дебютировал в печати как фельетонист в 1889 г. в газете «Одесские новости», затем регулярно печатался в «Одесском вестнике» и «Южном обозрении». В «Одесских новостях» Лоэнгрин со временем вошёл как бы в «совет старейшин», в котором кроме него были ещё О.А. Инбер и С. Соколовский (Седой), и который сплотился вокруг «деспота-редактора» И. Хейфеца. О Лоэнгрине его современник Дон-Аминадо (Аминодав Пейсахович Шполянский) писал, например, так: «избравший себе совершенно немислимый в наше время псевдоним – Лоэнгрин и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма». Из этих слов можно сделать вывод, что Лоэнгрин в популярности среди одесситов конечно же уступал своему старшему брату – Барону Иксу, но всё же мы можем утверждать, что Петр Титович Герцо-Виноградский занимал заметное место в одесской журналистике того времени.

Высоко отзывался о братьях Герцо-Виноградских их современник журналист Петр Пильский: «... Как было бы хорошо, если бы Одессе когда-нибудь впоследствии судьба послала бы нового Де-Рибаса! Этот новый летописец сумел бы написать страницу одесской истории, чтобы озаглавить её “Герцо-Виноградские”».



В России есть такие фамилии, есть имена, с которыми связано красивое представление о смелости, о защите, об огне, о готовности на смерть...

В журналистике, в частности одесской, есть Герцо-Виноградские. Барон Икс и Лоэнгрин...».

Дон-Аминадо называл Лоэнгрин «прелестным, душевным, сильно напоминающим чеховского Гаева» человеком и отмечал, что он пользовался большой популярностью и любовью. Петр Титович обладал прекрасной памятью и страстью к цитированию и, как говорил Бунин, знал наизусть «где какие люди живут и за какие идеалы страдают». Лоэнгрину патетически писали курсистки высших женских курсов: «Научите, как жить...».

Самым популярным в Одессе журналистом после Дорошевича назвал его О.Л. д'Ор.

О.Л. д'Ор – псевдоним Иосифа Львовича Оршера (1878-1942). Родился на Полтавщине. Печатался в петербургских газетах и журналах, но известность ему принесли рассказы, фельетоны и пародии, опубликованные в «Сатириконе», «Новом Сатириконе» и в книгах «Рыбьи пляски», «О сереньких людях», «Смех среди руин», «Муза с барабаном» и др. Перу И.Л. Оршера принадлежит глава «Русская история» в книге «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”». В 1918 г. редактировал один из первых советских сатирических журналов – «Гильотина». В 20-х годах печатался в журналах «Красный ворон», «Красный перец», «Бегемот», «Смехач». В 1930-х гг. выпустил книгу воспоминаний «Литературный путь дореволюционного журналиста» и роман «Яков Маркович Меламедов». Умер в Ленинграде 19 февраля 1942 г..

И несомненное влияние на Лоэнгрин оказало пребывание в Одессе столичного журналиста. Фигуру Герцо-Виноградского и его фельетоны, написанные «короткими рублеными строками, односложными абзацами а-ля Влас Дорошевич», вспоминал В.П. Катаев в «Граве забвения».

Но вернёмся к нашему герою. Когда в «Одесском листке» появился первый фельетон Дорошевича «За неделю», в котором он, в присущей ему резкой манере излагал всё, что увидел в Одессе за неделю своего пребывания, то реакция прогрессивной общественности Одессы и градоначальника Зеленого была прямо противоположной. Представители одесской интеллигенции высказались так: «Новое, свежее, остроумное слово...». «Возмутительная иронизация деятельности одесского городского головы, тайного советника Маразли», – строчил донесение в Главное управление по делам печати тогдашний одесский градоначальник Зеленой. «Разделал Маразли так, что гул пошёл по Одессе», – писал В.Г. Короленко в своем дневнике.

В своём фельетоне В. Дорошевич сравнил Маразли с Периклом – «городским головою» столицы Греции – Афин. При Перикле «Афины, правда, немножко задолжались, но зато украсились массой превосходных зданий, в которых жители и запирались от кредиторов». Автор «восхвалял» щедрость Перикла, пожертвовавшего городу «Илиаду» Гомера, благодаря чему появилась Афинская городская публичная библиотека.

Увидел также Дорошевич, с каким шиком отмечает свой день рождения Маразли. После первой недели своего пребывания в Одессе Дорошевич дал городу весьма язвительную характеристику: «...ближайшая станция от Одессы называется “Выгодой”, таким образом, вся Одесса принуждена жить около “Выгоды”».

После выхода фельетона в «Одесском листке» цензор Гилевич был смещён. «...Я отправляю предписание одесскому комитету устранить его от просмотра «Одесского листка» – писал начальник Главного управления по делам печати. А редактору-издателю газеты В.В. Навроцкому и автору возмутительного фельетона было сделано «строгое внушение», причём Дорошевичу было предложено в течение 24-х часов покинуть пределы одесского градоначальства. На «Одесский листок» местными властями был наложен огромный штраф.

Это и было именно то, чего добивался В.В. Навроцкий! Тираж газеты подскакивает фантастически. Прибыль от продажи газеты перекрыла размеры штрафов, а также высоких гонораров и премиальных Дорошевичу. Вся Одесса читала «Одесский листок»! При редакции даже была читальня, где каждый одессит мог ознакомиться со свежим номером газеты.

Имя Дорошевича, не успев появиться, исчезло со страниц «Одесского листка». Но появилось новое – Фигаро. Под таким псевдонимом Влас Михайлович продолжал писать в «Одесском листке» из Петербурга. В течение десяти лет сотрудничества Дорошевича с газетой хлёсткие строки из его фельетонов можно было услышать везде: на улице, в театре, на пляже, в кафе, в трамвае...

Вскоре Фигаро поздравил одесситов с новым 1894 годом. В новогоднем фельетоне были процитированы стихи Пушкина, посвящённые Одессе. Но было замечено, что вместо «корсара в отставке Морали» по улицам нашего города ходил «корсар в отставке Маразли». Навроцкий честным словом заверил, что это произошло без ведома его и автора. Но в этом факте цензор усмотрел намеренное последовательное глумление над одесским городским головою. И опять Навроцкому было сделано «строгое внушение».

Со своей стороны он дал честное слово, что им «приняты все меры для предупреждения впредь подобного рода печатных ошибок».

По возвращении своём в Одессу в мае 1894 г. Дорошевич становится её кумиром. Особенно выросла его популярность после выхода в свет сатирических поэм «Кому в Одессе жить хорошо», «Пир на весь мир», а также сборника фельетонов «Одесса, одесситы и одесситки».

«Одесса напоминает пароход с отлично выкрашенной палубой, но безо всяких приспособлений для пользы своих пассажиров», – писал Дорошевич в одном из фельетонов 1894 года. А в поэме «Пир на весь мир» есть такие слова о жизни в Одессе:

*Кругом вопят все голодом,
От пыли задыхаются,
За мясо, хлеб втридорога
Платить всем нам приходится.
Управе ж наплевать.*

В 1897 г. «Одесский листок» командировывает Дорошевича на Сахалин.

Возвратившись из этой поездки, журналист продолжает работать в «Одесском листке», но условия сотрудничества стали тяготить его. «Из 7 фельетонов в неделю – у меня 6 о театре. Ни о чём другом писать нельзя», – жаловался он друзьям.

В мае 1899 г. Влас Михайлович уехал из Одессы. Официально – «в отпуск». О том, что он покидает наш город навсегда, знали лишь два ближайших его друга, и тем не менее, покидал он его королём – «Королём журналистов»!

*Анна Божко,
Ведущий научный сотрудник
Одесского литературного музея*

ВЛАС ДОРОШЕВИЧ

ОДЕССКИЙ ЯЗЫК

лекция на степень доктора филологических наук

– Чашка кофе!
– С молока или без молока?
– Без никому!

Из разговоров в одесской кофейне

Милостивые государыни и милостивые государи!..

Виноват!

В Одессе нет ничего милостивого: –

Ни милостивых государей, ни милостивых государынь.

Этот маленький Париж населён исключительно *monsieur`ами* и *madam`ами*.

В этом городе не говорят иначе, как *monsieur* и *madame*.

Les odessites sont plus parisiens, que les parisiens memes.

Или как это следует сказать на одесском языке:

“*Messieurs les odessites sont plus messieurs les parisiens, que messieurs les parisiens memes*”.

– *Monsieur* мой муж!

– *Madame* моя жена!

– Я хочу новую шляпку, *monsieur* Икс!

– Но разве *madame* Икс не знает, что цены на пшеницу вовсе не таковы, чтобы покупать новые шляпки?



– Madame Икс нет никакого дела до цен на пшеницу. Если monsieur Икс женился, он должен покупать своей жене, madame Икс, новые шляпки.

– Madame Икс говорит глупости!

– Monsieur Икс изверг! Monsieur Икс тиран! Monsieur Икс негодяй!

– А madame Икс просто-напросто дура!

Какая тонкость обращения!

Даже, пуская мужу в голову суповой миской, здесь говорят:

– Monsieur Икс – величайшая бестия в свете.

Оборот фраз, бесспорно, заимствованный из индейского.

Так же точно говорят дикари южной Америки.

– Чего хочет краснокожая жена воина Лисий хвост?

– Краснокожая жена его хочет продеть в нос новую рыбную кость.

– Язык краснокожей женщины говорит глупости. Разве не знает краснокожая женщина, что бледнолицые собаки выловили всю рыбу в Великой реке?

– Краснокожей жене воина нет до этого ни малейшего дела. Зачем же тогда женился краснокожий воин и клялся хвостом коровы перед лицом великого духа заботиться о своей краснокожей жене. Краснокожая женщина несчастна! Ах, как краснокожая женщина несчастна!

– Если краснокожая жена моя не перестанет своим краснокожим языком говорить глупости, – я сниму с неё скальп.

– Краснокожий воин сам глуп! Он снял с краснокожей женщины голову и теперь грозит снять волосы!

– Краснокожая женщина глупа, как хвост собаки!

– Воин не умнее лошадиного копыта!

– Как видите, совсем разговоры краснокожих с добавлением “monsieur” и “madame”.

В Одессе вы через два месяца забудете, как вас зовут по имени и отчеству, и когда вас кто-нибудь спросит: «Как поживаете, Иван Иванович?», – вы будете чрезвычайно удивлены:

– Кто этот Иван Иванович?!

Я не знаю, как разговаривали между собой маркизы времён Людовика XIV. Но навряд ли тоныше!

Здесь говорят друг с другом в третьем лице, и вас спрашивают в гостях:

– Не хочет ли monsieur Иванов чаю?

Первое время вы недоумеваете, кто этот «monsieur Иванов», о котором вас спрашивают, и пожимаете плечами:

– А Бог его знает!

Только по улыбающимся лицам остальных вы догадываетесь, что речь идет о вас:

– Ах! Ведь это я monsieur Иванов! О, monsieur Иванов очень, очень хочет чаю, madame хозяйка дома!

На вас смотрят с сожалением: «Вот бедняга, который ещё не понимает тонкостей одесского обращения!»

Но через две недели, как уже сказано выше, вы сами позабудете ваше имя и отчество. Гарантируется!

Вы сами начнете говорить:

– На этом вечере были: моя жена madame Иванова, мой сын monsieur Иванов, мой брат monsieur Иванов и я сам – тоже monsieur Иванов!

В Одессе всякая, кто носит юбку, непременно “madame”. И даже messieurs, продающие на Греческом базаре скумбрию и баклажаны, кричат:

– Madame кухарка! Madame кухарка! Пожалуйста к нам!

Эта тонкость обращения доведена до того, что даже простонародье, обвиняя друг друга в драке, говорит друг о друге не иначе, как “monsieur” и “madame”.

– Мосье мировой судья, вот мосье Петров оттаскал меня на рынке за волосы. Спросите мосье городского.

– Да, мусье мировой судья, но мадам Сидорова сама первая ударила меня камбалой по лицу. Спросите мусье дворника.

– Образованные мосье так не поступают!

– Но и образованные мадамы камбалой не дерутся!

Этот пшеничный город вместе с тем удивительно галантерейный город. Словом, если вы хотите быть вполне-вполне просвещенными одесситами, вы должны на улице звать:

– Monsieur извозчик!

Итак, messieurs и mesdames!

Приступая к лекции об одесском языке, этом восьмом чуде в свете, мы прежде всего должны определить, что такое язык.

«Язык дан человеку, чтоб скрывать свои мысли», – говорят дипломаты. «Язык дан человеку, чтоб говорить глупости», – утверждают философы. Способность речи дана только человеку, и это делает его невыносимейшим из всех животных. Одесситу язык дан, чтобы сплетничать.

Перечисляя все заслуги города, сумевшего за сто лет вырасти из маленького Хаджибея в большие Тетюши, – позабыли одну из его главных заслуг. Он сумел составить собственный язык.

Гейне говорит, что чёрт, желая создать английский язык, взял все языки, пережевал и выплюнул.

Мы не знаем, как был создан одесский язык. Но в нём вы найдете по кусочку любого языка. Это даже не язык, это винегрет из языка. Северяне, приезжая в Одессу, утверждают, будто одесситы говорят на каком-то «китайском языке». Это не совсем верно. Одесситы говорят, скорее, на «китайско-японском языке». Тут – чего хочешь, того и просишь. И мы удивляемся, как ни один предприимчивый издатель не выпустил до сих пор в свет «Самоучитель одесского языка», на пользу приедем.

Без знания одесского языка тут вас ждет масса водевильных недоразумений и чисто опереточных qui pro quo.

– Советую вам познакомиться с monsieur Игрек: он всегда готов занять денег!

– Позвольте! Но что ж тут хорошего? Человек, который занимает деньги!

– Как! Человек, который занимает деньги? Это такой милый, любезный...

– Ничего не вижу в этом ни милого, ни любезного.

– Это такой почтенный человек. Его за это любит и уважает весь город.

«Чёрт возьми! – думаете вы, – как, однако, здесь легко прослыть почтенным. Начну-ка и я занимать направо и налево, – чтоб меня любил и уважал весь город!».

Но при первой же попытке «занять» вы поймёте ошибку. Везде занимать – значит «занимать», т.е. брать займы. И только в Одессе «занять» значит «дать займы».

– Я занял ему сто рублей.

– Я занял ему двести рублей.

– Я занял ему тысячу рублей.

Впрочем, это говорится редко: здесь теперь никто не «занимает», потому что никто не отдает.

– Monsieur не скучает за театром?

– Зачем же я должен скучать непременно за театром? Я скучаю дома.

– Как monsieur не скучает за театром? А мы все ужасно скучаем за театром!

Вы удивлены, потому что за театром в Одессе находится «Северная гостиница», где далеко не скучают. Но здесь не говорят: скучать «о чём-нибудь», скучать «по чём-нибудь». На одесском воляпоке скучают обязательно «за чем-нибудь». Публика скучает «за театром», продавцы «за покупателями», жены «скучают за мужьями». Последнее, впрочем, здесь случается редко.

А чудное одесское выражение: «говорить за кого-нибудь»! Вы будете страшно изумлены, когда услышите, что:

– Monsieur прокурор чудно говорил за этого мошенника.

«Вот добрый город, – подумаете вы, – где даже прокуроры говорят за обвиняемых».

Но в одесском языке, – извините, – не существует предлога «о». Здесь не говорят «о чём-нибудь», – здесь говорят «за что-нибудь». И если о вас скажут, что вы растратчик, обольститель невинных созданий, убили родную мать и съели двоюродную тётку, – то это всё-таки будет значить, что говорят «за» вас.

– «Merci за такое «за». Что же здесь, в таком случае, значит говорить «против»?

– Ах, я ужасно смеялась с него!

– Как?!

– Я смеялась с него. Что же тут удивительного? Он такой смешной!

– Да, но, всё-таки, смеяться «с него»? Можно смеяться над кем-нибудь, но смеяться «с кого»!

– В Одессе всегда смеются с кого-нибудь.

Г-да фельетонисты здесь очень много смеются, например, «с городской управы», но с городской управы это как с гуся вода. Может быть, отсюда и взят этот предлог «с»!

– Вообразите, – говорят вам, – я вчера сам обедал!

«Чёрт возьми, – думаете вы, – неужели этот город так богат, что здесь даже обедают через адвоката!».

– Я сама хожу гулять.

– Да, madame, но вы уж, кажется, в таком возрасте, что пора ходить «самой»!



Впрочем, иногда, для ясности, messieurs одесситы бывают так любезны, что прибавляют:

– Сам один!

Но это только снисходительность к приезжим, не понимающим ещё всех тонкостей одесского языка.

Затем, вы услышите здесь несуществующий ни в одном из европейских и азиатских языков глагол «ложить». Везде детей «кладут спать», – и только в Одессе их «ложат спать». Вероятно, так одесским детям удобнее.

– Я ложила детей спать и приехала сюда, потому что скучаю за театром! – с обворожительной улыбкой говорит одесситка. Впрочем, она может сказать и иначе:

– Потому что я соскучила за театром!

Это превосходный одесский глагол.

Я соскучил, ты соскучил, он соскучил, мы соскучили, вы соскучили, они соскучили.

Впрочем, одесский язык не признает ни спряжений, ни склонений, ни согласований, – ничего! Это язык настоящих болтунов, – язык свободный, как ветер. Язык без костей.

Вы приказываете вашему человеку подать визитку. Он отвечает:

– Никак невозможно. На нём мусор стоит!

В переводе с одесского на человеческий, это значит, что «на ней пыль лежит». «Стоит» вместо «лежит», «мусор» вместо «пыль», и «на нём», – когда речь о визитке!

Что же после этого удивительного, что даже наиболее солидные одесситы часто возвращаются домой «через форточку». На севере «через форточку» входят в дом только воры, – и это отлично предусмотрено уложением о наказаниях. А здесь даже дамы возвращаются домой «через форточку». Это при их-то туалетах и запорожских шароварах, которые они надевают на руки!

Вы, конечно, будете страшно удивлены, когда вам скажут в гостинице:

– Вы, monsieur, когда придёте поздно, – пройдите через форточку. У нас ворота заперты.

Вам рисуется страшная картина:

Ночь. Никого. Вы подставляете лестницу. Лезете в форточку. Свистки. Городовой. Участок.

Но успокойтесь! Здесь «форточкой» зовут «калитку». Точно так же, как «дурным» зовут «глупого».

Когда вам говорят:

– Это дурная девушка.

Не спешите отказываться от сделанного ей предложения. Это не значит много плохого, – это значит только, что она глупая. Разве в жене это недостаток?!

Чтоб говорить по-одесски, вы должны знать, что такое «хвостит» и «телепается».

Увидав, что у дамы готова слететь шляпа, вы должны сказать:

– Madame, придержите вашу шляпу, она телепается.

На что она ответит вам с очаровательнейшей в мире улыбкой:

– Merci вам, monsieur. Это оттого, что на дворе сильно хвостит.

«Хвостит» – значит «дует», «телепается» – «колышется», а «на дворе» – значит «на улице».

Здесь смело говорят:

– Я ещё не ходила сегодня на двор.

И это значит только, что она не была ещё сегодня на улице.

«Не имела гулять».

О, добрые немцы, которые принесли в Одессу секрет великолепного приготовления колбас и глагол «иметь».

– Я имею гулять.

– Ты имеешь смеяться.

– Он имеет соскучить.

– Мы имеем кушать.

– Вы не имеете кушать.

– Они имеют говорить глупости.

В Одессе все «имеют»... кроме денег.

Когда вас спрашивают:

– С чем monsieur хочет чай: со сливками или с лимоном?

Вы обязательно должны ответить с любезной улыбкой:

– Без ничего!

Везде чай пьют «безо всего», но в Одессе не поймут этого выражения. По-одесски пьют «без ничего».



Кроме того, вы должны говорить «туда и сюда», чтоб не быть осмеянным, если скажете «туда и сюда».

– Monsieur куда идёт? В театр или в цирк?

Обязательно надо сказать:

– И тудою, и судою!

Конечно, если вы не хотите, чтоб за ваше «и туда, и сюда» над вами не посмеялись, как над невеждой, не знающим русского языка!

Тонкая деликатность обращения не позволяет одесситу сказать даже такое, в сущности, невинное слово, как «сосиски» или «колбаса». Всюду эти слова говорят даже при барышнях-невестах. А в Одессе вам предлагают в начале ужина:

– Не хочет ли monsieur немножко сосиссонов?

И в конце:

– А не хочет ли monsieur кусочек фромажа?

– Мы ужинали вчера сосиссонами и фромажем.

Даже ещё лучше сказать:

– Мы сушировали вчера сосиссонами и фромажем.

Это будет уже совсем, говоря по-одесски, «что-нибудь особенное». Точно так же, как деликатнее сказать «динировали», а не обедали. Ведь пишут же здесь, что «артист бисировал свою арию». Если можно «бисировать», отчего нельзя «динировать»? Это в тысячу раз деликатнее, чем «обедать», и гораздо более идёт к городу, где никто не «ест», а «кушает»! Даже рабочий на эстакаде «кушает» тухлую селёдку.

Таков этот одесский язык, как колбаса, начинённый языками всего мира, приготовленный по-гречески, но с польским соусом.

И одесситы при всем этом уверяют, будто они говорят «по-русски».

Нигде так не врут, как в Одессе!

Я мог бы ещё дальше продолжать свои исследования об этом чудном языке, но боюсь, что messieurs и mesdames уже соскучили за тем, что я долго говорю за одесский язык, обязательно начнут с меня смеяться и, видя, что от моей лекции некуда деваться ни тудою, ни судою, удерут в форточку, а я буду иметь остаться сам, без никого!

«ШШКАФ»

ЕЛЕНА КОРОБКИНА

ФОРМАТ ОТ «Я»

Текст современного автора, как вещь в себе, сочленяет множество сложноподчиненных уровнейвязью ассоциативной. Авторские аллюзии в формате вещи в себе – в авторском тексте – порой бывают доступны только авторскому прочтению.

Формат от «Я» предполагает процесс возврата к тому творческому состоянию, в котором создавался текст.

«Творить – значит жить дважды», – писал Альбер Камю.

Формат от самого себя интересен вовлеченностью автора в процесс, процесс возвращения в текст. Это акт сопряжения в диалог автора и его творческого «Я», быть может, его творческого альтер-эго, способностью создавать максимальную амплитуду интерактивных сочленений с множеством предшествующих состояний-сообщений. Этот интерактивный дискурс автора со своим альтер-эго, комментирующим ассоциативные аллюзии творца, переходит в новый формат текста, органически сопряжённым с первоначальным текстом в единую семантическую структуру.

Степень взаимодействия элементов нового текста обуславливается степенью отклика разнородных множеств, сходящихся в дискурсивные ряды. В новом формате заложена и обыгрывается сама возможность диалога между сходными мифологемами из различных мифологических структур.

Сложная степень интерактивности превращает первоначальный текст во фрагмент самого себя. Знание и опыт в процессе написания этого изначального текста настолько внутренне, переплавляясь, концентрируются, превращаясь в вещь в себе.

Текст как вещь в себе становится не познаваем для читателей, поэтому автор возвращается в текст, в процесс его написания.

Максимальная концентрация на нюансах текста выявляет в сознании их многообразность. Каждая аллюзия превращается в отдельную историю. Эти истории не вплетаются в формат текста, но их необходимо рассказать, чтобы выявить для читателей вещь в себе, сделать её познаваемой и узнаваемой.

И тогда качественно изменяется формат.

ВИРД ОНУФРИЯ

*Неумалимых сестёр труд
Урд, Верданди, Скульд,
в перекрёсток богов свит
белый непознанный вирд.
Урд, есть страница одна,
поле Акелдама,
старец в земле спит,
пост его труд, вирд.*

*Скульд, есть одна цена,
кровь его, Акелдама.
Страннопримный народ
проклял Искарлот,
снят приговор, разбит
силой его молитв,
вирдом любви ценна,
кровь его – Акелдама.*

В шекспировском «Макбете» мы встречаем сестёр вирда. Так именуются норны в англосаксонской традиции. Три норны символизируют три аспекта времени: прошлое, настоящее, будущее. Старшая из норн Урд, владычица прошлого. Средняя Верданди, повелевает настоящим. Младшая Скульд, ведающая будущим, иногда сопровождает валькирий, чтобы выбрать воинов, павших в бою. Слово *nyrd* связано с именем «Урд», означающим «истоки» и с именем «Верданди», означающим «становление». Третья норна, Скульд, – носительница смерти. Она близка богине смерти Хель. Урд, как первопричина, первоисток бытия, ещё и земля бытия «Эрда».

Древние германцы не воспринимали линейное время, не воспринимали хронологию времени в понятии судьбы, в понятии Вирд. Вирд, или Урд, – это «то, что есть», момент настоящего. Прошлое заведомо включалось в «здесь и сейчас», так как момент настоящего – результат всех событий прошлого. Будущее – вероятность, определяемая процессом существования, его форму определяет Вирд. Итак, Вирд включает в момент настоящего три величины: прошлое, настоящее, будущее, из них две: прошлое и будущее равно удалены от настоящего, и таким образом составляют с настоящим нелинейную систему времени – Вирд.

Вот как излагает древнегерманскую концепцию времени Квельдуйльв Гундарссон в книге «Наша Трот»:

«Они суть те великие, кто придаёт облик вирду миров; но величайшая из них – Вирд, ибо её силою питаются труды прочих двух. Во многих поверхностных текстах утверждается, будто норны – это “прошлое, настоящее и будущее”, но это неверно: германцам было присуще не тройственное представление о времени, как у греков и римлян (от которых унаследовала его и современная культура), а двойственное. Для наших северных предков существовало, с одной стороны, всеобъемлющее “то, что есть”, и самые древние, и самые юные слои которого принадлежали к одному и тому же времени и были в равной мере близки и реальны, а с другой – “то, что становится”, т.е. настоящий момент. Чувства будущего не существовало: пророчества, говорившие о том, что “может случиться”, понимались в буквальном смысле как изречения Вирд – как “то, что есть”, воспринятое с точки зрения мудрости, ведающей то, что должно возникнуть далее как следствие уже существующей причины».

Итак, мы видим, что магическая реализация будущего возможна в вариантах: в вирде становления настоящего возможен возврат к первоисточнику события – в прошлое. Возвращаясь к источнику времени, создающий вирд в момент настоящего имеет возможность изменить прошлое и создать одномоментно осуществляющуюся проекцию в будущее, равную по величине воздействию в прошлом.

Здесь мы можем провести параллель к подвигу Онуфрия – великого египетского отшельника.

Сохраняется предание о том, что Онуфрий Великий пришёл, поселился и провёл три года в посте и молитве в Акелдаме в Иерусалиме. Суть его подвига в Акелдаме различные источники поясняют по-разному. Одни кратко сообщают что он «отмолил Акелдаму у Бога», другие говорят что он «вымолил у Бога всех погребённых в Акелдаме».

Акелдама – согласно Новому Завету – участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искаротом от первосвященников за предательство Иисуса Христа. С тех пор вплоть до начала XIX века здесь бесплатно хоронили странников.

Египетский старец создавал вирд, изменивший прошлое как самой земли Акелдама, на которой лежало проклятие предательства Иуды Искарота, так и людей, преданных после смерти бесславной земле. Здесь можно ещё провести аналогию Скульд и Хель. Хель брала в свой мир тех, кто умер бесславной смертью. Погребённые в бесславной земле, в Акелдаме, странники невольно приравнивались к бесславно умершим. Их посмертная участь – удел проклятых проклятием Иуды.

Онуфрий, верша вирд молитвенного поста не по законам линейного времени, меняет лик земли Акелдама, возвращаясь к истоку события, в первопричину. Вирд снятия проклятия с земли и погребённых в ней невинных странников. Бесславно погребённые из царства Хель переходят под покровительство Скульд – событие, ставшее прошлым и отданное как факт прошлого в ведение богини смерти, переходит в нелинейном становлении вирда в удел Скульд, в удел ведающей будущим, как антитеза, меняясь, становится тезой в моменте настоящего и создает новый облик будущего.

В нелинейной парадигме времени вирд Онуфрия меняет облик земли Акелдама и облик погребённых в этой земле.



КЕЛЬТСКИЙ КРЕСТ

*Четырёх стихий перекрест,
явь уловлена в кельтский крест,
волком кружится горизонт,
размежеваны зной и ост.
Око Ватана – в колоколыж,
запечатаны мир и миф,
titi-tetoge – эгисхьялм,
для зевак Ра-огонь – напалм,
посвящением в перекрест,
тайной жречества – кельтский крест.*

Рассматривая кельтский крест как перекрёсток миров, перекрёсток неба и земли, перекрёсток четырёх стихий, стоит отметить, что один из колоколыж (кельтских крестов) – двенадцатиконечный крест с перекладиной на каждом луче – считается непревзойдённой защитой от внешних воздействий. Его также называют Шлемом Ужаса, представляя его как гальдрастав четырёх рун Альгиз Старшего Футарка. Руна Альгиз – руна защиты эгрегора, защиты Рода. Этот символ был распространён как в глубокой древности (есть этому археологические доказательства – много амулетов со шлемом ужаса было найдено на территориях скифов, мордвы, индоевропейских народов), так и в средневековье (им украшали стены домов и деревянные изделия, а также нередко использовался в церковной утвари). Самым мощным символом среди шлемов ужаса

является так называемый Эгисхьялм или Крест Непобедимости.

Под вторым корнем мирового дерева Иггдрасиль, эмблемы Вселенной в виде ясеня-исполина в представлении скандинавов, находится источник мудрости, возле которого живёт грозный великан Мимир, самый могучий из всех великанов, он стережёт воды источника и никому не даёт из него напиться. По легендам, Один отдал свой правый глаз, чтобы испить воды из этого источника.

Кельтский крест называли «крестом воина», «крестом Ватана» (Одина).

В этом контексте я использую *эгисхьялм* в значении оберега тайного знания о кельтском кресте. Каждый из кельтских крестов – солярный знак. Есть ещё версия, что слово «крест» происходит от славянского корня «крес» – огонь (сравните: «кресало» – инструмент для разжигания огня).

Один отдал свой правый глаз Мимиру – тетогe – память – за посвящение в тайное знание и за сохранение его из поколения в поколения в жреческом роду.

Эгисхьялм – ужас для непосвящённых, напалм, сжигающий всё при попытке вторжения, уничтожающий главное – память о себе и о своей принадлежности к Роду.

Здесь кельтский крест – сам как тайна скандинавского жречества – и защита от непосвящённых забвением тайны...

ПО ПУТИ ДРЕВНИХ БОГОВ

ЗМЕЕНОСЦЫ ПОСВЯЩЕНИЯ

*Путь змееносцев, длящийся в Крым,
не в Австралию штампом в паспорт:
«третий пол» – Пньым,
богом из пустоты, избранником
духа выжженного пути,
via combusta, переходящим в крик,
в шёпот гортани, сожжённой дымом
гари, курящейся молоком,
стелющейся белым облаком
по низкорослым травам яйлы.
Тот, кто встречает весну
в утренней дымке снов,
Тот, кто встречает сушь,
скользящую белой змеей
в белых каплях тумана
и в мареве росой написанных слов, –
змееносец посвящения.*

Елена Коро

Я помню свой сон об огромном белом змее, творце всех форм и сущей. Его движение кольцевыми ритмами поглощало формы мира, мимо меня неслись вещи и люди и растворялись бесследно – змей поглощал их. Огромный белый змей со скоростью струения множества путей-колец, едва различимой внутренним взором, поглощал вещи и формы. Мир приходил к своему концу.

Но где-то там, из точки невозврата, возникали новые формы, новые вещи и люди, возникал новый народ, народ змееносцев, змеев род.

И здесь я вспомнила о народе Рада, о старейшем Лоа Великом Змее, начале и конце всех вещей, о великом творце сущего, Дамбалла – отце всех Лоа.

Язык питона Данбалгве – сакральный язык вуду. Если Дамбалла овладевает человеком, он начинает шипеть и ползать как змея.

Согласно вудуистскому мифу о творении, Дамбалла создал все воды Земли. Движение его семи

тысяч колец образовало горы и долины Земли, а также звёзды и планеты неба. Дамбалла выплавил металлы и послал на Землю стрелы-молнии, от ударов которых возникли священные камни и скалы. Когда Дамбалла сбросил свою кожу под солнцем, излив при этом воды на Землю, солнце засияло в воде и создало Аида-Ведо (Радугу). Дамбалла любил Радугу за её красоту и сделал её своей женой.

Аида-Ведо воплощается в небольшой змее (гораздо меньше Дамбаллы), которая живёт в основном в воде и питается бананами. Её яркую расцветку воспроизводит декор вудуистских храмов. Особенно старательно расписывают центральную колонну храма, которая представляет мировую ось и символически соединяет Небо, Землю и Нижний Мир. В тёмной своей ипостаси Аида Ведо – королева Ада.

А теперь вспомним предания о древнерусских богах. Богом-творцом древних русов являлся Сварог.

И вот мы сталкиваемся с древнерусским культом Творца, небесного огненного Змея Сварога. Этот культ существовал у древних русов и в мезолите. Из древнерусской мифологии мы также знаем, что супругой Сварога была богиня Лада. Она также

могла принимать зменное обличие и превращаться в дракона Ладона.

Нет ничего удивительного, что древние русы, ушедшие в мезолитические времена на восток, сохранили свои верования в небесного огненного змея Сварога и его супругу Ладу.

Пойдём несколько дальше по пути иерархии древнерусских богов-змеев. Согласно преданиям, древнерусский бог Змей Велес летает на перепончатых крыльях, умеет выдыхать огонь. Велес обладает волшебными гуслями и волшебю на них играет. Поэтому в Древней Руси Змея Велеса изображали вокруг обечайки гуслей кусающим свой хвост, что отражало бесконечность времени.

Итак, сакральный змеинный язык Дамбалла, семья богов-змеев древних русов, конечно же, этот ряд можно продолжать бесконечно и в древний Китай с его драконами.

Мы видим главное: мифы о древнем роде змеев, роде богов, роде тех, кто пришли на Землю за посвященными – за людьми-змеями, за людьми, посвящаемыми в древние техники, в древнюю магию, наделяемые силой и мощью древних богов. [...]

КРЕСТНИЦА ИМЕНИ

*Перекрестья имен – крестница –
линий, воплощённых в зенит, – Лилит;
белых лилий Гекаты – смертница,
асфodelью в Аид – имени путь открыт.
Перекрестьем Гекаты – Елены неизменно,
необратимо звенит – Manman Brigitte!*

Образ Смерти во времена Жана Кокто, возлюбленной поэтов, претерпел множество метаморфоз на пути исторического мифотворчества. Рассмотрим её тройственную ипостась в образе богини вудуистского пантеона Маман Бриджит.

Маман Бриджит – женская ипостась – или супруга – Барона Самеди – хозяйка кладбищ, воскрешающая умерших согласно вудуистскому мифу по истечении года пребывания малого доброго ангела – *ти бон анж* – в водах Плача.

Воскрешение это незаметно глазу человеческому, ибо мы видим в мифе метаморфозу претворения души в духа умершего, это очень тонкая и иерархически очень сильная метаморфоза, которой

удостанавливаются избранные души умерших.

Маман Бриджит благословляет таким образом воскрешённые души к вступлению в священную семью Геде, духов умерших, призванных для служения либо вудуистскому жречеству, либо живым людям. Сама же Маман Бриджит – удивительная тройственная богиня кельтского происхождения. Она же Геката – богиня подземного мира. Она же богиня поэзии, вдохновительница скальдов, она же исцеляющая живых и воскрешающая мёртвых. Она же Смерть и Возлюбленная Поэта. Она же моя Крестная, моя Покровительница.

На этом перекрёстке Маман Бриджит и Елены открываются пути от живых к мёртвым – и от мёртвых к живым. О пересечении путей живых людей и мёртвых мороков мой рассказ «Морок Мирмекия».

О том, насколько Смерть нежна, добра и мило-сердна, насколько Она мной любима и почитаема, вы не прочтёте в притче «Морок Мирмекия», эта любовь – отдельная история, поэма моего сердца, звучащая в унисон Её любви.



ЖАМЕВЮ ИЛИ ЖЕНЩИНА ВНУТРИ

«Женщина внутри

Спальня, гостиная, кухня, мастерская...

Заключённое в пространствах сознание пытается найти что-то своё, себя и для себя. И потому боится выйти на улицу – кажется, потеряться легко, когда нет привычной опоры. Женщина мыслит предметно и на предметы опирается, держится за ручку духовки, скатерть, абажур, простыню – лишь бы не улететь. Женщина определяет себя через предметы. И через мужчин (“как он ко мне относится?”). Больше всего она мечтает приделать ему свои глаза, чтобы он видел мир так, как она – был внимателен к ней и к предметам. Ей, чтобы бороться, чтобы самоутверждаться, не нужны митинги, кровопролитие и другие формы открытой войны. Для внутренней борьбы достаточно её самой, особенно, если женщина решит, что она – творческая.

Некоторые недалёкие умы воображают, будто женщина делает всё ради мужчины – это не так. Она делает что-либо только ради украшения окружающего предметного мира, чтобы чувствовать своё влияние на этот мир. Мир идей и мир предметов тесно связаны для женщины. Более того, без предметов никакие идеи невозможны. Хочет ли женщина, чтобы мужчина действительно понимал её? Вот вопрос.

Вика Сушко

Женщина как вещь в себе опредмечивает себя вовне, строит вселенную образов вещей, исходя из мира предметов в образы.

В мире образов она меняет предметы по своему усмотрению, она познает мир образов относительно себя самой, относительно своей полной непознаваемости как вещи в себе.

Мир образов творческой женщины всегда уникален, ибо он открытие мгновения.

Остановись, мгновение, ты прекрасно!

Но мгновение неумолимо ускользает, течёт сквозь пальцы, ибо мгновение, как и женщина, прекрасно, единственно и уникально.

Запечатлевший мгновение мужчина тут же его теряет.

Сущность женщины – в мгновениях, поэтому она вечна, стремление мужчины упорядочить вечность неизменно приводит к созданию линейного времени – сущность женщины упорядочить невозможно, она дробится на образы её самой – и предметы её мира.

Познание женщины – познание двойников, только сама женщина знает себя мгновенным знанием, мужчина обречён на подобия.

Она – знакомая незнакомка, живёт с тобою рядом, иногда ты смотришь на неё как на внутрен-

ний образ самого себя, ты видишь в ней своё не проявленное альтер-эго, ты долго идёшь по пути узнавания в каждом мимолётном мгновении вашей внутренней близости новых чёрточек твоего нового «я», ты готов подобно актёру театра Кабуки не создать своё новое лицо, но проявить свою внутреннюю сущность в лице, в походке, в повороте головы, в улыбке. Нет, ты не готов к такому полному раскрытию, ты ждёшь, когда это сделает она, придёт и откроет тебя, как саму себя.

А она забывает себя в каждом мгновении вашей близости, она забывает себя, оставляя каждое мгновение тебе, она говорит иное:

Завораживает лишь то,

что впервые,

дежавю наоборот.

Пытаюсь забыть имя твоё,

распевая как мантры звуки чужих имён.

Представить то, чего не было, не могло быть – с целью удивиться

целостности момента,

явлению тебя.

Ты появляешься из чужих имён, звуки их мантр – не буквы, знакомые до тошноты:

Эс как доллар, у как изрек,

и русская, эс русская, у русская,

ка русская, вз галочка,

и с точкой.

Звуки всегда первичны, когда оболочки букв перестают существовать фактически, когда ты, любительница «между», соскальзываешь с острия игреков и с точек и, ты перестаёшь узнавать буквы, ускользя в мир звуков, изначальных звуков, которыми каждое мгновение творится бытие. Ты удивляешься своему явлению, ты слышишь своё новое имя. Губы твои поют его как мантру тебя самой.

А он постепенно входит в твой новый диалог с миром, с собой и с ним. Его моменты открытия нового в вашей близости начинают удивлять его цельностью узнавания себя. Его диалог с городом как сложносочинённое предложение, он сочленён с ним в разных точках сборки, эти точки сборки – его дискурсы с прошлым в настоящем, он видит двойников, их являют ему эпохи. Он готов узнавать тени, отдавая теням прошлого тень своего настоящего.

Но ты появилась в его мирах сквозь дребезжащие гласные, он услышал тебя.

*а слова нужны для того
чтобы шептать их вызывая
гулкие чуть дребезжащие гласные
смотря в глаза ей
не пристально но проникновенно
без надежды на возвращение
сквозь тонкие травинки
сквозь их росистые прозрачные тела*

*не касаясь ни шероховатостью губ
ни пальцем ноги
смешно у нас есть ноги
подумай об этом ещё раз
и тебе станет так легко
как если вдыхать частицы незнакомого города
когда уже вышел из омута вокзала
в реальность других жизней*

Стихи из сборника Вики Сушко
«Дежавю наоборот»

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 16.03.2015 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 22,0.
Зам.??? Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17